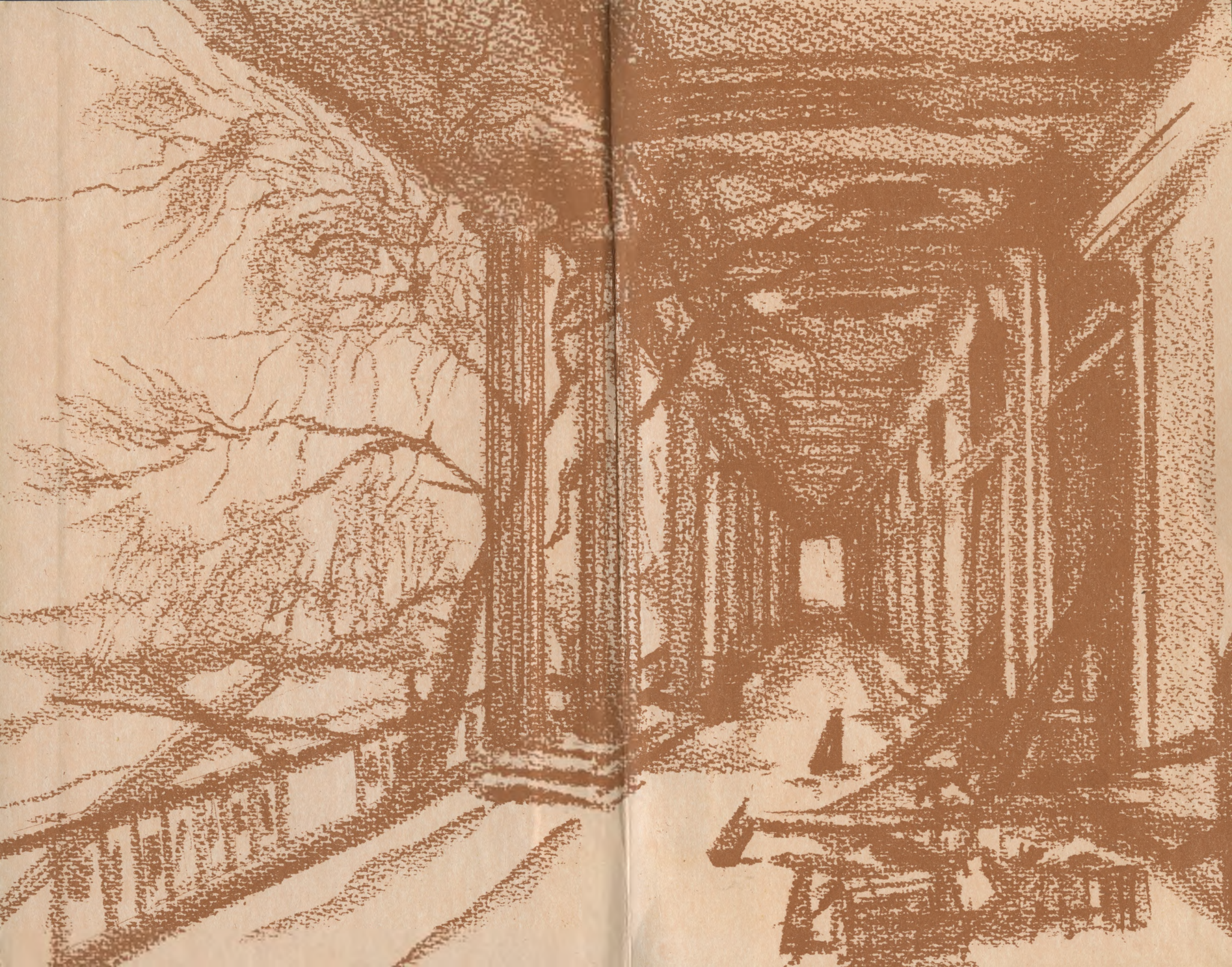


Михаил Дудин

Михаил Дудин

4

4



**«СОВРЕМЕНИК»**

# Михаил Дудин

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

«СОВРЕМЕННОК»

Михаил Дудин

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГДЕ

НАША НЕ ПРОПАДАЛА

ПОВЕСТЬ

РАССКАЗЫ  
ОЧЕРКИ

МОСКВА 1988

ББК84Р7

Д81

Составитель *Н. В. Банк*

Дудин М. А.

Д81      Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 4. Где наша не пропадала: Повесть. Рассказы. Очерки. — М.: Современник, 1988. — 368 с.

Четвертый том собрания сочинений М. А. Дудина составили избранные рассказы, очерки и повесть «Где наша не пропадала».

Д  $\frac{4702010200-166}{M106(03)-88}$  подписное

ББК84Р7

---

ГДЕ НАША  
НЕ ПРОПАДАЛА  
ПОВЕСТЬ

**...Я ничего невозможного не выдумал  
и несбыточного не сплел.**

***А. В. Сухово-Кобылин***



## Глава первая, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ

Дорогой мой друг!

А как же я могу назвать тебя иначе, если ты взял мою книгу в свои руки! Ты идешь следом за мной, и тебе не обойтись без меня.

Сколько раз, оставаясь один на один, я говорил себе: ты не можешь не написать эту книгу. Сколько раз она виделась мне совершенно готовой. Но стоило мне сесть за стол, взяться за перо, — все исчезало, и мой герой, добродушно посмеиваясь, уходил, как бы всем видом своим говоря: «Зря ты меня вызвал, у тебя еще ничего не выходит. Подумай!»

И я ходил и думал. Ездил и думал. Спал и видел об этом сны. Но стоило сесть за стол, — история повторялась. Это не давало мне покоя. Да и к чему человеку покой? Человек не может жить спокойно! Ему надо обязательно шевелиться, спорить, толкаться локтями, забывать и снова возвращаться к недоделанному, но обязательно что-то делать и переделывать.

Наш век — быстрый век. Даже слишком быстрый! А жизнь человеческая, по какой-то величайшей несправедливости самой природы, не такая-то длинная, как бы человеку хотелось.

Я не стал бы писать и этого. Но для начала нужно начало. Не каждый может сразу, не раздумывая, головой вниз кинуться в ледяную воду.

В городе мне стали мешать шум, толчея, телефон, телекучка, а скорее всего, просто-напросто поистрепались нервы. И я, воспользовавшись любезностью старинного друга, приехал в Пушкинский заповедник.

Я живу в самом Михайловском на маленькой веранде, пристроенной к сложенной из булыжника кладовой. Черемуха и яблони уже отцвели, но зато сирень прямо-таки бушует по всем куртинам. Все зеленеет, все поет своими голосами о своей жизни. Прямо передо мной растут бузина и черемуха. Через зеленую сетку листьев я вижу

переливающуюся полоску Сороти и высокое чистое небо. У моего окна пролетают, как веретена, хлопотливые скворцы. Их птенцы верещат или тихо попискивают на пролет целые сутки в сквсречнике над моей дверью. Иногда на черемуху, воровато оглядываясь по сторонам, садится галка, но, заслышав стук моей машинки или увидев меня в окне, моментально снимается с ветки. А над вершиной черемухи, ритмично размахивая мощными медлительными крыльями, вобрав голову с вытянутым клювом и выпрямив в струнку ноги, пролетают цапли. А над цаплями я вижу чуть заметный крестик самолета, и его серебряный шлейф долго тает в ясном небе.

На вечерней заре где-то совсем рядом поет иволга. Ее трехколенная флейта берет верх на всеми голосами, заставляя прислушиваться к своему благородному звучанию. Не знаю, кого как, но меня этот звук всегда приводит в какой-то трепет.

Иволга — чудо. Недавно я увидел прямо перед собой эту золотую птицу и почувствовал всей душой, что сказки на земле никогда не кончатся. Я смотрел на нее не отрываясь. Потом я увидел ее гнездо — легкую лодочку в развилке старой березы над обрывом.

Утром следующего дня на моих глазах разыгралась трагедия. Я никогда не знал, а может быть, позабыл, что галки такие разбойницы. Не успел я выбежать на крыльцо веранды и по-мальчишески запустить в галку первым попавшимся под руку камнем, в гнезде иволги не осталось ни одного яйца.

Но я человек, а не иволга, и пусть гнездо мое много раз разорялось до последнего перышка, душа моя снова наполнялась ощущением самой главной песни, которую мне надо спеть, тем более сейчас, когда мой герой стоит за моим плечом и говорит сердечно и снисходительно: «Да брось ты, право, тянуть волюнку. Оставь все свои сомнения. Где наша не пропадала!» А и в самом деле, где наша не пропадала! Кто его знает, может быть, и этой попытке суждено будет заставить кого-нибудь задуматься и поговорить с самим собой о своей судьбе.

Веранда на северном ветре продувается насквозь, но мой любезный друг одолжил мне валенки. В них тепло и удобно. Мне еще хочется выпросить у него мелкокалиберную винтовку, чтобы подстрелить эту самую разбойницу галку. Я ее знаю, у нее в правом крыле одного махового пера не хватает.

## Глава вторая, С КОТОРОЙ И НАЧИНАЕТСЯ КНИГА

Была весна, когда Матвей Кукушкин, матрос Балтийского экипажа, четырежды раненный и дважды контуженный, вернулся в свою родную деревеньку Дранкино. Он еще был молод молодостью самой революции. Железное слово «даешь» с тремя знаками восклицания кипело в его характере. Пошли такого хоть к черту на рога, он и там резьбой по кости займется.

Кукушкин был по-своему красив и неотразим этой красотой и внутренней уверенностью в своей неотразимости.

Лучше послужного списка и мандатов о его скитальческой судьбе говорила его одежда. Высокий буденновский шлем с красной звездой, черный бушлат и полосатая тельняшка, бог весть где добытые малиновые галифе, плотные обмотки на крепких, немного вывернутых икрах, желтые австрийские бутсы на тройной подошве с подковами, к тому же еще украшенные до блеска надраенными шпорами. Если добавить к этому заплечный мешок, перекинутую через правое плечо трехрядку, сундучок, крестнакрест обитый железом, с фотографией крейсера «Варяг» на внутренней стороне крышки; если добавить к этому белесый чуб, лихо выбивающийся из-под шлема, острые голубые глаза, полные скрытого лукавства, добрые, красиво очерченные губы и подбородок, наискосок рассеченный голубоватым шрамом, то портрет самого Матвея и всего его имущества будет, пожалуй, готов.

Он уже отвоевал свое на восьми фронтах революции на флоте, в пехоте и в кавалерии. И теперь, освобожденный по чистой, пришел в свое родное Дранкино с одной мыслью: пахать и сеять, добывать хлеб себе и другим. Он не столько понимал, сколько ощущал это право, завоеванное им же самим.

Шесть домов деревеньки Дранкино стояли на высоком правом берегу речушки Молохты, петляющей по зеленым луговинам, студеной от родников и до того быстрой и веселой, что никакой на свете мороз не мог сковать ее льдом в самые лютые зимы. Прямо за речкой шумел густой сосновый лес, а за гумнами и за овинами, между овражками и болотинами лежали небогатые поля.

У Матвея не было в живых ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер. Мать умерла от родов, когда Матвею

было всего три года, а отец спился и через год после смерти матери замерз, возвращаясь с базара.

У Матвея был дед Павел, твердый на руку, в меру хитрый и прижимистый старик. О нем, пожалуй, стоит рассказать для ясности картины, не вдаваясь в подробности.

Дед Павел был когда-то крепостным. И мать возила его, Паньку, за семь верст в село Широкое на текстильную фабрику купца Гандурина. Посадит в санки, укутает потеплее в разное тряпье и увезет, оставив ему на неделю краюху хлеба да семь луковиц. Работал он в шлихтовальном отделе — там, где проклеивают основу специальным клеем — шлихтом, чтобы она меньше рвалась в ткацких станках. И, видимо, Панька был дотошным малым. То ли ему кто подсказал секрет изготовления нового шлихта, то ли он сам додумался, — суть не в том. Фабриканту от новшества пошли большие выгоды, и он двадцатилетнему Паньке дал денег. Тот откупился от барина, приобрел у него же клочок земли и основал Дранкино. Потом фабрикант послал Павла Ивановича, как его стали величать, в Англию, в Манчестер, ума набираться, а по возвращении сделал мастером.

Вот к деду Павлу и заявился Матвей Кукушкин.

— Что будешь делать, большевик? — спросил дед Павел, маленький и худенький старичок, в свои восемьдесят лет еще не бросивший работать на фабрике.

— Жить буду, — ответил Матвей.

— Господь милостив, — сказал дед и замолчал, дав понять Матвею, что разговор на этом окончен.

Хотел дед Павел открыть свой мыловаренный завод и скопил для этого деньжонок, за всю свою долгую жизнь не тратя лишней копейки и выплачивая Гандурину долг за Дранкино, но время, по его мнению, было смутное, да и деньги пошли другие, однако он не терял надежды на возврат «бывалышного времени».

Дед Павел выделил для Матвея баню.

— Твой дом будет.

Наделил Матвея десятиной земли за Перетужиной и древним сивым меринном, по какому-то странному стечению судеб отвечающим на кличку Воронок ржанием.

— Начинай, живи. Я на пустом месте начал.

Мужику одному в деревне никудышно. В деревне народу не много. Все видно. Все наружу. У каждой травинки свой глаз и свой голос. В Дранкине — все Кукушкины, все дальняя родня.

Пошел Матвей на «Троицу» на гулянку в село Широкое.

Белесый чуб, черный бушлат, красные галифе и единственная на всю округу трехрядка сделали свое дело.

Дочь климовского лесника Мотя Куликова, лузгая семечки, засмотрелась в Матвеевы синие глаза, осмелела и спела под переборы клавиш:

Ты не пой на этой ветке,  
Голосистый соловей,—  
Эта ветка припасена  
Для гибели моей.

Когда Матвей провожал ее лесной тропинкой до сто-  
рожки, то, как бы отвечая на Мотину песню, скорее про-  
шептал, нежели пропел:

Я тогда тебя забуду,  
Чернобровая моя,  
Когда вырастет на камушке  
Зеленая трава.

Потом взял ее за плечи и обнял крепко и бережно. Мотя как-то обмякла, выронила из рук полусапожки и сказала, еле переводя дух:

— Тихе ты, скес, совсем задушил...

В последующее воскресенье была свадьба. Афанасий Куликов, отец Моти, переложив лишнего, старался перекричать всех, горланя бог весть откуда взявшуюся песню:

Я здесь пою так тихо и смиренно  
Лишь для того, чтоб услышала ты.  
И песнь моя Ефима пресвященной  
Пред алтарем богини красоты.

И то, что он по своей доброй воле переделал «священ-  
ный фимиам» на «пресвященного Ефима», не вызывало  
ни у кого чувства недоумения. Все было так, как и должно  
быть в песне — немного непонятно и таинственно.

И началась семейная жизнь Матвея.

Прежде всего Матвей настелил в бане пол и потолок. Переложил печку. Простругал и проконопатил стены. Прорубил два окна. Мотя повесила на окна веселые сит-  
цевые занавески и поставила на каждый подоконник по горшку с геранью.

Для Воронка Матвей соорудил крытый загон.

Потом у соседки тети Поли на чистую ненадеванную рубаху выменял петуха и двух куриц.

На десятине за Перетужиной молодожены выкорчевали кусты и перепахали дерпистую землю. Посеяли лен и овес, а самый хороший клочок оставили под озимые.

Воронок оказался на редкость добрым конем, все понимающим с полупамята, без кнута и вожжей. Матвей нагружал в лесу на телегу хворост, хлопал Воропка по крупу ладонью и ласково говорил: «Пошел, милой».

И Воронок один, без козьяна, подвозил телегу к дому, стучал копытом о приступку крыльца, выходила Мотя, сгружала пучки хворосту, совала в мягкие губы мерина корку хлеба, и Воронок снова шел в лес.

Февральским днем Мотя родила мальчика. Она забралась в крытый загон Воронка, и лохань, из которой пил Воронок, была первой купелью для ее сына. Когда Матвей вернулся из лесу, Мотя уже лежала на широкой деревянной кровати бледная и счастливая и кормила грудью первенца.

— Мальчик? — спросил Матвей с порога.

— Тише. Мальчик.

— Кукушкин, значит...

Матвею нравилось звать своего сына не Касьяном, как окрестил его поп Александр, а Кукушкиным, чья за этим мужчиною опора и продолжение, надежду и радость.

Кукушкин рос как и все крестьянские дети. Копался в пыли вместе с курицами. Заползал в клев Воронка. Никогда не ревел и на отцовский зов «а где Кукушкин?» — вразвалку подходил к отцу в своей короткой рубашонке, едва прикрывавшей мужское достоинство.

Отец брал его на колени. Мать наливала им щей. И они вместе, деревянными ложками, полные святого благоговения тружеников, хлебали кислотоватую жижицу и не сетовали на то, что в оловянной миске не было видно ни одной звездочки.

После первых слов «мама» и «папа» он научился, на радость отцу, гордо и непринужденно отвечать, если тот спрашивал:

— А как тебя зовут?

— Кукушкин!

Если же Кукушкину случалось плакать, — отец брал его на руки и, глядя в глаза, говорил:

— Что же ты, мужик?! Где наша не пропадала!

И младший Кукушкин умолкал, понимая всю глубину сказанного отцом, по крайней мере так Матвею казалось.

## Глава третья, В КОТОРОЙ ГЕРОЙ ОСТАЕТСЯ ОДИН

Кукушкину шел пятый год. Он уже научился свистеть и петь песенку:

На Дальнем Востоке  
Пушки палят.  
Солдатики военные  
Убитыми лежат.

Где он услышал и запомнил эту песенку, никто не знал.

К пасхе мать сшила ему сатиновую рубашку, новые штаны и, к неописуемому восторгу, из старого отцовского бушлата настоящее пальто с карманами и золотыми пуговицами.

Во всем этом наряде Кукушкин и пошел проведать тетю Полю, жену двоюродного брата Матвея, дяди Саши. Дядя Саша пришел с войны на костылях и хворал чахоткой. Зимой и летом он ходил в валенках, сутулый и тощий. Ходил и кашлял. А тетя Поля каждый год приносила по девочке. В их избе зыбка на скрипучей пружине никогда не снималась с матицы.

Кукушкин отворил дверь, постоял на пороге, снял шапку и сказал:

— Христос воскрес! — и подал тете Поле яйцо.

— Герой! — сказал дядя Саша. — Настоящий герой!

Кукушкину это понравилось. Раздеваться ему не хотелось. Не хотелось расставаться с пальто, у которого настоящие карманы и золотые пуговицы с якорями. Пойграв с девочками, немного потоптался у порога и вышел на улицу.

А на улице пастух дядя Токун, кривоногий весельчак из соседней деревни Кожино, умеющий в хмельном виде танцевать на руках, сгонял скотину. Было тепло. Пахло молоком и навозом. Телята, впервые увидев белый свет, задрав хвосты, смешно взбрыкивали задами. Дядя Токун хлопал кнутом. Ох, как здорово он хлопал. А что это был за кнут — с резной ручкой, с ременной, как змеиная чешуя, репицей, длинный, с волосяной хлопущкой на конце! За таким кнутом Кукушкин был готов пойти хоть на край света. Вот если бы ему такой кнут, — он бы весь день хлопал, он бы мог заменить дядю Токуна и сам пасти скотину:

Матвей любил сына. Из можжевелевой палки он вырезал ручку со всякими завитушками и рубчиками. Из старого сыромятного гужа нарезал тоненьких ремешков и сделал репицу, совсем такую, как на кнуте у дяди Токуна. Потом они выпросили у матери моток трепаного льна, и Матвей сплел кнут, толстый у репицы и тоненький к концу. Чтобы Воронку не было больно, они не выдирали у него волосы из хвоста, а выстригли целую прядь — сразу на две хлопущки.

И вот кнут готов. Отец размахнулся и звонко щелкнул.  
— Дай я сам!

Размахнулся Кукушкин и щелкнул себя по уху. Очень больно щелкнул, но стерпел, не заплакал.

Вечером в деревню зашли мешочники. Их гнали с места на место голод, нужда, а может быть, и жажда денегу нажить на чужом несчастье. Пойди разберись. Они брели из Заволжья, голодные и оборванные. Одна женщина осталась ночевать в доме Матвея. Попив чаю и поблагодарив за хлеб-соль, она улеглась спать на печке и почему-то во сне выкрикивала одни и те же слова:

— Батюшки! Батюшки мои, соль-то подмочите!

Кукушкин это не слышал. Он спал. В эту ночь ему ничего не снилось. Утром, когда мешочники ушли, а дядя Токун угнал скотину на пустырь, Кукушкин, позавтракав, спросил мать:

— Мам, можно я босиком?

— Иди, оглашенный...

Кукушкин взял кнут и напрямик, через гумна и Петружину, бегом пустился к дяде Токуну в стадо.

— Здравствуй, помощник!

— Дядя Токун, научи меня хлопать!

От нетерпенья он даже забыл поздороваться.

Солнце пекло всюю, и от холодной, еще не отогретой земли шла пряная испарина. Жаворонки заливались около самого солнца. Малиновки выщипывали из прошлогоднего репейника пух для своих гнезд. Совсем как маленький ягненок, блял бекас. Ссорились дрозды. Скоро полетят майские жуки, и их можно будет сшибать метелками, громко выкрикивая:

Шаран-баран, ау!  
Поедем по траву!

На этот призыв они прямо на тебя так и налетают сами. Об этом Кукушкин помнил еще по прошлой весне.



— Делай вот так,— сказал дядя Токун.

И Кукушкин, откинувшись назад, подражая дяде Токуву, резким движением послал кнут вперед и потом дернул на себя. Кончик быстро вильнул, и хлопучка щелкнула.

— Не пугай мне скотину, шлеп те во щи,— попросил через час дядя Токун. Да и у Кукушкина рука устала. Но он был рад и горд. Еще бы! Он теперь умеет хлопать не хуже дяди Токуна, а это для пастуха главное. Вечером, выпив молока, он лег спать усталый и счастливый.

— Горячий какой!— сказала мать Матвею, кивнув на Кукушкина.

И приснился Кукушкину сон. Первый сон, запомнившийся ему на всю жизнь.

Будто бы лежит он и спит, сунув свернутый кольцом кнут под подушку. И вот дверь открывается — и в дом входит лиса. Крадется лиса прямо к изголовью, берет зубами кнут и вытаскивает из-под подушки. Кукушкин хочет крикнуть и не может. А лиса тянет и тянет. Вот она вытянула кнут и утащила его из избы. Потом вернулась и говорит Кукушкину человеческим голосом:

— А теперь я тебя съем!

И кидается ему на грудь и вцепляется в горло.

Очнулся Кукушкин только через два месяца. По низкому окну и по подвешенной к матице зыбке он догадался, что находится в избе тети Поли. Вот и она сама идет от печки, дает ему чашку теплого молока, гладит по голове и говорит, вытирая слезы: «Ешь, сиротинка».

Не знал Кукушкин, что за время, пока он хворал, и мать, и отец его умерли от тифа, занесенного мешочниками, и что у него тоже был тиф, выходила его тетя Поля, и что он один теперь на белом свете.

— Пять ртов есть, шестой не в убыток,— сказал дядя Саша, глядя на Кукушкина, и закашлялся.

Воронка дядя Саша оставил у себя. У него не было лошади. Трехрядку продали на базаре на похороны. А дом стоял сиротливо пустой, и только три тоненькие березки, посаженные Мотей, шелестели в палисаднике о чем-то вечном и грустном легкими желтеющими листьями.

Пусто было Кукушкину. Очень пусто. Он жил в каком-то полубытьи, по ошибке называя тетю Полю «маймой», забивался потом на печку и всхлипывал.

## Глава четвертая, СОВСЕМ НЕ РАЙСКАЯ

Хоть и большая была у тети Поля семья и достатков было немного, но стал Кукушкин для нее вроде родного сына и за столом сидел, орудуя ложкой наравне со всеми.

Дядя Саша сапожничал. Он латал старые калишки и сапоги и подшивал валенки. В избе всегда пахло кислым запахом сыромятины и потом.

Кукушкин стал помогать дяде Саше наваривать концы, всучивать щетину, а потом и сам научился подшивать валенки.

Летом было лучше. Можно было собирать щавель и заячий кисель — кислотоватую лесную траву, похожую на заячий след. Потом поспевали ягоды, репа и горох, а потом картошка, — и живот не урчал от голода.

Как-то дяде Саше за работу принесли бычью ногу. И тетя Поля сварила студень. Кукушкин никогда его не пробовал. Он показался ему очень вкусным. Кукушкин спросил тетю Полю, где она его достала.

— Это кусок райского облака после дождя за Перетужиной упал, вот я его и подобрала.

— А где этот рай находится? — спросил Кукушкин.

И тетя Поля, как умела, рассказала ему о рае.

— Там, на небесах, — сказала тетя Поля, — на белом-белом облаке сидит бог Иисус Христос, а вокруг него летают ангелы и играют на гармошках и скрипках; а перед ним стоит стол, и чего-чего только нет на этом столе: и яблоки, и груши, и белый хлеб с изюмом.

— И молоко? — спросил Кукушкин.

— И молоко, — подтвердила тетя Поля.

— И студень?

— Да ешь сколько хочешь — целый серебряный противень.

Но сколько Кукушкин потом ни бегал после дождя по окрестным перелескам и пустырям, а студня так и не нашел. Очевидно, он падал в какое-то другое место.

Ровесников мальчишек в деревне у него не было. И он подружился со своей троюродной сестренкой Танюшкой. Они вместе собирали щавель и ягоды, выслеживали птичьих гнезда, ходили за грибами и пололи огород.

В дом, где родился Кукушкин, где он жил с отцом и матерью, вселилась семья Кузиных. Их было трое, этих Кузиных: Игнат Кузин — печник, его жена Матрена и

сын, ровесник Кукушкина, Венька, вертлявый черноголовый мальчишка, все время бахвалившийся, что он «сегодня ел пеклеванный хлеб с изюмом и с молоком». Кукушкин невзлюбил Веньку только за то, что он жил в его доме. Сам-то он не знал, что дом тоже продали.

Он так однажды ему и сказал:

— Вот вырасту, женюсь на Танюшке и выгоню вас из моего дома.

— Дождись! Папка тебе таких наладет!

— Да я тогда его одним мизинцем!

И началась драка. Венька с расквашенным носом побежал жаловаться матери. Тетка Матрена подвязала узелком платок и пошла к тете Поле просить, чтобы та «выдрала своего безродного шаромыжника».

— Ладно уж, — сказала тетя Поля, — перед сном выдеру, — и погладила Кукушкина по голове теплой рукой ласково-ласково.

Кукушкин вместе с Танюшкой решили сварить варенье. От каждого вечернего чая стали откладывать они по маленькому кусочку сахара. Хранили они сахар под сараем, в красивой коробке из-под папирос «Сафо». Когда коробка была почти полной, а тетя Поля пообещала Кукушкину кастрюлю, — сахар пропал. Словно его корова языком слизнула вместе с коробкой. Кукушкин подумал сначала, что это сделала Танюшка. Потом увидел в окне у Кузиных приметную коробку «Сафо» и затаил обиду на Веньку крепкую и надолго.

Когда тете Поле было уже совсем невтерпёж от бесконечных забот по хозяйству, она присаживалась на лавку, устало опустив руки, и тихо, полупрошептом, говорила:

— Господи, боже мой, и в кого я такая несчастная!

«В кого я такой несчастный?» — повторил про себя Кукушкин и, сверкнув пятками, побежал на речку Молохту.

Он сел на мостки, с которых черпали воду и полоскали белье, спустил ноги в воду и стал болтать ими, ни о чем не думая. Пришла тетя Поля, принесла полное корыто всякого тряпья, присела рядом с Кукушкиным и принялась прополаскивать вылинявшие и залатанные платяшки и рубашонки.

— Ты что тут делаешь? — спросила она Кукушкина.

— Сажу.

— Подвинься хоть немного, наказание господне.

Кукушкин подвинулся и стал смотреть в тихую прозрачную воду. Мостки были сделаны около глубокого бо-

чага. У правого берега, там где бил родничок, на быстром движении чуть шевелилась осока. Изумрудная стрекоза неподвижно сидела на камышинке. Камышинка вместе с неподвижной стрекозой отражалась в воде. Кукушкин загляделся на это отражение. Потом рядом с перевернутой в бочажке камышинкой он увидел белое-белое облако. И ему показалось, что на этом облаке и есть рай, где сидит сам бог — и перед ним стоит громадный противень со студнем, а вокруг него летают ангелы и играют на гармошках. При этом у Кукушкина приятно защекотало под ложечкой и сладкий комок подкатился к горлу. Кукушкин даже услышал игру на гармошке.

Не долго думая, он встал и прыгнул в воду.

— Ты что, окаянный, делаешь?!— ворчала тетя Поля, вытаскивая Кукушкина.

— Я в рай хотел...

— Рай-то рай, да себя не забывай!

И скрученная в жгут рубашка дяди Саши шлепнула Кукушкина по мокрым штанам.

## Глава пятая, В КОТОРОЙ КУКУШКИН УЧИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПЛАВАТЬ

Дед Павел перестал работать на фабрике. Он жил в приделке, пристроенном к дому дяди Саши, не пуская туда никого. О нем ходили слухи, что он колдун. И правда, он заговаривал укусы змей, лечил ветрянку и тельники какими-то травами и настойками на «стрешничке» — студеной воде, набранной в Молохте, против течения.

С дедом Павлом Кукушкин обошел все окрестные болота и леса.

Он знал, где растут грибы и ягоды, где гнездятся глухари и рябчики и в каких местах утки выводят своих утят. Он мог подманывать рябчиков и зайцев и передразнивать кукушку.

Больше всего ему, конечно, нравилась веселая речка Молохта. Он знал в ней каждого гольца и налименка, каждому бочажку дал свое название.

Верстах в трех от Дранкина — Большой омут. Там когда-то была мельница. Мельница сторела, а плотина и омут остались. По рассказам дяди Саши, жила в этом

омуте огромная, как бревно, щука с зеленым мхом на спине от старости.

Кукушкину уж очень закателось увидеть эту щуку.

В одно из июльских воскресений отправился Кукушкин к Большому омуту.

Он шел лесной тропинкой по прохладной сыроватой земле, перескакивая через корни и валежины. Вот и плотина, заросшая ольшаником и хмелем, крапивой, кустами малины и смородины. Кукушкин пробрался ближе к насыпи и увидел темную воду, покрытую зеленой ряской. Над самой водой нависала старая корявая ветла. Кукушкин забрался на нее, лег животом вниз в развилку между сучьев и стал смотреть. Было очень тихо, лишь где-то рядом ворковал вихрь да чуть шелестела осока.

И вот из осоки выплыла утка, а за ней семь маленьких желтых комочков. Они неслышно передвигались по воде, оставляя в зеленой ряске темные полосы. И вдруг утка с криком метнулась в сторону. Вода под ней взбурлилась, выставилась над водой огромная зубастая пасть и, как показалось Кукушкину, громко щелкнув зубами, проглотила утенка. Проглотила и скрылась.

Все это произошло мгновенно. Кукушкин вскрикнул, перепугавшись не меньше утки, и с корявой ветлы плелся в страшную бездонную воду. Он не помнил, как заколотил по воде руками и ногами. Захлебываясь водой и тиной, он все-таки добрался до берега и вылез, дрожа и цепенея от страха и холода.

Так он научился плавать.

Вернувшись в деревню, обсохнув по дороге, весь остаток дня он бултыхался в Лошадином бочаге, не боясь глубины, переплывая от берега до берега. Сизый от такого усердия, он прошел мимо ошарашенного Веньки, не удостоив его даже взглядом.

Ночью надо было пасти лошадей. Ему впервые доверили это дело. А лошадей было всего пять по всей деревне, и он знал каждую.

В сумерках, взяв краюху хлеба и три спички с серной щечкой от коробка, погнал он лошадей за Перетужину на Утиный мыс. Холка у Воронка острей ножа, и сидеть на ней не то что неудобно, а просто больно, но он бодро, как настоящий всадник, проехал по всему посаду и только в осиннике, когда деревня скрылась за кустами, соскочил с Воронка.

Над речкой уже поднимался туман, и прохладный

воздух волнами стлался по теплой земле. Лошади разбрелись по мысу, похрустывая сочной травой и чмокая в топких местах копытами. Кукушкин наломал сушняку, надрал бересты и с одной спички — а это тоже надо уметь — разжег небольшую теплинку на сухом и голом месте под тремя елочками. Потом поел хлеба, запил из родника и добавил в огонь хворосту.

Ночь пришла как-то сразу, густая, влажная. Только дергачи ржавыми голосами перекликались по всему лугу да трещали медведки. У костра было тепло, весело. Огонь потрескивал, перебегая по веткам.

Кукушкин отошел от костра и лег на траву, раскинув руки. И сама земля повеяла на него свежестью и покоем.

Он глядел на небо, густое небо июльской ночи, полное звезд, маленьких и больших. Он смотрел на эти звезды бездумно и спокойно, до его слуха доносилось похрустывание травы на лошадиных зубах и чмоканье копыт. Он смотрел на звезды. Они спускались к земле и кружились перед глазами. И вдруг ему показалось, что под ним нет земли и он тоже, как огонек, кружится в бескрайнем мире, полном огней и звуков. Он почувствовал себя невесомым. И ему стало страшно от этой невесомости. Он подошел к огню. От огня пахло домом жилым, всегдашним. Он обошел луг. Сосчитал лошадей и снова улегся у костра.

Как заснул, он не помнил.

Ему опять приснилась лиса. Он погрозил ей кулаком, и она скрылась. Потом приснилась щука. Она сказала Кукушкину, чтобы он не боялся ее, что она больше утят трогать не будет. Потом ему приснилась мать. Она вытирала Кукушкину нос подолом. Подол почему-то был жестким и волосатым. Кукушкин проснулся. Перед ним стоял Воронка и тыкал ему в нос мокрой мордой, обдавая теплым дыханием.

Всходило солнце. Ни одна лошадь, пока он спал, не ушла в поле на клеверища или в овсы.

Осенью Кукушкин загрустил. Полетели белые мухи. Холодно. Сидеть на печке скучно, а выйти на улицу не в чем: на всю ораву у тети Поли одни калишки. Прямо беды не оберешься с этими калишками.

Вчера захотел Кукушкин на двор сбежать. Соскочил с печки, сунул ноги в калишки, хлопнул дверью и побежал, пристукивая задниками, в хлев Воронка сделать свое нехитрое дело — и снова в избу. Вылез из кали-

шек — и опять на печку. А тут как раз дяде Саше вышла необходимость выглянуть на улицу. Поднялся он из-за верстака, сунул ногу в калишку да как крикнет!

— Какой дьявол в штиблетах навоз развел!

Он очень уважительно относился к обуви и даже липовые лапти называл «туфли с дырочкой».

Сиди весь день дома. Качай зыбку. Помогай дяде Саше концы сучить. Полезай на печку или на полати. И все. Продует Кукушкин дырочку в ледяном узоре на стекле. На дворе бело и холодно. Попускает мыльные пузыри. Скучно.

Выручил его на этот раз дед Павел.

— Пойдем ко мне, — позвал он Кукушкина.

И они вместе пошли в приделок деда Павла. В приделке было тепло, пахло мятой, полынью, горелой свечкой и ладаном. Около лавки на полке под ситцевой занавеской стояли книги. Кукушкин никогда не видел книг.

— Вот и учиться будем, пригодится потом, — сказал дед Павел.

В этот день они долго рассматривали страшные картинки в большой книге. Там были нарисованы нагие люди, рогатые черти, шестиглавые змеи и еще разные чудовища.

С этого дня Кукушкин стал бывать в приделке деда Павла ежедневно. У Кукушкина была отличная память. Он с третьего чтения запоминал складные стихи и тут же читал их деду Павлу.

Под рождество к тете Поле понаехала родня в гости. Всем гостям, и Кукушкину наравне с другими, был выдан кусок белого пирога с яблоками. Пришел поп Александр и дьячок Силантий Кобыла, заросший бородой, похожий на цыгана силач, с кадилом в руках и со скрипкой под мышкой. Силантий, выпив стакан самогону, ударил кулаком по столу и процедил сквозь зубы:

— Пагачини, с силой в пять пудов!

Что он этим хотел сказать, никто понять не мог. Разное говорили о Силантии, но никто толком не знал, откуда он появился в местном приходе. Все соглашались с тем, что он сумасшедший, и побаивались его.

Когда гости поохмелели и устали от песен, дед Павел сказал:

— Потихе, люди, — и подтолкнул Кукушкина вперед. Кукушкин вышел.

— «Орина, мать солдатская», — сказал Кукушкин и

стал читать без запинки звонким голосом. А когда дошел до слов:

Не стояли ноги резвые,  
Не держалась головушка!  
С час домой мы возвращались...  
Было время — пел соловушка! —

первым заплакал дядя Саша, потом гости не выдержали и заголосили. Заплакал и сам Кукушкин, навзрыд, поребячьи, заикаясь и всхлипывая. Заплакал от какого-то сладкого горя, от ощущения благодарности, что ему сочувствуют. Поплакал. Залез на печку и заснул.

А дьячок Силантий Кобыла, выпив четвертый стакан самогона, ударил в четвертый раз кулаком по столу и, рыдая, крикнул: «Паганини, с силой в пять пудов!»

К весне Кукушкин научился читать сам, без помощи деда Павла. А книга со страшными рисунками, по которой дед Павел научил его читать, называлась «Потерянный и возвращенный рай», сочинение Мильтона, но об этом Кукушкин узнал после.

## Глава шестая, ПЕРВАЯ ПАХОТА И СУП ИЗ КУРИЦЫ

К весне нога у дяди Саши зажила. Ходил он без костылей, но прихрамывал сильно. К весне тетя Поля родила шестого — и опять девочку.

— Где мы с тобой, старуха, приданого наберемся? — беззлобно ворчал дядя Саша.

Пришла пора пахать. Дядя Саша не мог ходить за плугом. На выручку пришел дядя Токун.

Он выезжал на Воронке в поле, а скотину вместо него целую неделю пас Кукушкин, благо у него свой кнут, а скотина, ее было не так уж много, не успела нагуляться после зимней голодухи, была смирной, и справляться с нею было легко.

Кукушкин становился настоящим помощником в хозяйстве.

Все три полосы — две у пустыря и одна за Перетужиной — были вспаханы. Дядя Токун возвратился к своему стаду. Подоспевало время бороньбы.

Дядя Саша запряг Воронка в борону. Перевернул ее зубьями вверх. На раннем рассвете разбудил Кукушкина, дал ему вожжи в руки:



— Трогай, работник!

Вместе с Кукушкиным пошла и тетя Поля. Она уже встала с постели. Такая у нее была жизнь, что залежаться некогда было. Полежит дня два после родов в кровати — и опять на ногах.

На этот раз они выехали за Перетужину.

Вот и полоса.

Перевернула тетя Поля борону. Кукушкину это сделать было еще не под силу, шевельнул Кукушкин вожжой, причмокнул, подражая отцу, губами:

— Ну, милой!..

И Воронок зашагал, медленно выступая, по бугристым темным пластам еще не просохшей пахоты. Посмотрела тетя Поля вслед Кукушкину, вытерла подолом глаза — она часто всплакивала, не со злобы или отчаяния, а просто так, — видно, глаза у нее были на мокром месте, перекрестила спину Кукушкина и пошла домой.

Разное бывает блаженство в человеческой судьбе! Но разве можно сравнить с чем-нибудь первую радость деревенского мальчишки, когда ему впервые в жизни дают ручку плуга, и он идет за лошадежкой, и запахи перепрелой земли, густо стекающей с отвала, дурманят его голову, и он уже начинает понимать свою необходимость в этом прекрасном, удивительном мире!

Солнце поднималось все выше и выше. А Кукушкин все боронил и боронил. От опушки леса вдоль полосы до самой Молохты, там повернет — и обратно к лесу. Вот и полполосы готово.

— Завтракать! — кричит Танюшка.

Кукушкин поворачивает к лесу. Останавливает Воронка. Вот только он хомут рассупонить не умеет. Идет Кукушкин в тень. Мойет о росную траву руки, потом присаживается на землю и развязывает узелок. Там полный горшок молочной лапши.

— Ешь со мной, — говорит он Танюшке.

— Я ложку не взяла.

— Ладно, я тебе оставлю.

Как вкусна эта лапша, особенно с устатку! Да Кукушкин и не устал. Ему было очень хорошо и даже весело. Он оставил Танюшке лапши, дал кусок хлеба Воронку — и снова от леса до Молохты и от Молохты до леса — стал выхаживать за бороной под припекающим солнцем. К полудню полоса была заборонована. Пришла тетя Поля. Перевернула борону, и Кукушкин, совсем как заправ-

ский мужик, зацепив вожжи за зубья бороны, гордо отравился за Воронком к дому, заложив руки за спину.

За два дня он заборонил и другие полосы около пуглыря. Потом они вместе, всей семьей, сеяли овес и ячмень и сажали картошку.

Весна стояла погожая.

Трава после первого теплого дождика пошла в рост быстро.

Полевые работы были закончены, и вроде наступило затишье.

Дождайся, затишье!

Собирает тетя Поля весь свой выводок, кличет Кукушкина, и они идут гуськом через Перетужину, к Малому болоту, собирать ландыши.

Особенно высокие и душистые ландыши в осиннике, среди редкого папоротника и остистой травы. С листьями срывать их не надо. Надо осторожно взять за стебелек с белыми колокольчиками и потянуть на себя: стебелек щелкнет и легко выскочит из листьев. Вот так и набирай целую горсть, нагибаясь за каждым цветком. Наберешь, отнесешь, положишь в корзину — и снова собирай.

В лесу тихо и прохладно. Рядом кричат, перелетая с дерева на дерево, сизо-розовые роньжи. Кукует невидимая кукушка.

Кукушкин считает, сколько лет ему остается жить. Досчитав до пятидесяти, он сбивается. Он дальше считать не умеет. А кукушка кукует и кукует.

Тетя Поля окликает всех:

— Завтракать!

И весь выводок садится вокруг нее в душистую траву. Все едят круто посоленный хлеб, по очереди запивая из глиняного жбана квасом. После завтрака снова собирают ландыши.

— Буренку доить пора,— говорит тетя Поля, глядя на солнце.— Пойдемте!

Они снова гуськом возвращаются домой.

Первым идет Кукушкин с полной корзиной.

За ним, едва поспевая, несет корзинку Танюшка, за Танюшкой семят Вера и Нина, и весь этот строй замыкает тетя Поля с огромной бельевой корзиной ландышей в руках и с трехлетней Машей на закорках.

Внесли ландыши в избу, разложили на полу. И сразу в избе стало светлее от свежего милого запаха.

Весь вечер собирали ландыши в букеты, обкладывая

каждый букет листьями, перевязывая натуго ниточкой и подрезая ножницами неровные концы.

Еще до восхода солнца будит тетя Поля Кукушкина, и они идут в город. Две корзины у тети Поли, одна — у Кукушкина. Идут босиком, подвязав калишки к корзинам, обгоняя по пути медленные обозы.

Кукушкина ошеломил базар сутолокой, гамом, обилием мяса, баранок, горшков, запахов дегтя и отборной руганью.

— Сандаал фуксин яйца красить!

— «Известия»! «Правда»! «Рабочий край»!

Это выкрикивал маленький мальчишка в клетчатом картузе. И его крик перекрывал гомон и поросячий визг, и Кукушкин завидовал его смелости и ловкости, тому, что у него есть дело.

Распродали ландыши быстро. На вырученные деньги купили связку кренделей, мыла, ниток, для дяди Саши четвертинку водки. Тетя Поля купила Кукушкину кружок мороженого. Он хотел сберечь его до дому, чтобы поделиться с Танюшкой, но тетя Поля сказала, чтобы он ел сразу, не то растает.

Не доходя до дому версты три, они остановились отдохнуть в селе Бабаево. Сели на берегу пруда. И Кукушкин впервые увидел, как ребяташки на нехитрое приспособление — удочку — вытаскивали из пруда золотых карасей. Он так загляделся на это занятие, что не успел хорошенько рассмотреть желтый, с зеленой крышей дом, с шестью окнами по лицу, на который указала ему тетя Поля.

— Осенью сюда учиться пойдешь!

Дома Кукушкину не терпелось. Его так и подмывало половить рыбу на удочку в Молохте. Раньше он ловил гольцов и налимов корзиной. Поставит корзину против течения, зайдет осторожно, потопает по тине, вытащит корзину, глядишь — в ней голец или налименок. Но очень уж холодная вода в Молохте, ноги так и заходятся.

Была еще у него коряга с дуплом. Бросит он ее в воду на ночь. Утром вытащит — обязательно в дупле налименок сидит.

Выпросил Кукушкин булавку у тети Поли.

Сделал из булавки крючок.

Нацепил его на нитку и привязал нитку к палке.

Накопал червей.

Взял кусочек мякиша и пошел к Лошадиному бочагу:

там жили, по самым точным наблюдениям Кукушкина, два щуренка.

Сколько ни сидел Кукушкин, сколько раз ни пробовал переменить червя на хлеб,— ни на червя, ни на хлеб щурята не брали. Грустный он пришел домой, бросил удочку на поленницу и забыл о ней.

Не успел он выпить чашку чаю, как на улице поднялся страшный переполох. Куры закудахтали, петух закричал, словно на двор слетело, по крайней мере, десять ястребов. Ястребов не было. Просто курица тетки Матрены, видимо, жадная, как и ее хозяйка, проглотила кусочек хлеба вместе с крючком и теперь кричит, как недо-резанная.

Выбежала тетка Матрена и тоже затарахтела:

— Ваш-то шаромыжник!!!— и пошла. Унять ее было невозможно.

Пришлось отдать ей лучшую наседку Пеструшку. На-завтра тетя Поля сварила куриный суп. Кукушкин отде-лался двумя подзатыльниками.

## Глава седьмая, С ДВУМЯ УТКАМИ И САПОГАМИ

— Эх ты, рыболов!— сказал дядя Сапа.— Ладно уж, пойдем завтра за утками.

Достал дядя Сапа помполку с чердака, прочистил стволы и смазал курки. К вечеру отправились они по берегу Молохты за Утиный мыс, к Большому омуту. Видимо, дядя Сапа был хорошим стрелком: когда они спугнули выводок, он уложил с двух выстрелов двух уток. Одну они нашли сразу. Другую — облазали и обтоптали всю осоку — так и не нашли.

— Беги за косою в деревню.

Принес Кукушкин косу. Весь мыс обкосил дядя Сапа. Вспотел. Два раза перекуривал. Утки не было. Нашли ее около самого берега в маленьком кусте смородины, забилась туда и застыла.

— Достанется нам от мужиков на орехи. Весь покос испортили. Придется при дележке брать на себя. Приди завтра, разбросай сено.

Кукушкин был на все готов.

Он шел впереди и нес двух кряковых селезней с изумрудно-зелеными подкрылками, с мягким и гладким пухом на шее.

Дядя Саша всегда был с Кукушкиным по-мужски ласков. Не кричал на него, и грозный шпандырь в редких случаях гулял по ягодицам Кукушкина. Один только раз обиделся дядя Саша и отодрал Кукушкина за уши.

А было это так.

Кукушкину надо было этой осенью идти в школу. Сапог у него не было. Надо было достать сапоги. И Кукушкин стал зарабатывать деньги. Как только поспела земляника, он один отправился в город с двумя корзинками спелых и пахучих ягод. Вернулся он к обеду, зажав в кулачишке две засаленные трепяницы. Тетя Поля спрятала их за икону.

Раз в неделю навещался Кукушкин в город торговать ягодами. И уже пообвык, посмелел, стал ходить по улицам и магазинам. Очень он любил вывески. Он останавливался около каждой встречной вывески и читал ее по складам, и сердце его прыгало от удовольствия.

Бренча мелочью в кармане, чувствуя себя полным хозяином, зашел он однажды в книжный магазин. Там были удивительные книги с картинками. Глаза у Кукушкина разбежались. Не выдержал он соблазна, выбрал себе букварь, цветные карандаши, тетради и журнал «Крокодил».

На обложке журнала был нарисован свирепый человек с одним очком в правом глазу. В этот глаз врезался самолет с красной звездой на крыле, и из глаза свирепого человека летели искры. «Наш ответ Чемберлену!» — гласила подпись под рисунком.

На эти покупки ушли почти все вырученные деньги. Он пришел в деревню под вечер. Он делал очень частые остановки для того, чтобы полистать букварь и журнал.

На одной из таких остановок, очевидно, и оставил корзинку из-под ягод. А это была чужая корзинка.

На этот раз за икону откладывать было почти нечего. Но дядя Саша рассерчал не на это.

— Зачем корзинку оставил, растяпа?! — и отодрал за уши.

Отодрал не больно. И Кукушкину было обидно не от боли, а от того, что он рассердил дядю Сашу. Но это было в первый и последний раз.

Журнал «Крокодил» Кукушкин положил на подушку. Кот Прокоп с полатей недовольно одним глазом посмотрел на обложку, потом встал, потянулся, попробовал когти о стену, рыжей молнией метнулся на кровать, минута — и от журнала остались одни клочья. Чего-чего, а

этого не только Кукушкин, но и сам Чемберлен от Прокоса, наверно, ожидать не могли.

На сапоги Кукушкин все-таки заработал. Тетя Поля купила их, добрые сапоги, с запасом на вырост, с кожаными подошвами, подбитыми гвоздями в три ряда, с поднарядом из мягкого опойка, с тесемочными ушками, и спрятала их под замок в сундук.

Дед Павел смотрел на Кукушкина ласково и, что очень редко с ним бывало, даже сам добавил на сапоги недостающие пять рублей.

Он как-то подобрел к людям. Однажды он принес ребятам три пачки бумажных денег с портретами царя и с двуглавыми орлами:

— Играйте!

Очевидно, он уже совсем перестал верить в возврат «бывалышного времени».

Кукушкин показал дяде Саше пачки этих денег.

Дядя Саша вернул их Кукушкину, не сказал ни слова.

Потом тетя Поля оклеила кредитками перегородку в кухне. Клей был сделан из муки, а тараканы были гододные. Они быстро погрызли вместе с клеем навсегда рукнувшее богатство деда Павла.

## Глава восьмая, С ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ

Если верить утверждению, что добрая половина в воспитании человека ложится на долю его первого учителя, то Кукушкину повезло.

Первым его учителем во всех четырех классах бабаевской школы был Алексей Иванович, человек доброй души и редкого внимания к ученикам.

Жил Алексей Иванович при школе, вдвоем со своей женой, тоже учительницей, Елизаветой Валерьяновной. Был он рослым и широкоплечим, с густой седеющей гривой волос, носил усы и окладистую курчавую бороду. Одевался в толстовку, длинную и широкую. Зимой и летом ходил в смазных яловых сапогах.

Ему было под шестьдесят. Появился он в здешних местах давно. Рассказывали, что когда-то он учился вместе с Лениным в Казанском университете. В университете был бунт. После бунта Алексея Ивановича выслали по эдаку сюда, в Бабаево.

Поселился он у бездетной солдатки Прасковьи Ивановны и открыл на дому школу для крестьянских ребятишек.

До него школы в округе не было. Учил церковной грамоте крестьянских детей дьячок Игнат, не особенно чистый на руку и забулдыга.

Алексей Иванович простотой сердца своего полюбился мужикам, и они стали отдавать своих ребятишек на уче- нье к нему.

Доходы дьячка и натурой, и деньгами сократились. И не вынесла этого его завистливая душонка, — взял да и подпалил он избу Прасковьи Ивановны. Спасти удалось только книжки.

Крепко побили дьячка Игната мужики. Еле отошел. Потом собрались вместе со всех окрестных деревень и рядом с церковью в Бабаеве выстроили в шесть окон по лицу настоящую школу.

— Учи, Алексей Иванович, и никого не бойся.

Губернское начальство прислало в школу курсистку Елизавету Валерьяновну. Сама судьба свела их вместе, и они поженились. Поженились и стали учительствовать вместе: два класса — Алексею Ивановичу, два — Елизавете Валерьяновне.

Вся округа у них училась.

Вот к Алексею Ивановичу и попал Кукушкин.

— Кто из вас, дети, знает буквы? — спросил учитель на первом уроке.

— Я! — ответил Кукушкин.

— А ты встань. Вот так. Когда отвечают, всегда встают. Какие ты знаешь буквы, говори?

— Всю азбуку! — И Кукушкин, набрав полную грудь воздуха, единым залпом выпалил: — Аз — Бабенка — Ваш — Григорий — Дяденька — Едет — Жениться — Зимой — И — Кланяется — Ленечке — Манечке — Надечке — Розка — Собачка — Танцует — При нем — Ух — Федька — Хохол — Целовавши — Чащу — Щей — Еры — Упал с горы — Еру Ять некому поднять — Еру Юс я и сам поднимаюсь.

Это произвело сильное впечатление. Венька Кузин раскрыл от удивления рот, а учитель, улыбаясь, сказал:

— Похвально. А кто тебя этому научил?

— Дедушка, — ответил Кукушкин.

— Ну, теперь садись. Будем заниматься.

Учился Кукушкин хорошо. Все ему давалось легко и

без особого напряжения. Больше всего он любил рисовать цветными карандашами и заучивать стихи.

В январе Алексей Иванович устроил для школьников и родителей ленинский вечер. Это была первая годовщина со дня смерти Владимира Ильича. Алексей Иванович прочел доклад, а потом сказал:

— Стихи о вожде мировой революции прочтет ученик первого класса Кукушкин.

Кукушкин встал на табурет под портретом Владимира Ильича Ленина. Портрет этой девочки оплели траурной лентой, кумачом и зеленым лапником.

Засыпала звериные тропинки  
Вчерашняя разгульная метель.  
И падают, и падают снежинки  
На тихую, задумчивую ель.

В классе было тихо, как в снежном лесу. Только, когда кончил Кукушкин читать, тетя Поля вздохнула и поднесла кончик полушалка к глазам, а когда они шли домой, то ли от резкого лунного света, то ли от мороза, на ресницах Кукушкина навertyвалась мокрая паутинка, но ее никто, кроме его самого, не заметил.

В этот вечер спать легли рано, не зажигая гасика.

Дал Алексей Иванович Кукушкину лист плотной белой бумаги, Кукушкин нарисовал печатными буквами несколько плакатов. Он старался рисовать буквы с оттенком, как в городе на вывесках.

**ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!**

**РУКИ МОЙ ПЕРЕД ЕДОЙ**

**И СЛЕДИ ЗА ЧИСТОТОЙ!**

**ПОЗАБУДЬ ТАБАК И ВОДКУ —**

**ВОТ ЧЕМ ВЫЛЕЧИШЬ ЧАХОТКУ!**

Все это висело на стенах в классе. И Кукушкин гордился своей работой.

Попался в руки Кукушкину журнал «Мурзилка». На последней странице обложки были напечатаны рисунки и стихи маленьких читателей журнала. Кукушкин нарисовал картинку, сочинил к ней подпись и впервые, тайно от всех, послал письмо.

Через три месяца в школу на его имя пришел пакет. В журнале среди других рисунков была и нарисованная Кукушкиным бабаевская школа. Она была очень похоже



нарисована; со всеми шестью окнами по лицу; с тремя красными трубами над зеленой крышей и даже с поленицей дров около крыльца. Поражало только одно: перед окнами школы было очень много зайцев. Они бегали, сидели; водили хороводы, а один, очевидно самый смелый, сидел на крыльце.

Под рисунком стояла подпись:

Наша школа — как цветочек,  
На ней зелененький платочек,  
Вокруг школы здесь и там.  
Мелькают зайцы по холмам.

*К. Кукушкин, 1-й класс*  
Бабаевской школы

Зайцев и кроликов ни в самом Бабаеве, ни в окрестных лесах давным-давно не было. Их переловил силками дядя Токун, но Кукушкин очень любил рисовать зайцев и, поддавшись соблазну, погрешил правдой. Он всегда умел выдумывать то, чего ему не хватало, и верить в эту выдумку. Подвела его и страсть к вывескам. Решил Кукушкин сделать приятное деду Павлу. Взял да и нарисовал и вывесил на углу дедушкиного приделка:

**ЛЕКАРЬ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КУКУШКИН.  
ЛЕЧИТ ТЕЛЬНИКИ И ВЕТРЯНКУ.  
ПРИХОДИТЬ СО СВОЕЙ ПОСУДОЙ.**

Вложил в это все свое умение и старание и расписался в правом углу вывески мелким почерком, но слово «художник» поставить не отважился. Дед рассердился и велел снять «этот срам». А Кукушкину было жаль: столько труда затрачено.

Алексею Ивановичу Кукушкин, как и все люди, верил во всем. В школу иногда приходила газета «Беднота». Прочел в этой газете Кукушкин о том, что бога нет и не было, а люди на земле произошли от обезьяны путем эволюции. Что такое эволюция, понять ему было немыслимо, и Кукушкин спросил у Алексея Ивановича только об одном: правда ли, что бога нет?

— Правда,— ответил учитель.

Кукушкин пришел домой и вместе со всеми сел за стол.

— Перекрести лоб-то!— строго сказал дядя Саша.

— Бога нет!— бодро ответил Кукушкин.— А люди

произошли от обезьяны путем...— Больше он ничего не успел сказать. Дядя Саша вывел его за ухо из-за стола, зажал голову Кукушкина между острых колен, взял с вэрстака шпандырь и всыпал три горячих. Кукушкин залез на печку и, почесывая выпоротое место, долго думал о том, что с богом в этом мире дело обстоит не так-то просто.

## Глава девятая, ХОРОШО, КОГДА ВМЕСТЕ

Больше всего Кукушкину были по душе навозница, сенокос и молотья. На этих работах вся деревня была вместе.

Дружно, по очереди из каждого двора, вывозили навоз на всек пяти телегах, имеющихся в Дранкине. Дни стояли жаркие, и слепни здорово подхлестывали лошадей. Лошади скакали как оглашенные. Только ветер свистел в ушах Кукушкина, когда разгоряченный слепнями и солнцем Воронок, весь в хлопьях пены, закинув голову, мчался по пыльной дороге. Откуда только у него прыть появлялась.

Во время сенокоса косили тоже сообща, всей деревней. Начинал прокосево силач дьячок Силантий Кобыла. У него был саженный размах, и трава так и заворачивалась в высокий вал под его косой. За Силантием шли другие мужики. Луг покрывался прямыми, ровными валами мокрой душистой травы. Кукушкин тоже брал косу, но ему разрешали только подкашивать в заболоченных местах осоку.

Во время завтрака, искупавшись в Молокте, Силантий вынимал из тряпицы скрипку, и дергачи умолкали, слушая эту музыку.

Потом сушили и делили сено. После дележа собирали деньги и покупали три четвертных водки.

И вот во время этого дружного застолья пришла одна затея дяде Токуну в его веселую голову — поймать щуку в Большом омуте, а заодно и осушить заболоченную луговинку около омута, где всегда вязли возы с сеном и скотина.

Предложение дяди Токуна было сделано к месту и вовремя.

Забрали мужики лопаты и мотыги и пошли. В маленькой протоке перекопали перемычку, и вода стала сбывать

в омуте, обнажая черные коряги, оплетенные зеленой тиной и прелыми листьями, щербатые сваи, перевернутую кверху колесами телегу. Когда воды осталось совсем немного, из конца в конец по омуту стала пробегать, как от ветра, резкая стремительная дорожка. Щука, почуввав недоброе, начала метаться, разрезая воду выступающим паружу спинным плавником. Вот она подошла к берегу. С занесенной лопатой на нее кинулся дядя Токун. Щука метнулась в сторону. Токун промахнулся и завяз в тине. Щука пошла к протоке. Там стоял на страже Силантий Кобыла, без рубахи, волосатый и черный, в засученных выше колен подштанниках.

— Держи ее! За глаза! За глаза! Уйдет!

Силантий, не раздумывая, рухнул на щуку. Она была длиннее Силантия. Он упал на нее плашмя.

— Не уйдешь! Паганини, с силой пять пудов! — кричал Силантий, барахтаясь в протоке.

— Вилы дайте, вилы!

Пока искали вилы, Силантий вместе со щукой скрылся в реке. Через минуту, отфыркиваясь и отплеываясь, он вынырнул один. Щука ушла.

Но нет худа без добра — заболоченный луг был осушен. Этому тайно радовался дядя Токун: теперь здесь безопасно будет пасти скотину.

После сенокоса в деревне настоящим праздником была молотьба.

Конец августа. Ночи становятся густыми и прохладными. С вечера к овинам свозят снопы. Расставляют их на колосниках, и начинается сушка. Весело потрескивают в печи смоляные пни и коряги. Тепло. Пахнет полынью и сухим житом. Хорошо печь картошку. Она получается рассыпчатой, как сахар, если его намочить в воде. Она даже похрустывает на зубах.

А утром расстеляют снопы на току — и в два порядка по четверо начинают гулко перебирать цепями.

Тили, тили,  
Мологилы,  
Прилетели,  
Пашут!

Цепы отбивают по золотым снопам веселый танец. Их перестук далеко разносится в прохладном чистейшем воздухе. Зерна искрами брызгают в стороны. Урожай в этом году хороший. Своего зерна хватит и на муку, и на семе-

на останется. Во время молотьбы вся деревня тоже работает вместе.

Это так хорошо, когда работают вместе и без ссор!

Один только случай был с Кукушкиным этим летом, при воспоминании о котором ему становится стыдно.

Побывал он на гулянке в селе Широком и увидел там настоящую драку между широкинскими и михалковскими парнями. Как эта драка возникла, он не заметил. Он только видел, как мелькали кулаки и палки. Парни дрались молча и сосредоточенно.

Утром после гулянки Кукушкин вместе с дядей Сашей косили клевер. Клевер был высокий и густой, оплетенный, как паутиной, вьюнком. Косить было тяжело. И то и дело приходилось точить косу.

Танюшка принесла завтрак. Они уселись втроем под кустом жимолости. Кукушкину не терпелось рассказать дяде Саше про вчерашнюю драку. Азарт не давал ему покоя.

— Ну что там такое случилось? Сказывай!— попросил дядя Саша, видя нетерпение Кукушкина.

— Сашка Поляков,— начал Кукушкин,— забежал сзади к Володьке Воронину да как его прессовкой по спине...— Видимо, тут у Кукушкина не хватило обычных слов, и он сказалу нечаянно такое, что от удивления и неожиданности сам раскрыл рот и покраснел, как божья коровка.

Дядя Саша поднял глаза. Не спеша облизал и вытер ладонью ложку и так щелкнул Кукушкина по лбу, что у него из глаз искры посыпались.

Завтрак они продолжали молча. Возвращаясь домой, разговаривали о том, о сем, как будто между ними ничего такого и не произошло.

С тех пор Кукушкин и сам не ругался, и очень не любил, когда другие сквернословили.

## Глава десятая, ГЛОБУС НАЧИНАЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ

Каждый год летом дед Павел надевал свой черный мелескиновый сюртук, картуз с высоким околышем и лаковым козырьком, перекидывал через плечо палку с подвешенными на нее сумкой и смазными сапогами и отправлялся по святым местам: в Киев, в Новгород и в Ярославль.

Путешествие это длилось у деда Павла месяца два. Где он бывал и что там делал, никто не знал и не спрашивал, потому что все знали: дед Павел не любил об этом рассказывать.

Возвращаясь из походов, он всегда что-нибудь да приносил Кукушкину. На этот раз дед Павел принес глобус, большой голубой шар, посаженный на железный стержень, с металлическим шариком наверху, на самом Северном полюсе. Кукушкин, забравшись на чердак, — это было самое тихое место, — целыми часами путешествовал по материкам и океанам, читая названия городов и озер, манящие и таинственные.

Осталось Кукушкину последнюю зиму ходить в школу. Хорошо знакомая дорога! Стоит перейти через Молохту, выйти на проселок, а там уже ждут кожинские ребяташки, и — дальше вместе. Снежок весело похрустывает под ногами. Дорога бежит и бежит.

Вот Ваня Рыбаков запекает:

Вы не вейтесь, черные кудри,  
Над моею буйной головой.  
Положи свои белые руки  
На мою исхудалую грудь.

Несмотря на такие грустные слова, песня звучит задорно. Особенно залихватски получается дружно подхваченный припев:

Цыганочка, ока, ока,  
Цыганочка черноока.  
Черная цыганочка,  
Ты мне погадай!

И опять начинает Ваня Рыбаков. Голос у него плавный, сочный, звенит в морозном воздухе:

Вот осеннее утро настает,  
Будет дождик осенний мочить,  
Из друзей моих прежних, товарищ,  
Ни один не пойдет хоронить.

Песня бодро звучит в такт шагам, убыстряя их. И снова припев, на этот раз с подсвистом:

Винтовочка, бей, бей!  
Винтовочка, бей!  
Красная винтовочка,  
Буржуев не жалеи!

Так с песней ребята и проходят по бабаевскому посаду, потом мимо церкви к школе. Снова гам, толчея, чехарда на перемене и медленный пчелиный гул на уроках.

Кукушкин — первый ученик. Ему иногда Алексей Иванович дня по два, по три разрешает пропустить занятия, давая задание на дом. В это время Кукушкин помогает тете Поле по хозяйству: посит воду, готовит корм для буренки и Воронка, колет дрова. Он — работник.

Дед Павел умер неожиданно. Спал он в своем приделке на печке. Наверно, ночью во сне захотелось ему повернуться. Повернулся и упал. На полу стоял чугунок с картошкой. Ударился дед Павел головой о чугунок и умер. Принесла ему утром тетя Поля чай, а дед Павел был уже холодный. Похоронили его, маленького и седенького, на бабаевском кладбище, около церкви, рядом с могилами Матвея и Моти.

В приделок деда Павла переселился дядя Саша со своим верстаком и липкой.

— Мне тоже пора за дедушкой...

Здоровье его ухудшалось. Приступы кашля становились все длиннее и мучительнее. Тетя Поля отпаивала его молоком и медом, настоем малины и черничного листа, но и это не помогало. Дядя Саша слег.

Каждую весну на пасху ребята собирали у местных охотников порох и керосин на фейерверк.

На втором этаже бабаевской колокольни, не там, где колокола, а пониже, у амбразуры прикрытого деревянным щитом окна, стояла пушка — кусок толстой железной трубы, вделанной в дубовый пень. Из пушки во время крестного хода и стреляли ребята. Они зажигали и плошки на оградах. На кладбище вокруг церкви всю ночь празднично мелькали яркие языки пламени.

Конечно, это занятие не могло обойтись без Кукушкина. На прошлогоднюю пасху, собрав четыре коробки пороха, они с Ваней Рыбаковым зарядили пушку, забив пыжом порох, после пороха забили в ствол вместо снаряда камней и гвоздей. Приставили фитиль. Приготовились, засев снаружи за деревянным щитом. Пушку нацелили в противоположное окно и стали дожидаться, когда поп Александр выйдет из церкви.

Послышались медленные голоса, тихий гул молитв, монотонный и грустный. Толпа хлынула из церкви. Кукушкин поджег фитиль. Огонек побежал по шнуру. Вслед за страшным грохотом последовал тяжелый удар по щиту, сбросивший Кукушкина и Ваню Рыбакова на землю. Хорошо, что вокруг церкви лежали глубокие сугробы. Ребята угодили в снег, отделавшись легким испу-

гом. Ствол пушки разнесло, а дубовую колоду отдачей выбросило в окно, к счастью, никого не покалечив.

В эту весну Алексей Иванович решил на пасху поставить в школе спектакль.

Пьеса называлась «Молодые побег». Афиши, нарисованные Кукушкиным, пестрели по всем окрестным деревням. Кукушкину поручено было сыграть в этой пьесе роль деда. Ему надо было по ходу действия выйти на сцену и сказать:

— Помогайте, помогайте мне, ребяташки, хомут чинить...

Репетиции шли каждый день. В спектакле была занята вся школа, даже Веньке Кузину было поручено раздвигать и закрывать занавес. Тетка Матрена хвастала соседям:

— Мой-то Веня — настоящий артист...

На пасху между классами разобрали перегородку. Сделали помост для сцены. Поставили на сцену печку, склеенную из бумаги, с нарисованным челом и подпечьем. Собрали по деревням для освещения лампы-молнии.

Вечером в пасхальное воскресенье школа была набита битком. Не продохнуть. Каждый зритель приходил со своим табуретом или стулом. Дядя Токун разместился на подоконнике около самой сцены. Было жарко. Пахло нафталином и потом. За сценой шли последние приготовления. Алексей Иванович приклеил Кукушкину мочальную бороду и усы, припудрил брови, оглядел шанку и зипун, легонько подтолкнул Кукушкина в плечо и сказал:

— Подходяще...

Спектакль начался.

С трепетным волнением дожидался Кукушкин своего выхода. В сотый раз повторял про себя слова своей роли. Как будто все, весь успех спектакля зависел только от него. Он вышел на сцену и оцепенел.

В лицо ему ударил смех и улюлюканье всего широкинского сельсовета. Смеялся весь зал. Все люди. Все окна и двери и лампы-молнии. Дядя Токун корчился на подоконнике, пытаясь что-то сказать Кукушкину, и не мог ничего сказать от раздражавшего его смеха. Кукушкин был человеком дисциплинированным и упрямым. Он готов был простоять хоть сутки, но он должен был сказать свои слова. Не скажи их — он подведет Алексея Ивановича, себя, всю школу. И он стоял и ждал, как бык перед

мясником, тудо и упорно. Ему было некуда деться. И вот волна смеха перешла в какое-то урчанье и улеглась. Кукушкин победил. Похлопывая ребят по плечам, наконец-то он произнес свои роковые слова:

— Помогайте, помогайте мне, ребяташки, хомут чинить... — и потный вышел со сцены.

Его встретил не на шутку расстроенный Алексей Иванович.

И было из-за чего расстраиваться. По случаю теплой погоды пришел на этот раз в школу Кукушкин в коротких штанах и появился на сцене при бороде и в трусиках. Как тут не засмеяться. А в остальном спектакль прошел хорошо.

Через неделю окончившим школу выдавали удостоверения. В простенке между окнами, под портретом Ленина, был установлен стол, покрытый кумачом. За столом сидела почетная комиссия: Алексей Иванович, председатель сельсовета Красовский, рыжеусый великан в красноармейской гимнастерке, Елизавета Валерьяновна и представитель райнаробраза, смешной маленький старичок, то и дело снимающий и надевающий пенсне.

На это торжество пришли родители. С Кукушкиным пришла тетя Поля. С Венькой Кузиным — отец и мать Матрена.

Алексей Иванович вызвал к столу первым Кукушкина и вручил ему удостоверение с двумя печатями и с подписями всех членов комиссии, написанное аккуратным почерком Елизаветы Валерьяновны на плотной белой бумаге. Пожал Алексей Иванович руку, крепко, как взрослому, посмотрел в глаза и сказал:

— За успешную учебу в школе, за прилежание и способности ученик Касьян Кукушкин награждается сочинениями русского народного поэта Николая Алексеевича Некрасова, — и подал Кукушкину книгу в толстом переплете.

У тети Поли, когда к ней подошел Кукушкин и протянул удостоверение, глаза были мокрые.

После выдачи удостоверений Алексей Иванович позвал тетю Полю и Кукушкина к себе в комнату, усадил за стол, угостил чаем, а потом сказал:

— Знаю, что вам тяжело, дорогая Пелагея Никитична, а парня надо учить дальше. Если вы не возражаете, я помогу его устроить в клюкинскую сельскохозяйственную школу. Там его примут без экзаменов, там и



стипендия, и общежитие есть. Как вы на это смотрите?

— Да уж что тут смотреть-то... — замылась тетя Поля. — Век не забудем вашей заботы.

— Ну что ты, тетя Поля, такая невеселая? — спросил на обратном пути Кукушкин.

— А в чем ты на чужие люди поедешь-то, у тебя и одежонки-то нет. А ты вон какой вымахал..

— Утро вечера мудренее... — успокоил ее по-взрослому Кукушкин.

Дядя Саша весь как-то высох и скукожился. Глаза и щеки ввалились. Нос заострился. Он ничего не просил и ни с кем не разговаривал. Входила к нему только тетя Поля. Он смотрел на нее широкими глазами, и крупные слезы текли по его небритым щекам, бледным, как подушка. Умер он ночью на постели деда Павла. Когда он лежал в гробу, прямой и строгий, Кукушкина поразили руки дяди Саши.

Скрещенные на груди, на синей косоворотке, они держивали маленькое распятие. Это были большие рабочие руки, с твердыми ногтями, с каменными мозолями, с неотмывающимся следом от черного вара, от бесконечного сучения концов. Эти руки умели делать и делали все. Пахали землю и сеяли жито, кололи дрова и косили траву, нянчили ребят и держали винтовку.

Кукушкин позавидовал этим рукам и запомнил их навсегда. Он невольно взглянул на свои еще небольшие ладони: они были тоже в ссадинах и шрамах, в земле и смоле, в твердых подушках мозолей от топорщика, косы и плуга.

После смерти дяди Саши он остался единственным мужчиной в семье тети Поли и старался по хозяйству изо всех сил. Ни о каком ученье, по его мнению, теперь и думать не приходилось. Иначе думала тетя Поля.

Она выпросила в лесничестве пустырь для покоса. Они вдвоем за один день выкосили его и высушили сено. Целый воз этого сена свезла тетя Поля в город и продала. На вырученные деньги купила Кукушкину пальто, штаны и ботинки.

— Теперь тебе есть в чем людям на стороне показаться.

Наступила осень. Кукушкин получил из клюкинской школы известие, что он зачислен учеником пятого класса, что ему дается стипендия в размере десяти рублей в месяц и место в общежитии при школе.

И вот он собирается в дорогу. Дает ему тетя Поля одеяло и подушки из своего девичьего приданого, кладет в отцовский сундучок, крест-накрест обитый железом, две смены белья, полотенце и чистую сатиновую рубашку. Кукушкин укладывает сочинения Некрасова, берет в руки глобус, раздумывая, взять его или оставить. Глобус начинает медленно поворачиваться. Он оставляет глобус дома.

Тетя Поля провожает его за деревню на михалковскую дорогу. Обнимает его, плача, целует:

— Не забывай нас.

Чтобы не заплакать, Кукушкин решительно поворачивается и идет, не оглядываясь. Из низких, застлавших все небо туч сеет медленный, нудный дождь. Кукушкин идет мимо изгороди. На жерди в трех шагах от него сидит ворона. Она провожает Кукушкина косым взглядом.

## Глава одиннадцатая, А КОЛОБОК КАТИТСЯ...

У каждого человека есть свой колобок. Рано или поздно он все равно выкатывается за порог и по тропинкам, по дорожкам, через реки и леса выводит человека в большой мир, мало-помалу учит его встречать неожиданное, подводя к тому камню, на котором написаны слова о трех путях с одинаковым концом, а человеку требуется четвертый путь, потому что он не хочет мириться с одинаковыми концами проторенных дорожек, и тут он оставляет свой колобок и начинает искать дорогу сам.

Есть у колобка святое правило: никогда не возвращаться. Так уж он устроен, этот колобок.

Кукушкин пошел за ним, не оглядываясь.

Он шел по лесным дорожкам, вдоль посадок мокрых притихших деревень с одинокими, поскрипывающими на ветру колодезными журавлями; иногда он присаживался на завалинку крайнего дома. Из окна выглядывала сердобольная баба, похожая на тетю Полю. Он знаками просил у нее воды. Баба выносила ковшик, Кукушкин пил, сердобольная баба спрашивала:

— Куда ты, родимый, в такую непогодь путь держишь?

— Учиться, — коротко отвечал Кукушкин и шел за своим колобком.

Колобок, как многими проверено, ждать не умеет.

А время было такое, что много людей поднималось с насиженных мест и шло за своими колобками. Множество дорожек сливалось в одну. По большой дороге идти было веселей, потому что на миру и смерть красна.

До Клюкина оставалось версты четыре. С пригорка хорошо были видны в матовой дымке затяжного дождя клюкинские поля, крыши домов под голыми ветлами и справа, немного на отшибе, белое двухэтажное здание с красной крышей.

Кукушкин пошел напрямик по стерне; миновав поле, вошел в осинник и, спустившись с горки, остановился у тишайшего ручья с черной как деготь водой.

На противоположном берегу росла сосна. Но какая это была сосна! Могучая, обхвата в два, она росла на обломанном валуне, обхватив узловатыми корнями, похожими на куриную лапу, дикий камень с такой силой, что он не выдержал и треснул в нескольких местах. Вершина сосны пропадала в облаках и глухо шумела.

Кукушкин перескочил ручей и, сняв с плеча сундучок, присел на треснувший камень. Под сосной было сухо. Две синицы, тихо попискивая, копошились в темной замшелой коре. Кукушкин развязал узелок, приготовленный тетей Полей на дорогу, вынул сдобную лепешку, разломил ее и аппетитно стал пережевывать. Синицы спустились ниже. Одна из них, осмелев, села Кукушкину на плечо и тихо пискнула. Кукушкин протянул ей ладонь с крошками. Синица села на ладонь и стала клевать.

Кукушкин знал лес очень хорошо и безошибочно угадывал тропинку под опавшими листьями. Смеркалось, когда он наконец, усталый, подошел к двухэтажному белому особняку под красной крышей. Это была школа. Вокруг был разбит небольшой липовый парк, пестревший песчаными дорожками и круглыми клумбами с высокими яркими цветами.

В школе было странно тихо. Кукушкин обтер ноги о мокрую траву, скovyрнул из-под каблуков грязь щепочкой и постучал в дверь. Ему никто не ответил. Тогда он поставил около двери свой сундучок и присел на него, ожидая, что кто-нибудь да появится.

От усталости он задремал и проснулся от легкого прикосновения чьей-то руки и открыл глаза.

Перед ним стоял высокий мужчина в кожаной куртке. Без фуражки. Черные прямые волосы были аккуратно зачесаны назад. Под густыми, совиными бровями блестя-

ли живые острые глаза. У человека был низкий, грубоватый голос.

— Спят не здесь,— коротко сказал он.— Идем!

— Идемте...— ответил Кукушкин, вставая.

Они поднялись по лестнице на второй этаж.

Незнакомец остановился возле двери с надписью «Учительская» и ключом открыл дверь, жестом приглашая Кукушкина войти за ним в комнату. Комната была просторной, с двумя окнами, по стенам расставлены шкафы, около правого окна стоял письменный стол. Человек разделся, повесил куртку за книжный шкаф и сказал:

— Давай знакомиться.

— Давайте,— ответил Кукушкин.

— Меня зовут Петр Иванович Филин. Я директор школы.

— Меня зовут Кукушкин,— ответил Кукушкин.

— Отлично!

Петр Иванович провел Кукушкина в соседнюю комнату, где было расставлено семнадцать железных кроватей, заправленных лоскутными одеялами. На восемнадцатой койке был один полосатый матрац.

— Вот это и будет твое место,— сказал Петр Иванович.— Располагайся! Подъем — в восемь. Отбой — в десять. Расписание и распорядок — на доске объявлений. Через полчаса ужин.

— Я ужинать не хочу. Можно, я лягу?— попросил Кукушкин.

— Можно только сегодня,— сказал директор и ушел.

Кукушкин развязал одеяло и подушку. Сундучок задвинул под кровать. Разделся, лег, натянул одеяло на голову и заснул сразу.

Когда человеку хорошо, ему снятся хорошие сны. Кукушкину снилось море. Ни берега, ни корабля — одна синяя вода и синее небо. По этой синей воде идет медленная волна и несет Кукушкина, несет легко и спокойно, чуть покачивая. Вода такая густая, что Кукушкин мизинцем не шевелит и не тонет. Вокруг него летает желтая бабочка. Бабочка садится рядом с Кукушкиным на воду, и вдруг ее крылья вырастают до неба, превращая бабочку в сказочный корабль с желтыми, как подсолнух, парусами. Кукушкин поднимается на палубу и встает у руля. И вдруг руль превращается в морское чудовище, спицы рулевого колеса вырастают в щупальца, длинные и верткие, как кнут у дяди Токуна. Они оплетают руки

и ноги, валят на палубу. Кукушкин дергается и открывает глаза, пытается встать и не может — ноги привязаны к кровати полотенцем.

Его сосед, худой рыжий парнишка, сидит верхом на койке и орет истошным голосом на всю школу:

— Подъем! — и запускает в Кукушкина подушкой.

Кукушкин развязывает полотенце и тоже вскакивает с постели. Ребята гурьбой выбегают в коридор, кубарем скатываются по лестнице и выстраиваются в коридоре нижнего этажа.

Кукушкин бежит следом за ребятами.

— Новички! На левый фланг становись!

И первый день начался. Прошел второй и третий. Прошла неделя, и Кукушкин освоился, обжился, перезнакомился со всеми.

По мнению Кукушкина, это была очень хорошая школа. При школе был скотный двор, огород, сад, пруд и метеорологическая станция, опытные поля и трактор. Все это хозяйство велось руками ребят. При школе была столовая, и весь доход от хозяйства шел в общий котел.

Ученики из окрестных деревень жили по домам. Приезжие — в общежитии. Для мальчиков младших классов комната была наверху. Для выпускников — в нижнем этаже. Обитатели первого этажа назывались акулами, обитатели второго — плотвой.

Между акулами и плотвой шла непрерывная война.

Полею боя была лестница. Днем царило перемирие. После отбоя разведчики тушили единственную лампу в коридоре и входили в соприкосновение с разведкой противника.

Главным оружием и в наступлении, и в обороне были подушки. Некоторые смельчаки пользовались веревочными петлями и арканили своих противников за ноги. Победители имели полное право отбирать у побежденных оружие и спать, как турецкие султаны, на двух подушках. Успех был переменным, потому что плотвы было больше и она была дружнее и увертливей. Иногда сражения заканчивались появлением кита. Китом, только во время сражений, назывался директор школы Петр Иванович. Заслышав шум, он надевал халат и, мягко ступая войлочными туфлями, выходил в коридор, держа подушку наготове. Его узнавали по ударам и разбегались. Эта игра забавляла и плотву, и акул, и, кажется, самого кита.

В школе было три класса и столярная мастерская. Петр Иванович жил в самой школе. Преподаватели — в соседнем полузаколоченном особняке. Там же было и общежитие девочек.

У плотвы было больше свободного времени. Она освобождалась от дежурства по скотному двору. Акулам приходилось составлять суточные рационы коровам и поросятам, готовить им корма и поило, обихаживать их и также дежурить на школьной кухне, резать хлеб, расставлять по дощатым столам бачки с кашей и супом.

Свободное от уроков время Кукушкин проводил или в библиотеке, или на катке, расчищенном на школьном пруду, или бегал на метеостанцию записывать в дневник погоды давление воздуха, силу ветра, количество осадков и температуру. Эту обязанность он взял на себя сам, с разрешения учителя физики и математики Сергея Александровича. Сергей Александрович вел также кружок рисования и сам писал картины маслом. Кукушкин, глядя на него во все глаза, решил окончательно и бесповоротно быть художником и писать вывески. Потом, когда Сергей Александрович показывал на уроках опыты по физике и химии, Кукушкин забросил краски и стал изобретать вечный двигатель и целыми днями пропадал в столярной мастерской, делая таинственную конструкцию из пробки и консервной банки.

В мастерской он подружился со своим соседом по общежитию Мишей Бубновым. У Миши были желтые, как цыплячий пух, волосы, белые брови и ресницы и невероятное количество веснушек. Кукушкин рассказал Мише о своей затее. Миша серьезно покачал головой и сказал:

— С вечным двигателем ничего не выйдет. Трение помешает. Сам пробовал.

Кукушкин никакого представления о трении еще не имел, но, согласившись с Мишей, оставил свое изобретение.

Бубнов был серьезным человеком. Его мечты были гораздо скромней и приземленней кукушкинских. Он хотел быть пожарником, потому что его деревня Максаки на его памяти горела дважды. Он выписывал журналы «Красный пожарник» и «Знание — сила».

В журнале «Знание — сила» они натолкнулись на схему детекторного радиоприемника и по предложению Бубнова в столярной мастерской стали конструировать приемники.

Они были одержимы своей идеей.

Все пять кукушкинских рублей и Мишины сбережения пошли на выписку проволоки, клемм, гнезд и детекторов. На помощь им пришел Сергей Александрович.

К зимним каникулам приемники, аккуратно покрытые синей эмалью, были готовы и опробованы. В наушниках гудела музыка. В наушниках было ясно слышно: «Внимание! Говорит Москва!»

## Глава двенадцатая, ЖЕНЩИНЕ НИ В ЧЕМ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ, И БАЛАБАН СТРЕЛЯЕТ В ОКНО

За одной партой с Кукушкиным сидела Тоня Магрычева. Она училась вместе с ним в бабаевской школе, жила в деревне Кожино, в полуверсте от Дранкина. Кукушкин не обращал раньше на нее внимания: ну, девчонка как девчонка, что с нее взять, да еще белоручка.

Пятистенный, с приделом дом Магрычевых стоял в стороне от деревни. Его так и звали — Магрычевский хутор. Дом был крыт железом, стоял на каменном фундаменте; на подворье было два амбара и три сарая, погреб и свой колодец. Отец Тони — Козьма Флегонтович — промышлял кожами и корьем. Лучшие поля и покосы принадлежали Магрычеву. Сам хозяин подворья, сухой, дубленый старик, был лыс, как куриное яйцо, и ребяташки любили дразнить его:

Шла плешь в гору,  
Да шла плешь под гору.  
Плешь с плешью встретились,  
Плешь плещи и говорит:  
«Ты плешь?»  
«Я плешь!»  
«На плешь капнешь,  
Плешь обваришь».  
«Что, плешивый, говоришь?»

Прокричат эту дразнилку хором и — в стороны. Козьма Флегонтович грозил обидчикам палкой и запоминал их. Запомнил он и Кукушкина.

Надрал Кукушкин пучков пять корья, высушил и принес на магрычевское подворье.

— Тащи к сараю, милоч, сейчас приму, — попросил Козьма Флегонтович. Кукушкин пошел вслед за хозяином. Хозяин взвешивал корье.

— Разложи-ка его на солнышке, оно еще не просохло, и иди с богом.

— А деньги?

— Подь сюда, милоч, отсчитаю.

Кукушкин подошел. Магрычев ловко ухватил его за ухо и выдворил с подворья коленом под зад, приговаривая: «Плешь да плешь и нашего по-ешь!» И ушел Кукушкин несолоно хлебавши.

Страшнее самого хозяина по всей округе был его сын Мефодий, по прозвищу Балабан. Из-за него утопилась Дуся Бабашина. Батрачила она на Магрычевском хуторе, и Балабан ее изнасиловал. Не вынесла Дуся позора и утопилась. А пьяный Балабан куражился по деревне и орал во все горло:

Не поймали рыбы-щуки,  
Поймали лinya.  
Развернули, посмотрели —  
Там мало дитя.

Он уже отсидел полтора года в тюрьме за поножовщину. Ходил Балабан в хромовых сапогах и в рубашке-нараспашку. Рукава были закатаны выше локтя. На груди красовался синий орел, держащий в когтях женщину; под татуировкой выколота надпись: «Я помню чудное мгновенье». Руки Балабана тоже были разрисованы змеями и якорями.

— Ты поедешь на каникулы домой? — спросила Тоня Кукушкина.

— Пойду! — ответил Кукушкин.

— Поедем вместе, за мной приедут.

— Ладно.

Кукушкин посмотрел на Тоню так, как будто в первый раз ее увидел.

В то утро, когда за Тоней приехал Балабан, Кукушкин собрал свой сундучок, бережно уложив в него приемник, и вышел. Тоня уже сидела на легких беговых саночках, в беличьей шубке и в беличьей шапочке, легкая, как снегурочка из сказки.

— Иди сюда, — позвала она Кукушкина.

— Это еще зачем? — недовольно проворчал Балабан.

— Или он со мной поедет, или я вылезу и пойду пешком, — спокойно сказала Тоня, и, странно, Балабан смолчал.

Кукушкину это понравилось. «Женщине нельзя ни в чем отказывать», — прочел Кукушкин в какой-то книге



и, вспомнив это сейчас, уселся рядом с Тоней в легкие бегунки.

Балабан тронул вожжой, и рыжий в яблоках жеребец взял с места и понес. Только снежная пыль летела в лицо да комья снега из-под копыт стучались о передок. Двадцать верст до Кожина пролетели, как песня на сенокосе, весело и незаметно.

— Приходи к нам в гости,— сказала Тоня, вылезая из бегунков.

— Лучше ты к нам приходи,— ответил Кукушкин, оглядывая лохматого цепного пса, привязанного к стойке крыльца.

Тетя Поля к приезду Кукушкина вытопила печь в приделке, и он сладко заснул на кровати деда Павла. Сон повалил его сразу на обе лопатки, и Кукушкин не сопротивлялся ему. Встал он поздно. На улице было тихо и солнечно. Солнце горело в каждой снежинке, звонкое и ослепительное. Иней легчайшими шапками белел на тишайших деревьях. Снегири на белой рябине висели как спелые яблоки. В морозном воздухе над трубами стояли неподвижные дымки. Кукушкин умылся и зашел в избу. Тетя Поля сидела на лавке у окна и расчесывала Танюшке волосы. На столе уже посаживал самовар, ослепительный, как солнце. Солнце было везде: в Танюшкиных волосах, длинных и золотистых, в проворных руках тети Поли, в ее длинных ресницах, в алюминиевой чайной ложке и в сахарнице. Вся изба была царством солнца, теремом света и спокойствия.

Завтракали весело и дружно. Овсяные блины с вареньем и сметаной сами просились в рот. Четыре тарелки блинов растаяли на глазах.

После завтрака Кукушкин оделся, взял топор, встал на лыжи и отправился в лес. Он выбрал две прямые сухостойны, обтесал и опкурил их и волоком притащил в деревню. Одну жердь он прикрепил к ветле, другую — на крыше, к трубе. Натянул между ними на изоляторах проволоку, сделал отводку к окну приделка, залез в подполье и закопал в землю старое железное ведро с припаянной к нему проволокой,— сделал все, как советовал умный журнал «Знание — сила». Пока он всем этим занимался, Танюшка успела кому-то сказать, тот передал другому, и слух о том, что Кукушкин будет говорить с Москвой, облетел всех. Когда он, закончив последние приготовления, взялся за рычажок детектора и настроил

вариометр на нужную волну, приделок деда Павла уже не мог вместить любопытных, они толпились под окнами.

— Тише! — сказал Кукушкин.

И все замерли, как в церкви во время проповеди попа Александра. В тонких мембранах наушников послышалась музыка. Кукушкин настроил приемник на высшую громкость и передал наушники тете Поле. Она сняла платок, перекрестилась, лицо ее расплылось в улыбке трогательного удивления. Она только и могла сказать:

— Бытюшки, а ведь в самом деле играют...

Наушники переходили из рук в руки, и вместе с этим росло восхищение Кукушкиным: он был как бог, и золотой венчик славы уже сиял над его белесым чубом. Наконец наушники попали дяде Токуну. Его рот от неожиданности раскрылся, борода завернулась набок, и в глазах мелькнули веселые огоньки. Видимо, передавали веселую музыку.

— Ой, бабы-девушки, шлеп те во щи! — воскликнул дядя Токун и пустился в пляс, припевая:

Вот вам, девушки, наука:  
Не берите жука в руки.  
Заберется под капот  
И наделает хлопот.

И так разошелся, что чуть не опрокинул приемник, запутавшись в проводах.

Среди гостей Кукушкин заметил Тоню. Подозвал ее и дал ей наушники. Тоня послушала и спросила:

— Правда, это ты сам сделал?

— Он все может, — ответил за Кукушкина дядя Токун, — он может сделать так, что на кожаном сапоге и на лысине твоего отца борода вырастет!

И Кукушкин никак не мог решить, то ли это похвала, то ли насмешка.

К вечеру пришел посыльный из сельсовета. Кожинских и дранкинских мужиков приглашали на собрание в бабаевскую школу. Вместе с тетей Полей в Бабаево отправился и Кукушкин. Ему хотелось послушать, что будет на собрании, а главное — повидать Алексея Ивановича.

У Алексея Ивановича и Елизаветы Валерьяновны был непререкаемый авторитет. Они всегда были вместе. Они обращались друг к другу на «вы». Все в округе называли их «наши учителя», запросто шли к ним за любым советом и никогда не получали отказа. Вот и сейчас они сидят рядом с великолепным Красовским, председателем

сельсовета, в президиуме, за покрытым кумачом столом, и маленькая Елизавета Валерьяновна, седенькая и подвижная, протирая пелсне, что-то шепотом говорит своему мужу.

Великолепный Красовский начал издали. Он говорил о гражданской войне и об Антанте. Об издыхающей гидре капитализма, доживающей последние дни, и еще о многих вещах мирового значения, в знании которых, по мнению всего сельсовета, Красовский был настоящий дока. И только к концу речи коснулся организации колхоза:

— Так что, трудящиеся крестьяне, вы должны понимать всю классовую выгоду коллективного ведения хозяйства, только общий труд обеспечит нам дорогу к зажиточной жизни.

— Своего не посеешь — чужого не поешь! — сказал сидящий в первом ряду Козьма Флегонтович своим скрипучим голосом так, что все услышали.

— Сам-то чей жуешь?

— Пусть наш учитель скажет!

Алексей Иванович поднялся из-за стола; оглаживая бороду, стал ходить перед собранием, как перед классной доской, спокойно доказывая преимущества колхоза.

— Конечно, колхозы для кулаков — смертная петля, а для простого труженика-крестьянина — спасение. Так ведь я говорю?

— Так-то так, да по сторонам оглядывайся! — донеслось из задних рядов.

Кукушкин узнал голос Балабана.

— Пиши меня в колхоз первым! — сказал дядя Токун.

— Тебе что, у тебя ни кола ни двора, и узды от чужой кобылы нету!

— Кто был ничем, тот станет всем! — бойко ответил дядя Токун.

Страсти разгорались. Тетя Поля осторожно потрогала Кукушкина за локоть:

— Пойдем домой, Танюшке одной не управиться.

Кукушкин ушел.

Утром в Дранкино пришла страшная новость.

Мужики из школы разошлись за полночь, так и не решив окончательно, быть или не быть колхозу. Алексей Иванович и Елизавета Валерьяновна пришли в свою комнату, попили чаю, и Елизавета Валерьяновна легла спать. Алексей Иванович посидел за столом, проверяя тетради, потом погасил лампу, разделся и подошел к постели.

Елизавета Валерьяновна привстала, освобождая ему место. В это время и раздался выстрел. Заряд картечи угодил Елизавете Валерьяновне в голову. Она замертво упала на подушку.

Хоронили ее через два дня. Весь сельсовет собрался на бабаевском кладбище. Из района прислали двух слепых баянистов, они играли «Интернационал», и им, по своей доброй воле, подыгрывал на скрипке дьячок Силантий Кобыла.

Кукушкину так и не удалось поговорить с Алексеем Ивановичем. Весь день он писал плакат. Поздно вечером отправился на Магрычевский хутор и приклеил липким, как язык тетки Матрены, клейстером плакат к воротам подворья:

### **ЛИКВИДИРУЕМ КУЛАКА КАК КЛАСС!**

Слова вмерзли в шершавые доски, и Козьма Флегонтович долго соскабливал их скобелью.

Нетрудно было догадаться, кто стрелял в Алексея Ивановича.

Мужики сами поймали скрывавшегося на сеновале Балабана. Он был пьян. Ему скрутили руки за спину, бросили в дровни и увезли в город.

### **Глава тринадцатая, СЛОЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НЕ БЕЗ РОМАНТИКИ**

Взрослые, конечно, забывают об этом. Но мальчишки всего мира наверняка знают, что самое интересное место в любом доме — чердак.

Полузаколоченный особняк рядом со школой давно привлекал внимание Кукушкина.

На заднем дворе особняка к слуховому окну была приставлена лестница. Кукушкин, улучив удобный момент, с проворством белки шмыгнул по лестнице на чердак. На протянутых между стропилами веревках сохло белье. Около печной трубы были свалены сломанные стулья и кровати. Портрет царя Николая лежал поверх этого хлама, тускло поблескивая золотым багетом. Ножка кровати с колесиком, прорвав бумагу, вылезла из левого глаза императора угрожающе и страшно. Кукушкин пошел дальше, тихо ступая по сухой земле, насыпанной на

потолок для тепла. Он очутился как раз над заколоченной частью особняка и, увидев люк, спустился вниз, в нежилые комнаты, по шаткой скрипучей лестнице.

Сквозь щели заколоченных досками пыльных окон полосами входил золотистый зимний свет и ложился пятнами на щербатый пол. Встревоженная шагами пыль кружилась в полосах света. Кукушкин, остановившись, загляделся на нее, здесь, по мнению Кукушкина, должна быть непременно какая-то тайна. Он ждал ее. И он не ошибся.

В угловой комнате стояли шкафы, в каждом шкафу — полным-полно книг. Лучших кладов, по мнению Кукушкина, на земле не существовало.

Он застыл, боясь шевельнуться, перед этим богатством. Школьная библиотека помещалась всего в одном шкафу и была перечитана. Кукушкин раскрыл дверцы у всех пяти шкафов, сел на пол и стал любоваться корешками переплетов.

Кукушкин пропал. Он был на уроках, сидел за партой рядом с Тоней Магрычевой и ничего не слышал. Дело в том, что в одном из шкафов он обнаружил внушительную пачку разноцветных книжечек о приключениях знаменитых сыщиков Ника Картера и Ната Пинкертона. Книжечки были маленькие и легко умещались в кармане. Можно было даже на уроке, незаметно вынув книжку из кармана, сунуть ее под крышку парты и читать.

— Что ты смотришь? — спросила Тоня.

— Ты умеешь хранить тайну? — в свою очередь спросил Кукушкин.

Тоня кивнула головой и посмотрела на него так, словно сию же минуту готова была стать молчаливей могилы.

После обеда они молча пробрались в заколоченный особняк и долго рассматривали книги. Кукушкин жаждал действия. Его так и подмывало изловить какого-нибудь бандита или найти клад. Ни бандита, ни клада под рукой не было. Тогда Кукушкин выдумал клад. Выдумал и сам поверил в то, что он существует на самом деле.

— Знаешь колодец около пруда? — таинственно спросил он Тоню. Та кивнула утвердительно. — В срубе этого колодца, в четвертом венце снизу, есть отверстие, через это отверстие можно проникнуть в пещеру, в которой светло от драгоценных камней как днем.

— А что мы будем делать с этими камнями? — спросила Тоня. Спросила так, словно сама побывала в этой пеще-

щере и своими глазами видела несметные богатства. Она не могла не верить Кукушкину.

— Мы отдадим камни Филину и сделаем большую библиотеку для школы. Для тети Поли купим отрез на четыре платья, а тебе коньки.

— У меня есть коньки,— сказала Тоня.

— Ну тогда не будем покупать коньки,— согласился Кукушкин.

Он знал, как надо открывать клады: надо было опуститься в колодец в двенадцать часов под четверг. Почему именно под четверг, Тоня не могла догадаться, а спросить Кукушкина не смела, да он и сам не знал, его уже понесло, и он вошел в роль кладоискателя с головой.

В двенадцать часов под четверг они были на месте. Ночь была морозная и звездная. Кукушкин, как было условлено, заранее спустил в колодец бадью и, обжигая о промерзлую цепь руки, стал спускаться вниз. Тоня ждала наверху, держась за ручку ворота. Кукушкин, спускаясь вниз, придумывал, что бы такое сказать Тоне, почему он не проник в пещеру. Что пещеры не существует, он ясно почувствовал, когда взялся за цепь и повис над черной пропастью колодца. Ему была видна только одна звезда, крупная и яркая, как драгоценный камень в несуществующей пещере. Ему было страшно, и он зажег спичку. Звезда в небесной пещере потухла, и его обступили замшелые, осклизлые стены сруба. Он дернул три раза за цепь. Это было сигналом Тоне. Тоня налегла на ручку ворота и с трудом повернула ее три раза. На большее у нее силы не хватило. Она старалась и еще раз повернула ворот. В это время кто-то взял ее за плечо. Тоня вскрикнула и выпустила ручку. Бадья глухо плюхнулась в воду. Тоня подняла глаза и увидела рядом с собой Петра Ивановича Филина.

— Что тут происходит?— спросил Филин.

— Он там,— еле проговорила Тоня, указывая на колодец.

— Кто там?

— Кукушкин.

Петр Иванович налег на ворот и вытянул Кукушкина. С Кукушкина лила вода, и зубы его отбивали чечетку. Тоне было жаль друга. Тоня считала, что во всем вина только она одна.

— Что ты там искал?— спросил Филин.

— Клад...— скорее простучал зубами, нежели проговорил Кукушкин.

— Клады ищут днем!— серьезно заметил Филин, отослал Тоню в общежитие, а Кукушкина пригласил следовать за собой.

Петр Иванович был холостяком и жил один. В его просторной двухоконной комнате пахло от бесчисленных гербариев сухим сеном и летним теплом. Над диваном висели два скрещенных ружья и три пейзажа, написанных Сергеем Александровичем.

— Ну что ж, кладоискатель, выворачивай карманы, сушишься да спать ложись. Окладах поговорим завтра.

Кукушкин положил на стол «Баскервильскую собаку», развесил на лавке перед горячей лежанкой мокрое белье и лег на диван, укрывшись одеялом и полушубком Петра Ивановича. Петр Иванович достал из стола бутылку портвейна, налил четверть стакана и заставил Кукушкина выпить.

— Согрейся и спи!

Кукушкин заснул.

Петр Иванович встал очень рано и ушел по своим делам, не разбудив Кукушкина. На книжке «Баскервильская собака» лежала записка:

«Если о библиотеке знаешь один, никому не говори».

Кукушкин встал. Зашел к себе наверх. Умылся и вместе со всеми позавтракал.

— Где ты был?— спросил его Миша Бубнов.

— В деревне!— соврал Кукушкин и пошел на урок.

По мнению Кукушкина, преподавательница русского языка и литературы Лидия Васильевна Лебедева была самой красивой женщиной на свете. У нее были русые волнистые волосы, подстриженные в скобу. Маленькая челочка наполовину прикрывала белый лоб с черными бровями и такими черными и пушистыми ресницами, что из-под них только мерцали голубые огоньки, а самих глаз не было видно. Ходила она всегда в легкой белой кофточке, в зеленой курточке и в черной отутюженной юбке. Обувалась в высокие гамашы, отороченные куньим мехом. Она слегка подкрашивала губы, и от нее чуть пахло духами.

Лидия Васильевна вела при школе драматический кружок, куда Кукушкин, памятуя свой провал в бабаевской школе, записываться боялся. И еще Лидия Васильевна очень здорово каталась на коньках. Она толь-

ко что кончила институт и преподавала первую зиму.

Тоня под страшным секретом сообщила Кукушкину о том, что Лидия Васильевна влюблена в Филина.

— Что значит влюблена?— спросил Кукушкин.

— А то, что она хочет быть с Петром Ивановичем вместе всю жизнь и умереть с ним в один день.

Кукушкин ничего такого о любви еще не знал. Правда, он видел однажды, как Лидия Васильевна выходила из комнаты Филина и батистовым платочком вытирала глаза. «Наверное, отругал за что-то»,— подумал тогда Кукушкин.

Сейчас Лидия Васильевна читала вслух своим мягким голосом «Ташкент — город хлебный» — удивительную книгу о злой судьбе одинокого мальчишки, о его умной смелости, о приключениях в дальней и трудной дороге. Отправляясь в дальнюю дорогу за хлебом, мальчишка говорил: «В дороге веревочка пригодится!»

И Кукушкин запомнил почему-то эту фразу.

Прозвенел звонок. Кукушкин спросил у Тони:

— Сегодня пойдем туда?— под «туда» он подразумевал заколоченный флигель.

— Не знаю...— ответила Тоня, и глаза ее стали печальными.

И все-таки они вместе после уроков забрались в свою библиотеку. Тоня была явно не в себе. Глаза ее смотрели в одну точку, книга вываливалась из рук.

— Что с тобой, Тоня?

Тоня заплакала беззвучно и горько. Крупные, с горошину, слезы потекли по ее щекам. Кукушкин не любил слез, особенно девчоночьих. В другой раз он встал бы и ушел, сказав: «Плакса. Я думал, что ты человек, а ты плакса!»— но на этот раз еще неизвестное ему Тонино горе чем-то тревожным наполнило и его душу.

— Меня раскулачили...— тихо сквозь слезы выговорила Тоня.

Кукушкин не знал, как раскулачили Тоню. Кукушкин видел, как раскулачивали клюкинского кулака Степана Зернова. К двухэтажному, наполовину каменному, наполовину деревянному дому подали две подводы. Нагрузили на них какое-то тряпье, чугуны и самовар. Вышел Степан Зернов, мрачный, без шапки, за ним, причитая и гогосая,— его многочисленная родня.

— Спасибо за добро, сельчане,— сказал Зернов,— может, встретимся,— и сел в дровни.



— Подводы тронулись. Зерновский кобель метался на цепи, завывая от ярости. Народ расходился с зерновского подворья молчаливо, как с пожарища.

«Наверно, — подумал Кукушкин, — так же раскулачивали и Магрычевых. Наверно, так же, без шапки, вышел Козьма Магрычев и сказал, обращаясь к собравшимся: «Спасибо, мужики, за все доброе, что я вам сделал». И сани тронулись, и на санях запричитала забитая, молчаливая Магрычиха, и дядя Токун крикнул вслед Магрычеву: «Тебе давно пора за своим Балабаном. Одного поля ягода!»

— Откуда ты знаешь, что тебя раскулачили? — спросил Кукушкин.

— Мама передала... — сказала Тоня.

Кукушкин не стал больше спрашивать Тоню. Он понял одно: что выслали только одного хозяина. И ему стало жаль Тоню какой-то щемящей жалостью. Кукушкину вдруг захотелось быть для нее тем добрым человеком, каким стала для него в свое время тетя Поля.

— Меня выгонят из школы? — спросила Тоня, как будто от Кукушкина все это зависело.

— Не выгонят! — твердо сказал Кукушкин, словно он был сам всесоюзный староста Калинин или, по крайней мере, Петр Иванович Филин.

— После обеда зайди ко мне, — сказал Петр Иванович Кукушкину.

Кукушкин зашел.

— Ты никому не рассказывал о библиотеке?

— Нет.

— Молодец. Ты мне нравишься. Идем, показывай.

Клюкинская школа колхозной молодежи существовала всего четвертый год. Раньше в этих зданиях было агротехническое земское училище. После революции училище несколько раз преобразовывали то в курсы агрономов, то в девятилетку, то в техникум политпросветработы. Директора и заведующие менялись. Здания постепенно дряхлели. Первым заколотили особняк. У Петра Ивановича все не доходило до него руки.

Филин и Кукушкин проникли туда через чердак.

— О, да здесь и вправду целое сокровище; жаль, что раньше не догадался, — сказал Петр Иванович, разглядывая шкафы. Потом подошел к двери, нажал на нее плечом, дверь поддалась, ржавые гвозди взвизгнули, и свежий воздух хлынул в комнаты, поднимая многолетнюю пыль.

Ремонтировала особняк вся школа. Старшеклассники под командой столяра перебрали полы и вставили стекла, наделали столов, полок и табуретов. Прохудившуюся крышу покрыли дранкой. Драночный станок сделал сам Петр Иванович. Кукушкин работал на этом станке, подтаскивал чурки. Потом его включили вместе с Мишей Бубновым в бригаду маляров, и они целую неделю ходили перемазанные суриком.

К маю библиотека была готова.

Заведовала библиотекой Лидия Васильевна. Книги о сыщиках она хранила под замком. Но так как Кукушкин был активистом и членом редколлегии газеты «Шекаэмовец», то ему Лидия Васильевна под секретом давала иногда и эти книжки.

На Майские праздники библиотека закрылась. Ключ находился у школьного сторожа — дяди Сережи Тремичева. Тремичев был одноруким. Руку он потерял на войне. Он был неграмотным, поэтому считал книги чудом. Из всех учителей он больше всего любил Лидию Васильевну. Просто обожал ее. Он решил для нее сделать что-то приятное. Все четыре праздничных дня пропадая в библиотеке, он навел свой порядок, расставив книги на полках по ранжиру.

## Глава четырнадцатая, НА ПОПРИЩЕ УЧИТЕЛЯ

Тоню из школы не выгнали.

В магрычевском доме так же, как и в зерновском, разместились правление колхоза.

Если дядя Сережа Тремичев, обожая Лидию Васильевну, не скрывал этого ни перед кем, то Кукушкин, из-за мальчишеской стеснительности, не высказывал никому своего восхищения Петром Ивановичем. Он был верен ему безмолвной верностью, старался подражать ему во всем, даже волосы со лба отводил так же, как Филин, двумя пальцами — безымянным и мизинцем.

Петр Иванович вел уроки обществоведения и сельского хозяйства. Он был агроном, дел у него было по горло — и в школе, и на опытных участках, и по всему району.

Землемеров в ту пору было мало, и Петр Иванович все лето мотался по вновь организованным колхозам, составляя новые севообороты. Кукушкин везде следовал за

ним. Таскал рейки и астролябию, перечерчивал схемы и, конечно, окончательно решил стать агрономом.

За лето он заработал порядочно денег. Тетя Поля спрятала их в сундук.

— Ты уже совсем парнем стал, скоро на гулянки ходить будешь, надо костюм и штиблеты покупать.

Кукушкин не возражал. Ему очень хотелось щегольнуть новым костюмом и желтыми штиблетами с крючками для шнурков. Он тайно даже мечтал о галстукке.

Лето пролетело быстро. И вот Кукушкин опять в школе. Опять его койка стоит рядом с койкой Миши Бубнова. Опять после отбоя идет война «плотвы» с «акулами»; опять «акулы» и «плотва» узнают «кита» по ударам. Дел у Кукушкина прибавляется. На его попечении две коровы и пять поросят. Всем им надо составлять по кормовым единицам суточные нормы, кормить и обихаживать их. Кукушкин даже научился доить коров по шведскому способу. Во внеурочное время через день идут занятия тракторного кружка. Мотор старенького «Фордзона» гложет и заикается. Петр Иванович выводит его из гаража, оставливает и говорит Кукушкину, не заглушая мотора:

— Садись, попробуй!

Кукушкин садится в железное жесткое седло, как в бархатное королевское кресло, спокойно дотягивается ногой до педали, такой он стал большой, выжимает скорость и берется за баранку. Трактор, урча и отфыркиваясь клубами дыма, трогается с места. Сердце Кукушкина поет в лад мотору трактора, на всю мощность, захлебываясь от восторга, точно так же, как тогда, в стаде у дяди Токуна, когда он впервые научился хлопать кнутом.

На переменах, взявшись под руки, ребята и девочки старших классов гуляют по коридору школы. Кукушкин идет рядом с Тоней, чувствуя ее теплую руку, доверчивую, как сама юность. Ребята поют. Кукушкин тоже подпевает:

По дорожке неровной, по тракту ли,  
Все равно вам с тобой по пути.  
Прокати нас, Петруша, на тракторе,  
До околицы нас прокати.

Воображение Кукушкина работает быстро, будто бы не Петр Дьяков, о котором сложена песня, ведет свой трактор за околицу, а он, Кукушкин, и ему сейчас предстоит встретиться с кулаками. Но его не успевают облить

бензином — звенит звонок, в классах захлопываются форточки, и учителя идут по классам.

Заявление о приеме в комсомол Кукушкин и Тоня писали вместе. Они сидели в библиотеке, где Лидия Васильевна выдавала книги. «Прошу принять меня,— писал Кукушкин,— в Ленинский Коммунистический Союз Молодежи: Я постараюсь быть во всех делах верным завету товарища Ленина и все свои силы отдам делу Ленина» — и сам немного робел от этого обещания, таким оно казалось ему грандиозным. У Тони так складно не получалось, поэтому она переписала свое заявление с кукушкинского. Кукушкин не считал это списывание зазорным.

Лидия Васильевна в это время, распечатав пачку книг, попросила Кукушкина выбросить обертку от посылки. Кукушкин свернул бумагу, а толстую шпагатину смотал в моток и, положив в книжный шкаф, сказал:

— Веребочка в дороге пригодится.

— Ты думаешь, пригодится? — спросила Лидия Васильевна.

— Обязательно пригодится! — подтвердил Кукушкин.

Учеников шестого класса принимали в комсомол перед праздником Октябрьской революции. Кукушкина приняли сразу. Когда стали принимать Тоню, кто-то сказал, что она дочь раскулаченного.

— Так я этого и не скрываю, — сказала Тоня, стоя у стола; сказала и покраснела, слезы готовы были брызнуть из ее растерянных глаз, но она удержалась.

— Сын за отца не отвечает, — сказал Кукушкин. Он уже чувствовал себя комсомольцем, и сердце ему подсказывало, что Тоню надо принять, что она ничем от него не отличается. Собрание зашумело.

— Тишина! — сказал Петр Иванович и встал. — Может быть, Кукушкин и прав, но торопиться не надо. Мы все знаем Магрычеву. Она хорошая ученица, но у нее нет никаких общественных нагрузок. У меня есть предложение: поручить Кукушкину и Магрычевой занятия с неграмотными в деревне Рождествено, а Магрычеву принять кандидатом с испытательным сроком на три месяца.

На этом и порешили.

После собрания для всей школы в нижнем коридоре было кино. Показывали «Красных дьяволят». Кукушкин на радостях за Тоню и за себя с таким старанием крутил ручку движка, что не успел ни разу взглянуть на экран, да ему и не видно было экрана.

В столярной мастерской Кукушкин выстругал доски, профуганил их, потом склеил так, что комар носу не подточит, прошпаклевал и покрыл черным лаком. Классная доска вышла на славу.

Лидия Васильевна выдала Тоне пять букварей, пять тетрадей в косую линейку и столько же карандашей. И они пошли после обеда в Рождество. Поземка мела дорогу. Ветер продувал насквозь кукушкинское пальто на рыбьем меху и, ударяя в доску, тормозил движение. Что бы ему дуть сзади — Кукушкин полетел бы, как лодка под парусом. В Рождество было — по проведенной комсомольской переписи — двадцать три человека неграмотных. Кукушкину и Магрычевой поручили обучать только пятерых. С остальными занимались другие комсомольцы.

В просторной избе солдатской вдовы Марфы Подоговой собрались все пять учениц, сорокалетних баб, ради науки надевших яркие кофты и новые платки. Все они чинно сидели за столом, на котором посапывал ведерный самовар. Когда в избу вошли Кукушкин и Тоня, хозяйка встала из-за стола и помогла им раздеться.

— Может, чайку попьете с дороги, не побрезгуйте уж!

После чая Кукушкин рядом с иконой повесил на стену классную доску. Тоня положила на стол тетради, карандаши и буквари. Кукушкин, припомнив Алексея Ивановича, встал у доски и сказал, заложив руки за спину:

— Кто из вас знает буквы?

— Если б знали, дак бы читали! — ответила за всех хозяйка.

На первом уроке было громкое чтение.

Каждую неделю по вторникам и четвергам Тоня и Кукушкин приходили в Рождество. Ученицы занятий не пропускали. Мало-помалу заскорузлые руки привыкали к карандашам и начинали выводить буквы, складывая их в слова. И каждый раз после занятий Марфа Подогова оставляла учителей «почайпить», как она говорила, или поужинать. Однажды, пока Тоня и Кукушкин после занятий пили чай, Марфа взяла кукушкинское пальтишко и пришила две недостающие пуговицы и, провожая учителей на крыльцо, полушутя сказала:

— Баран да ярочка — хорошая парочка!

Учителя покраснели, но это заметили только звезды.

— Пуговицы я могла бы и сама тебе пришить, — сказала Тоня и, помолчав, добавила: — А то, что мы у них каждый раз кормимся, по-моему, это непедагогично.

Глава пятнадцатая,  
НАЧИНАЮЩАЯСЯ ИГРОЙ,  
КОНЧАЮЩАЯСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Хорошо Петру Ивановичу, думал Кукушкин. Петр Иванович был на гражданской войне. Служил комиссаром в кавалерии у самого Буденного. Мчался в атаку, выхватив шашку из ножен, и рубал белых гадов. Ему достались все подвиги, а Кукушкину вроде бы и делать нечего. Правда, если будет мировая революция, то он пойдет непременно в конники и первым, как подобает комсомольцу, выхватив шашку, ринется в атаку. Но когда придет эта мировая революция, об этом даже сам Петр Иванович, наверно, не знает.

И еще в одном завидовал Кукушкин Филину: в него была влюблена самая красивая женщина на свете — Лидия Васильевна. Лидию Васильевну Кукушкин обожал не меньше безрукого солдата дяди Сережи Тремичева. И почему Петр Иванович не женится на ней? Женится бы. Вдвоем веселее было бы. Глядишь бы, и завтракали вместе, и обедали тоже вместе. А то сейчас Петр Иванович ест с учениками в столовой. По мнению Кукушкина, это был непорядок.

За ремонт особняка под библиотеку по школьной смете полагались деньги. Они были сэкономлены. На общем собрании, по предложению Петра Ивановича, решено было израсходовать их на приобретение формы для комсомольцев. И теперь почти вся школа ходила в зеленых юнштурмовках, при желтых ремнях с португееми. У Миши Бубнова не было сапог, но он достал где-то желтые краги и щеголял в них.

Вместе с новой формой появилась и новая песня на переменах:

Наш паровоз, вперед лети,  
В Коммуне — остановка.  
Иного нет у нас пути,  
В руках у нас винтовка!

Песня была такой боевой, что ребята с ней готовы были хоть сейчас пойти в мировую революцию.

Это понимал сердцем своим Петр Иванович.

Школа была разделена на «белых» и «красных», но никто не хотел быть «белым», поэтому группы были переименованы в «синих» и «зеленых». Для проведения игры выбрали малуевский лес. И у той, и у другой группы

были знамена. Побежденной считалась та сторона, у которой будет отнято знамя. Готовились к этой игре недели две. Осматривали, встав на лыжи, будущее место сражения, делали укрепления и подыскивали укромные места для засад и секретов. Кукушкин был в группе «синих». Миша Бубнов на этот раз был его противником, и друзья разговаривали официально, как представители враждующих сторон.

Воскресный день выдался солнечный, безветренный. Сугробы, глубокие, чуть тронутые корочкой хрусткого наста, переливаются и горят ослепительной белизной. В лесу такая тишина, что писк синицы за сто верст услышать можно.

«Зеленые» ушли первыми. Миша Бубнов шел впереди в своих желтых крагах и запевал:

Носилки непростые,  
Из ружей сложены,  
А поперек стальные  
Мечи положены.

Ребята подтягивали:

Все пушки, пушки грохотали.  
Трещал наш пулемет.  
Бандиты отступали,  
Шли красные вперед!

Особенно громко они выводили последнюю фразу припева, очевидно считая себя, несмотря на зеленое знамя в руках Миши Бубнова, не «зелеными», а «красными».

«Синие» тоже считали себя «красными», и с этим нельзя было ничего поделать. Все они, в конце концов, были комсомольцами, а комсомольцы, как известно, красный цвет даже на золотой не сменяют:

«Зеленые» ушли к Малуюеву. Там был у них опорный пункт обороны. «Синие» заняли свой редут у входа в малуюевский лес со стороны клюкинских полей. Под надежной охраной в том и другом лагерях стояли в снегу неподвижные знамена. Разведывательные группы двинулись навстречу друг другу, пробираясь по лесу и проваливаясь в сугробы. Основным оружием были сосновые и еловые шишки. «Зеленые» забрали вправо и, не встретив авангарда противника, вышли к редуту «синих».

«Синие», в свою очередь, со стороны леса незаметно прокрались к опорному пункту «зеленых». Кукушкин сквозь кусты можжевельника увидел на крутом обрыве

холма Мишу Бубнова, стоящего у своего зеленого знамени. Миша стоял к Кукушкину спиной и, подскакивая, ударял себя руками по лопаткам. Он, очевидно, согревался таким способом.

Кукушкин дал знак своим, и они затаились. Он сбросил пальто и, наметив направление, нырнул в сугроб, как в воду. Снег забивался под воротник юнгиштурмовки, в рукава, таял и обжигал кожу, Кукушкин полз, приближаясь как крот.

Руки его коченели, и уши горели от холода.

Он потерял один валенок. Искать было некогда. Он пополз дальше и потерял размотавшуюся портянку. Пальцы босой ноги свела судорога. Он уже начинал отчаиваться в исходе своей затеи. Но вот прямо перед собой он нащупал мерзлую землю и осторожно выглянул из снега. Он увидел полутораметровый обрыв обнаженной земли и желтые краги Миши Бубнова. Кукушкин вскочил и, ухватившись за лодыжки Бубнова, резко дернул на себя. Миша даже не успел вскрикнуть; потеряв равновесие, взмакнул руками и плюхнулся в сугроб. Кукушкин возвратился на холм и, выдернув зеленое знамя, помахал им. Комендантский взвод «зеленых» шагах в двадцати грелся у разведенного под разлапистой елью костра и не видел происходящего. Разведка «синих» захватила Мишу Бубнова в плен. Комендантский взвод «зеленых» ринулся на разведчиков. В это время на белом жеребце выехал из леса наблюдавший это сражение главный посредник и судья Петр Иванович и поднял белый флаг. Это было сигналом окончания боя. Победа принадлежала «синим».

Женский батальон «синих» из последних сил отбивался на своем редуте от натиска превосходящих сил противника. У «синих» кончались боеприпасы, а «зеленые», наседая с обоих флангов, с фронта и с тыла, шли на сближение, явно провоцируя женский батальон на рукопашную. Новой Трое грозил полный разгром, и минуты ее были сочтены. Сама великая Афина Паллада не могла уже изменить предрешенного судьбой горестного поражения.

Так закончилась эта битва, в которой обе стороны чувствовали себя победителями и, соединившись вместе под одно красное знамя, шли стройной колонной по клюкинским полям, распевая песню победителей:

Левой! Правой! Левой! Правой!  
Через горы и леса!



Иль погибнем мы со слабой,  
Иль покажем чудеса!

И впереди на белом коне ехал Петр Иванович.

На нем был белый полушубок из дубленой овчины. И через его плечо был перекинут на ремне настоящий бинокль военного образца, подаренный Петру Ивановичу самим Буденным.

Кукушкин портянку так и не нашел. Ноге было сыро и холодно. Правое ухо пришлось оттирать снегом. И оно горело. Но он гордо нес красное знамя, которое полыхало над всей сводной колонной.

На Майские праздники на побывку домой Кукушкин отправился вдвоем с Тоней пешком. Весна была ранняя, и подсохшая земля слегка дымилась на пригорках первой робкой зеленью. В мокрых низинках желтыми огоньками зацвела куриная слепота. Бледно-зеленоватый туман готовых проклюнуться первых листьев сквозил в голых ветках берез. Жаворонки заливались направо, и высоко над темными елями ястребы стояли неподвижно, словно приколотые к зениту.

— А ты знаешь, — сказала Тоня, — из школы вчера ушла Лидия Васильевна.

— Куда ушла?

— Я не знаю, куда она ушла, — сказала Тоня, — но ушла совсем и в записке написала, чтоб ее не искали и что во всем виновата только она одна.

Кукушкин не мог себе представить, в чем же виновата Лидия Васильевна: она такая красивая, что обидеть ее никто не посмеет, а обижаться на нее нельзя.

— Она, наверное, из-за любви ушла, — продолжала Тоня, — она любит Петра Ивановича, а он ее не любит.

— А разве можно ее не любить? — спросил Кукушкин.

— Ума не приложу! — совсем по-взрослому, как тетя Поля, ответила Тоня. На этом и закончился их разговор. Какая-то смутная тревога, безотчетная и еле уловимая, закралась в сердце Кукушкина и заставила его замолчать. Это настроение передалось и Тоне.

Великолепному Красовскому — председателю сельсовета — всегда приходили в голову какие-нибудь хорошие идеи. На этот раз он решил, выражаясь его словами, «увековечить память невинной жертвы классовой борь-

бы». А говоря проще, он предложил разбить около бабаевской школы сад. Он даже название для этого сада придумал: «Народный парк «Красная нива» имени Е. В. Званцевой».

Все в округе любили и помнили Елизавету Валерьяновну. Первого мая из окрестных деревень, нарядные, как на праздник, пришли бабы и мужики, комсомольцы и школьники. Алексей Иванович составил план парка. И началась работа. Около вычищенного пруда были посажены четыре аллеи березок вперемежку с лесными рябинами. Кукушкин принес из сосновой рощи четыре диких яблоньки. Силантий Кобыла, безработный по случаю закрытия церкви, притащил с поповского подворья десять кустов сирени. Сам Красовский посадил двенадцать елочек и четыре сосны. Тетя Поля — три отростка вербы из своего огорода.

К обеду работа была почти закончена, и тощенькие деревца, робко прижимаясь к подпоркам, казались сиротливыми. Ограду делали на следующий день, и Кукушкин с Тоней опять пропадали у бабаевской школы. Алексей Иванович первым увидел Кукушкина и спросил, как у него идут дела.

— Хорошо! — ответил Кукушкин.

— Кем же ты хочешь быть?

— Агрономом.

— Похвально! — сказал Алексей Иванович.

Торжественное название, придуманное великолепным Красовским для парка, как-то не привилось. И парк просто стали называть Валерьяновским, но это было спустя года четыре, когда он разросся и зазеленел, отражаясь в тихой воде бабаевского пруда.

Подвезти до школы Тоню и Кукушкина вызвался дед Токун. Он выпросил в колхозе и запряг в дрожки магрычевского рыжего жеребца. Тетя Поля дала Кукушкину на дорогу узелок с едой, и они поехали.

— Ты в самом деле решил учиться на агронома? — спросила Тоня.

— Да! — коротко ответил Кукушкин и вспомнил Петра Ивановича. Сейчас он окончательно решил во всем походить на своего учителя. Чтоб к нему относились люди так же уважительно, как и к Петру Ивановичу, чтоб в него могла влюбиться такая же красивая женщина, как Лидия Васильевна. Что такое влюбиться, он еще не представлял себе. Он взглянул на Тоню. Она сидела рядом

с ним в легком ситцевом платьице. В бедом платьице с синим горошком. В руках она держала пальто, вывернув его наизнанку, чтобы не запачкать. Пальто она держала левой рукой, а в правой у нее была какая-то соломинка, которую она покусывала и чему-то улыбалась. Улыбалась легко и спокойно; и ресницы ее, длинные и темные, вздрагивали; и две косы, перехваченные голубой ленточкой, золотясь тонкими пушинками, сбегали на спину. Вся она была легкая, как пушинка, упавшая с вербы на тишайшую воду.

Кукушкин смотрел на Тоню и вдруг покраснел от каких-то еще не знакомых ему ощущений, совестливых и сладких, и приятный комочек подкатился к его горлу.

Кукушкину захотелось навсегда застыть в этом таинственном состоянии, продлить это ощущение трепетного блаженства, заставляющего замирать сердце.

За перелеском с пригорка были уже видны клюкинские поля и школа. Кукушкин, придя в себя, тихо тронул Тоню за руку, и она вздрогнула от неожиданности, словно с ней происходило то же самое, что и с ним. Кукушкин понял это по взгляду Тониных глаз. Понял и, удивляясь про себя, промолчал.

— Может, мы пойдем пешком?— спросил Кукушкин каким-то совсем не своим голосом.

Тоня согласилась. Токун остановил жеребца и, попрощавшись, повернул обратно. Кукушкин взял у Тони сумку, и они пошли по сухой прошлогодней стерне к осиннику.

Кукушкин вел Тоню по своей тропинке. Они спустились с горки и, миновав заросли жимолости, вышли к ручью. Мимо них, хлопая крыльями и громко каркая, почти касаясь земли, пролетели вороны. Они не обратили на ворон внимания.

В лесу снова стало тихо и торжественно.

— А не позавтракать ли нам?— сказала Тоня.

Кукушкин разостлал свое пальто и помог Тоне сесть, а сам, присев на корточки, заглянул Тоне в глаза. Тоня улыбнулась и опустила глаза, хлопнув ресницами. И вдруг лицо ее побледнело и неопикуемый страх искривил рот. Кукушкин тоже взглянул вниз и увидел черную, как деготь, воду ручья, и в этой черной тихой воде отражались, покачиваясь кверху каблуками, отороченные куньим мехом гамаши Лидии Васильевны. Кукушкин поднял глаза. Неестественно вытянув шею и откинув го-

лову назад, опустив беспомощно левую руку, а правой судорожно схватившись за воротничок кофточки, ногами почти касаясь замшелого валуна, прямо перед ним, на знакомой Кукушкину сосне, висела Лидия Васильевна.

Так вот куда пригодилась веревочка, спрятанная Кукушкиным в книжный шкаф! Конец веревки опускался на грудь. Две синицы хлопотливо теребили веревку. Они ничего не боялись.

## Глава шестнадцатая, БОЛЬШОЙ ГОП

Мне очень хочется, дорогой мой друг, чтобы с моим героем ничего страшного не случилось. Мне хочется, чтобы исполнилось все, что он задумал. Потому что он ничего плохого задумать не может. Я верю ему больше, чем себе. Это святая правда. Иногда мне хочется поступить, как он. Но у него свой характер и своя судьба. И что-нибудь изменить в этом смысле не в моей воле.

Мне хочется, чтобы он окончил школу и поступил в сельскохозяйственный техникум. Стал агрономом, похожим на Петра Ивановича. Жил для других и нашел свое счастье с Тоней. Но это только мое желание.

Я предполагаю, а жизнь располагает по-другому. И тут уж ничего не поделаешь.

Мой герой, естественно, растет, и вместе с ним растет моя любовь к нему и тревога за его жизнь, за его поступки.

Все лето Кукушкин проработал трактористом. Тетя Поля купила ему серый шерстяной костюм с серебряной искоркой и желтые штиблеты. Кукушкин стал поглядывать на себя в зеркало и приглаживать по-особому, на правую бровь, волнистый выгоревший чуб.

Он парень рослый и сильный, ему остается пробыть только одну зиму в школе, а там он может работать помощником агронома или учиться дальше. Заменявший бог весть куда уехавшего с горя Петра Ивановича Сергей Александрович советовал Кукушкину пойти сразу после окончания школы в сельскохозяйственный техникум. Хорошо бы уговорить Тоню поехать вместе. Он очень часто думал о Тоне. И ему было приятно от этих раздумий. За лето он видел ее раза три, но во время этих встреч Кукушкин чувствовал себя как-то неловко.

А колобок продолжал катиться, он привел Кукушкина в областной город Иваново. Если человеку в незнакомом городе некуда идти, он остается на вокзале.

Кукушкин сидел на своем сундучке около «титана», прислонившись к его горячей щеке спиной. На полу сидели и лежали вповалку люди. Они ехали в Магнитогорск и на Днепрострой, в Комсомольск-на-Амуре, к нефтяным вышкам Баку или в полынные степи Приволжья. Неустроенный мир людского муравейника походил на гигантский бивуак. И в этом бивуаке зарождалась еще невиданная в мире новая человеческая жизнь, в которую люди верили слепо и свято, потому что без веры в лучшее людям жить нельзя.

С этой верой в лучшее, постепенно вызревавшей в душе, и сидел Кукушкин на своем сундучке, приподняв воротник своего помятого костюма, уставив глаза в затуманенное затяжным дождем окно.

За окном темнела мощенная булыжником площадь. Ветер рябил лужи. По площади шел человек, неуклюжий и заросший, как медведь. Он шел, не разбирая, по лужам, шлепая размокшими опорками. Вот он остановился. Кукушкин узнал Силантия Кобылу.

Силантий вынул из бездонного кармана четвертинку водки. Ловко выбил пробку и, закинув голову, маленькими глотками выпил все. Потом вытер тыльной стороной ладони мохнатый рот, наверняка сказал: «Паганини, с силой пять пудов!» — оглянулся по сторонам, заметил подкову, поднял ее, понюхал, смачно сплюнул, бросил подкову на землю и ушел в ночь.

На вокзал пришла бригада осодмильцев, крепких ребят с красными повязками на рукавах. Они искали жуликов.

— Ты куда, парень, едешь? — спросил старший Кукушкина.

— В Кинешму, — наобум ответил Кукушкин.

На вторую ночь он сказал, что едет в Кострому.

На третью ночь старший пристально, как на старого знакомого, посмотрев на Кукушкина, спросил его строго и заинтересованно:

— Ты уже вернулся из Арзамаса? Пойдем-ка, парень, с нами да поговорим ладком...

В те времена в Иваново было очень много странных вывесок; была, например, около городской билетной кас-

сы такая: Иввозцветметсборпромсоюзсбыт. Прочитать ее вслух я не мог при всем на то старании. Но я запомнил на всю жизнь другую вывеску. Она висела на одной из дверей городского Совета. В те времена я тоже был один на целом свете и, съев свой колобок, усиленно искал свою дорогу. Она-то меня после долгих скитаний и привела в горсовет — к двери, на которой я прочел Горкомпобез. Строкой ниже это слово расшифровывалось так: Городская комиссия по борьбе с безнадзорностью. Вот около этой двери я и встретился с Кукушкиным.

Счастливая звезда с поэтическим названием Горкомпобез свела нас вместе, пообещав долгую и крепкую дружбу. Мы поклялись прожить всю жизнь вместе и умереть в один день.

По путевке мы пошли в областную текстильную школу и по всем правилам вежливости постучались в дверь директора Ивана Ивановича Баландина.

Навстречу нам вышел худой и длинный, как Дон Кихот, человек в синей косоворотке, подпоясанный синим плетеным поясом, в хромовых сапогах, в старомодном пиджаке с отвислыми карманами. Он оглядел нас внимательным взглядом усталых синих глаз из-под маленьких очков в железной оправе и пригласил к себе.

Он прочел наше направление и спросил, есть ли у нас документы об образовании. Этих документов у нас не было. У нас была только метрика — одна на двоих.

— Тогда вам придется сдавать экзамены! — сказал Баландин.

Мы готовы были ко всему. И мы сдали экзамены. И нас приняли на ткацкое отделение.

И стали мы жить трудно, весело и жадно.

Юность есть юность! Она берет свое и тянется к свету, как подорожник, пробивающий кору асфальта.

Огромное, только что отстроенное здание школы было светлым и чистым. Длинный коридор, просторные классы, библиотека и физкультурный зал. И три тысячи сердец, смелых и жаждущих, готовых как можно скорее включиться в общую работу.

В школе занятия шли в две смены. С утра до вечера опа гудела, как птичий базар. Здесь были таджики и узбеки, казахи и белорусы, армяне и русские — полный интернационал.

Мы с Кукушкиным занимались во второй ткацкой группе. Занимались бригадным способом. В нашу бри-

гаду входило пятеро: Таня Сергиевская, Тося Стабровский — бессменный бригадир, я с Кукушкиным и Колька Бляхман — пижон и лодырь, по прозвищу Фермер Расколося. Этот титул он получил за то, что на вопрос преподавателя: «Что сейчас происходит в Америке?» — ответил, ничтоже сумняшеся: «Фермер расколося», — подразумеваемая под этим классовое расслоение фермеров в Америке.

Преподаватель обществоведения за этот ответ всей нашей бригаде поставил «неуд». Дело в том, что при бригадном методе обучения на вопрос педагога отвечал любой член бригады по назначению бригадира, а отметка ставилась всей бригаде. Поэтому на уроках русского языка и литературы у нас всегда отвечала Таня Сергиевская, Тося Стабровский — по спецделу, я — по физике и химии, Кукушкин — по математике и черчению. Фермер Расколося был у нас в запасе и жил как приживальщик. Мы не то чтобы мирились с этим, но он был такой лодырь, что все наши попытки заставить его хоть что-нибудь выучить, кончались провалом.

Единственный раз он выручил нашу бригаду по французскому языку.

Приближались экзамены. Уроки французского языка вела в нашей школе мадам Гандурина, завитая, как пудель, седенькая старушка, дочь бывшего фабриканта. Она когда-то воспитывалась и жила во Франции, поэтому прекрасно знала французский язык. Она только не могла произнести слово «камарад».

Таня Сергиевская целую неделю зубрила с Колькой «Интернационал» по-французски. И, как это ни странно, он запомнил слова, не вникая в их смысл. Тося Стабровский назначил отвечать Бляхмана. Фермер Расколося вышел к столу, набрал полную грудь воздуха и начал нараспев читать. Это было упоительное зрелище. Класс застыл от удивления, а мадам Гандурина встала по команде «смирно» и простояла до конца не шелохнувшись, потом поставила всей нашей бригаде наивысшую оценку «тре бьен» и больше нас никогда не спрашивала.

Теперь-то я очень жалею, что не занимался у нее. Но упущенного не вернешь. Мы тогда думали, что во время мировой революции, которая скоро настанет, все будут говорить только по-русски. Мы были чересчур оптимистичны. Да простит нам этот оптимизм история.

Три дня в неделю мы учились, три — работали на фабрике. Мы бегали по утреннему морозу на окраину го-

рода, на свою «Дзержинку» — так называлась двухэтажная фабричка, отданная в полное распоряжение нашей школе. Фабричка была оборудована по последнему слову тогдашней техники. Там были станки всех систем: и древние «платты», и новейшие автоматы «портрон», и жаккардовские станки. Мы учились заправлять основы, пригонять гонялки и челноки. Мы ткали полотно, мадаполам, сатин и ситец. Мы глохли от грохота челноков и гонялок, от свиста трансмиссий и шелканья ремней. Мы разучились говорить тихо. Потому что Иваново — город громких голосов, текстильный город. И нам нравилось говорить громко.

Каждый день после работы Тая Сергиевская, Тося Стабровский и я с Кукушкиным отправлялись в школьную библиотеку. К нам присоединялся комсомольский секретарь Саша Уемов, длинный горбоносый парень из старшей группы ситцепечатников, и мы приступали к выпуску стенной газеты. Мы с Сашей Уемовым обрабатывали заметки. Тая своим аккуратным почерком ровными столбиками переписывала их на лист слоновой бумаги. Тося Стабровский рисовал карикатуры, Кукушкин писал заголовок «За кадры»; это у него здорово получалось, и мы шли вместе в коридор и вывешивали газету. Мы это делали ежедневно. Это было наше святое дело.

Жили мы в большом гоге. Малога вообще не существовало в природе. Был только большой гог, говоря другими словами — государственное общежитие, бывшее здание фабрики, с железными окнами, с бетонным полом, с железными колоннами и перекрытиями, на которых держались уже никому не нужные трансмиссии. До гога здесь помещался клуб. От клуба остался только один помост для сцены и занавес. Одна к другой в гоге стояло сто двадцать коек. Пять коек были на сцене, отгороженной занавесом. Это место называлось «Ливадия». Там жили ребята, страдающие недержанием мочи. И оттуда пахло. Венька Кузин жил там.

Венька Кузин был ябеда, и, конечно, это он разболтал в деревне, — и до тети Поли дошли слухи о местопребывании Кукушкина.

Жили мы в ту пору плоховато. Нашей зарплаты едва хватало на обеды и на то, чтобы выкупить хлеб и крупу по карточкам.

Узбекам и таджикам присылали из дому урюк и курагу, и они продавали это на базаре. Фермер Расколос



давал на поноску костюм и брюки и занимался кое-какими делишками. Сам он ходил в хромовых сапогах гармошкой, в матросском клеше невероятной ширины, заправленном в сапоги, в бархатной куртке с застежкой «молния» и умопомрачительной фуражке с желтым кантом и такой величины козырьком, что под ним вполне могли бы ласточки свить не менее трех гнезд. Была еще у него толстенная книга с заманивающим названием «Женщина», и он в своем присутствии показывал ее состоятельным сластолюбцам за рубль на полчаса.

Венька Кузин был адъютантом при Бляхмане. Он чистил Бляхману сапоги, бегал за покупками и пользовался остатками с барского стола.

Мы с Кукушкиным были гордыми плебеями. Нам никто не присылал посылок, и у нас не было хромовых сапог. На моих штанах появились три дыры: две на сиденье и одна на правом колене. Кукушкин тоже стал вырастать из своего костюма, навсегда потерявшего от пыли и машинного масла серебряную искорку. На кукушкинских брюках было четыре дыры.

Мы каждый день подштопывали эти злополучные места на своей одежде. Каждое утро просматривали свои брюки на свет. Каждый вечер перед сном мы раскладывали их под матрац на специальные фанерки. На людях мы старались занять сидячее положение. Мы садились на стулья. Мы закидывали ногу на ногу, левые руки клали на колени и, таким образом, прикрывали все свои дыры и принимали красивую позу. Как-никак мы были почти парни. Нам хотелось хоть чем-нибудь щегольнуть. Нам изредка начинали сниться сны, о которых наверно было сказано в книге «Женщина».

Кукушкина выручил Фермер Расколоса. Он дал ему на поноску свои штаны, не потребовав платы. Он нас побаивался. Он хотел, видимо, задобрить нас своими штанами. Он почувствовал себя хозяином положения и прогулял пять дней кряду. Он думал, что это ему сойдет. Не тут-то было! Кукушкин снова взялся за стихи. Кукушкин написал:

Мы идем в социализм!  
Лодырь Бляхман тянет вниз.  
Скажем Бляхману в упор,  
Что прогульщикам позор!

Тося Стабровский нарисовал к этим стихам карикатуру. Над Бляхманом смеялась вся школа. Колька отобрал

у Кукушкина штаны, и тому снова пришлось надевать дырявые. Проблема штанов снова стала для нас краеугольным камнем существования.

Идеи возникают из практической необходимости. В голове Кукушкина, подсказанная самой практической необходимостью, созрела идея перелицовки наших штанов и их кардинальной реконструкции.

Прежде всего мы распорили мою старую фуфайку на заплаты. Правда, она немного не подходила по тону к нашим брюкам, но, что поделаешь, больше под руками ничего не было. Потом мы разбрючились и залезли под одеяла. Мы осторожно распорили свои брюки, выдергивая, ради сохранения сукна, каждый стежок в отдельности. Мы вооружились иглками и нитками и заделали дыры заплатами. Мы отказались делать манжеты, потому что на них не хватало материала. Мы стачали боковые и внутренние швы. Кукушкин от удовольствия стал даже напевать:

По деревне ехал с луком,  
По оглобле палкой стучал.  
По оглобле стук да стук,  
Покупайте, бабы, лук!

Песня облегчала кропотливую и трудную работу. Обитатели большого гопа с любопытством поглядывали на нас, ожидая, чем вся эта затея кончится. Кризис в нашем портняжничестве наступил при перелицовке широнок. Они у нас получались на левую сторону и не сходились. Превращаться в левшей нам было поздно, и мы задумались.

Во время этого тяжкого раздумья в большой гоп явилась тетя Поля.

Кукушкин заметил тетю Полю первым. От неожиданности он чуть не проглотил иголку, которая у него была в зубах; к счастью, в ушко иголки была вдета длинная нитка — и Кукушкин быстро вытащил иглу. А тетя Поля, пробираясь между койками и тумбочками, подошла к нам, молча погладила Кукушкина по голове, и я позавидовал Кукушкину, так тепло она его погладила. Она положила на нашу тумбочку узелок с едой; разделась и развязала платок, потом присела на кукушкинскую койку и забрала у него штаны и иголку.

Застежки на наших штанах благодаря искусным рукам тети Поли получились на правую сторону, и нам не надо было переучиваться на левшей.

— Ешьте,— сказала тетя Поля и развязала узелок.

Мы отказались. Нам было неудобно показывать перед тетей Полей, что мы голодны.

— Ты хоть бы пришел да радио починил,— сказала тетя Поля Кукушкину и попрощалась.

Мы смотрели ей вслед застенчиво и благодарно.

В этот вечер из принесенных тетей Полей яств мы съели только сдобный пирог с капустой. Остальное мы приберегли на завтра и после выпуска очередного номера «За кадры» устроили всей редколлегией настоящий пир.

То ли потому, что мы росли, то ли потому, что винегреты и пустой суп в нашей столовой были не особенно питательны, мы всегда ощущали не то чтобы чувство голода, а некую потребность поосновательнее поесть. Особенно она усиливалась к концу месяца, когда кончались и карточки, и деньги. Денег-то, положим, у нас и в середине месяца не оказывалось. Вот из-за этой потребности мы с Кукушкиным и совершили тягчайшее преступление, за которое под суд не попали чудом.

Клуб нашей школы находился на втором этаже гопа.

Мы сидели с Кукушкиным в зрительном зале и слушали лекцию о космических путешествиях. Мы уже прочли «Борьбу миров» и «Аэлигу», мы были знакомы с теорией Канта и Лапласа. Мы считали, что Вселенная принадлежит тоже нам и рано или поздно, но мы все равно до нее доберемся. Мы даже мечтали о такой машине, которая могла бы превращать воздух в мясные котлеты и компот.

Когда лектор заговорил об организации питания на космических кораблях, Кукушкин встал и ушел.

Лекция кончилась. Я пришел в большой гоп и сел на свою койку. Я стал читать про себя стихи:

Меня еда арканом окружила  
И обдает эпической угрозой...

Но это все равно не помогало. Есть все равно хотелось. «Вот,— думал я,— хорошо бы сейчас съесть космическую пилюлю, о которой говорил лектор,— проглотил ее, не разжевывая, и ходи сытым целую неделю». За этими раздумьями меня и застал Кукушкин. По его лицу, довольному и веселому, я понял, что он был на каком-то пиру.

— Пойдем!— сказал Кукушкин коротко.

И я последовал за ним.

Столовая помещалась через дорогу от большого гопа.

Там мы протягивали буфетчице карточку и сорок копеек. Она выстригала талоны, выдавала порцию хлеба и железный жетончик. С жетончиком мы шли к окошечку на кухню и получали тарелку супа и тарелку макарон.

На этот раз Кукушкин подвел меня прямо к окошечку и спросил:

— Ты можешь съесть два обеда сразу?

— Да!— ответил я.

И он подал в окошко три железных жетончика. Я съел две тарелки супа и две тарелки макарон. Кукушкин к супу не притронулся, а макароны ел нехотя. Он был сыт. Я тоже был сыт. А когда человек сыт, он становится добрым и общительным, у него возникает желание делать добрые дела.

И мы начали делать добрые дела.

— Где ты взял жетоны?— спросил я Кукушкина.

И он повел меня в клуб. Мы сели на те же места, на которых сидели во время лекции. И Кукушкин взглядом указал на стул, стоявший передо мной. На спинке стула был приколот двумя маленькими гвоздиками железный жетончик с инвентарным номером. Это был обед. Обеды были везде. Они были на спинках стульев и на ножках столов, на шкафах и люстрах, на койках и тумбочках. Мы наковыряли их штук по двадцать. Мы были щедрыми. Кукушкин дал три жетона Веньке Кузину и, видимо, показал ему, где и как они добываются. Венька сказал Кольке Бляхману. Мы не задумывались над тем, что мы делаем.

Колька Бляхман решил заработать на этом деле и стал спекулировать жетонами на обед. Он совершенно обнаглел и торговал этими железками прямо в столовой во время обеденного перерыва и, конечно, засыпался.

На этот раз фермер действительно раскололся. Он выдал нас. Мы с Кукушкиным повесили носы. Только теперь нам стало ясно, что мы наделали.

Нас вызвал к себе Иван Иванович Баладин.

Мы знали, что Иван Иванович был старым большевиком и служил в Чапаевской дивизии. Городской музей находился рядом с нашей школой. В музее висел портрет Ивана Ивановича, и под портретом были описаны все его подвиги.

Мы были готовы к какой угодно расплате. Мы сами приготовили себя к позору и раскаянию. Мы робко переступили порог директорского кабинета и, по приглашению

директора, уселись напротив него в мягкие стулья. Если бы вы только знали, сколько раскаленных иголок было в этих стульях!

Иван Иванович взглянул на нас синими глазами из-под маленьких очков в железной оправе, поправил плетеный поясик на косоворотке и уселся напротив нас.

Иван Иванович начал издали.

— Так вот, орлы боевые, довелось мне служить в Кремле, в личной охране Владимира Ильича Ленина.

Эта сторона жизни Ивана Ивановича нам была неизвестна.

— Поставил меня наш караульный начальник на пост номер двадцать семь, около дверей личной квартиры товарища Ленина. Ленин только что начал поправляться тогда после покушения на его жизнь. И начальник караула строго-настрого наказал мне следить в оба, быть бдительным. Да я и сам понимал, что мне доверена охрана жизни вождя мировой революции товарища Ленина. И вот стою я на своем посту и смотрю в оба — проявляю бдительность. И вот дверь тихонько раскрывается, и выходит из двери сам товарищ Ленин. Взглянул на меня быстрым взглядом и сказал: «Здравствуйте, товарищ!» Я встал по команде «смирно». Пошел он по коридору в свой совнаркомовский кабинет, а минут через пять обратно, прижимая к груди здоровой рукой папку с бумагами. Останавливается снова возле меня и спрашивает, что я тут делаю.

Я ответил:

— Охраняю вождя мировой революции товарища Ленина.

— А я и есть товарищ Ленин.

— Знаю, Владимир Ильич, что вы Ленин.

— А как вас звать? — спрашивает он меня.

— Баландин!

— Ну вот и познакомились, — сказал Ленин и ушел к себе. А я стою да поглядываю.

Минут через двадцать выходит товарищ Ленин опять и приглашает меня к себе чаю попить.

— Нельзя, Владимир Ильич, — говорю я. — Я товарища Ленина охраняю.

— Ну, мы его вместе охранять будем, никуда он от нас не денется.

И что тогда такое случилось со мной, не помню. Забыл я свой революционный долг, забыл наказ своего карауль-

ного начальника и пошел за Владимиром Ильичем в его квартиру. Сидим, чай пьем да разговариваем.

— Замечательный народ,— говорит Владимир Ильич,— ивановские ткачи, первыми в революцию пошли. Первыми показали образец Советской власти.

И эти слова мне как маслом по сердцу. И забываю я окончательно, что я часовой.

И мы с Кукушкиным, слушая Ивана Ивановича, начинаем забывать, зачем он нас вызвал. А Иван Иванович продолжает:

— Сижу я, значит, с товарищем Лениным и разговариваю. А в это время наш караульный начальник пошел посты проверять. Туда-сюда, а поста-то номер двадцать семь и нету. Переполох на весь Кремль поднялся. И заходит в кабинет к Владимиру Ильичу сам Феликс Эдмундович Дзержинский, расстроенный и сердитый. Ленин здоровается с ним и говорит, указывая на меня:

— Познакомьтесь, это товарищ Баландин!

— Очень приятно,— говорит Феликс Эдмундович,— но за такие дела товарища Баландина надо арестовать и под суд отдать!

— Не надо,— возразил товарищ Владимир Ильич,— мы вместе товарища Ленина охраняем.

Тут только я и понял, в какую историю втяпался.

— Владимир Ильич,— сказал Дзержинский,— на вас только что два покушения было. Хватит этого демократизма. Поверьте, это к добру не приведет.

Ленин пожал плечами и сказал:

— Не забывайте только одного, дорогой Феликс Эдмундович, что по образованию я юрист и на процессе защитником выступлю сам,— и посмотрел на меня хитро и виновато. Дескать, нашкодили мы с тобой, товарищ Баландин, вместе. Вместе и отвечать будем.

Настал день суда. Сидел я, повесив голову, не видя свету белого от тоски и обиды, перед лицом своих товарищей. Слушал их справедливые слова о потере революционной бдительности и считал их правыми и казнил себя своей виной. Дали мне последнее слово. Говорю:

— Судите меня, граждане судьи, по всей строгости революционного закона. Виноват я перед вами и перед революцией. Сознаю свою вину и не прошу никакого смягчения в приговоре. Но, граждане судьи, кто бы из вас не пошел попить чаю к вождю мировой революции товарищу Ленину, если бы он вас пригласил?

В это время я заметил в зале Владимира Ильича. Он сидел справа в шестом ряду от сцены, где меня судили. Он не выступил с речью на суде. Дослушав меня, он встал и вышел. Меня освободили.

— Ленин сказал, чтобы меня освободили! — добавил Иван Иванович и вздохнул свободно и глубоко.

Мы с Кукушкиным тоже вздохнули и почувствовали, как иголки, на которых мы сидели, постепенно исчезли и сиденья стульев снова сделались мягкими.

В это время в кабинет к Ивану Ивановичу зашел наш комсомольский секретарь Саша Уемов, и мы стали вместе обсуждать очередные номера стенной газеты «За кадры». Иван Иванович посоветовал нам взять под обстрел отдел рабочего снабжения и столовую. Мы были готовы на это.

Потом мы с Кукушкиным встали и, попрощавшись, пошли к двери, и Иван Иванович ясно увидел на наших штанах четыре заплаты сразу.

— Минуточку! — сказал Иван Иванович.

Мы с Кукушкиным одновременно повернулись, и Иван Иванович увидел еще три заплаты. Он посмотрел на нас внимательно и сочувственно. Потом подошел к несоряемому шкафу, достал там какие-то бумаги и вернулся на свое место за столом.

Мы ушли от директора, придерживая в своих карманах конверты с ордерами на костюмы и с премиями. Оказывается, наша ежедневная стенная газета завоевала первое место во всесоюзном соревновании фабрично-заводских школ. Премии нам хотели выдать на торжественном заседании перед Первым мая, но нам, как увидел директор, не в чем было идти на торжественное заседание, и он выдал нам премии раньше.

Кольку Бляхмана из школы отчислили. Он женился на парикмахерше из центральной гостиницы и поступил работать в часовую мастерскую скупщиком подержанных часов. Большой гоп кончил свое существование. Нас перевели во вновь отстроенное общежитие рядом со школой. У нас была комната на четверых.

Дня через два после свидания с Иваном Ивановичем мы всей редколлекцией пошли в мастерскую на Соковскую улицу. На дверях мастерской висела вывеска:

Швейная артель  
ЗА НОВЫЙ БЫТ  
второго разряда

Но, несмотря на то что она была второго разряда, к Первомайским праздникам нам сшили коверкотовые серые костюмы по мерке и по последней моде. Кукушкину даже сшили жилет с отворотами. Во всем новом и одинаковом мы сидели на торжественном заседании всей редколлегией вместе, и, когда Иван Иванович зачитывал приказ о награждении, мы поднимались на сцену, красивые, как артисты, и сердца наши ликовали.

Мы пели в перерыве новую песню:

Не спи, вставай, кудрявая,  
В цехах, звеня,  
Страна встает со славою  
На встречу дня.

Потом мы пошли в буфет и угощались бутербродами с повидлом и клюквенным морсом, без талонов и карточек, сколько душе угодно. Я посматривал на Таню Сергиевскую, и она улыбалась мне. И лучше ее никого не было на свете. Бал затянулся за полночь и окончился танцами. Мы с Кукушкиным досадовали на то, что не умеем танцевать.

С вечера мы ушли порознь, потому что у нас, кроме общественных дел, стали появляться и личные.

## Глава семнадцатая, ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ, С РАССУЖДЕНИЕМ

Дорогой друг!

Я так же, как, наверное, и ты, до некоторого времени ошибался, думая, что личное дело — лишнее дело. Потому что мы верили самой крепкой верой, что счастье одного или счастье двух невысказано и невозможно без общего счастья. Этим мы живем и сейчас и опытом жизни своей учим будущее. Мы этот узелок на память завязали на всю жизнь вместе с пионерским галстуком.

Я смотрю сейчас на юность моего Кукушкина, на свою юность с грустноватой улыбкой опыта, и она звучит для меня, как песня у затухающего костра перед рассветом. Сейчас взойдет солнце, и стонит туман с низин, и высушит росу на клевере, и ласточки, как черные челноки, заснут над водой в золотистых нитях доброго солнца.

Когда-то мы с Кукушкиным завидовали самой трепетной завистью его учителю Петру Ивановичу. По наивности мы думали, что ему достались все подвиги граждан-



ской войны, что нам остались только мелкие доделки. Жесткой крупной поземки жизнь протерла наши розовые очки, и мы увидели мир — грубый и жестокий, прекрасный и яростный, требующий вечной переделки.

Я рассказал тебе о нашей юности сбивчиво и торопливо. Что поделать, мы привыкли торопиться, потому что у нас всегда было много дела, потому что время никогда не позволяло откладывать дело на завтра. Мы поняли только одно: доброе дело сделать проще и легче.

Я позабыл тебе сказать, что тетя Поля так же, как моя мама, любила напевать, когда у нее ладилась работа, старую, как белый свет, песенку:

Все в мире перемелется,  
Останется любовь.

В этой нехитрой песенке она рассказывала о самой радостной философии человека. Она делала радость для других и в этом находила свою радость.

И я старался написать об этом просто и доверительно. Если ты в чем-нибудь не доверяешь мне, то закрой книгу и не читай ее дальше. Горькая усмешка недоверия мне страшнее всего.

Не ищи в моей книге ничего скрытого. То, что я думаю, то и говорю. Иначе я не умею. Мне нечего скрывать ни в своей жизни, ни, тем более, в жизни своего героя. Он все время шел со мной по всей моей жизни и встречал ее в открытую, не прячась и не хитря.

Он не был святым и не старался им быть. Он был человеком и жил ради людей, сам того не замечая, потому что так устроен мир наших душ, молодых и жадных. Сама наша жизнь, со всей ее недоделанностью и ошеломляющими перспективами, делала нас такими. Много на нашем пути было горького и обидного. Но не горечь и обида были движущей силой. Нет! Они только убыстряли раз и навсегда намеченное направление.

Я должен тебе сказать, что мой герой — не слепок с моей души, нет. У него свой мир, своя вселенная, но эта вселенная летит вместе с моей по одной орбите, и, что бы с нами ни случилось, мы не можем изменить этого движения, мы заведены на всю жизнь.

Многое рушилось. Многое сторало. Многое старело. Но фундамент оставался старым, он не подвергался разрушению, потому что сделан был из очень крепкого и устойчивого материала.

Иногда, в минуты сомнений, мне казалось, что Кукушкин пропал, но он появлялся и вселял надежду в мою душу. И я снова берусь за перо, повторяя про себя: где наша не пропадала!

## Глава восемнадцатая, ЛИЧНЫЕ ДЕЛА — НЕ ЛИШНИЕ ДЕЛА

То, что я думал: личное дело — лишнее дело, — вышло мне боком. Я не успел сказать Тане Сергиевской, что она самая хорошая девушка на свете. А каждой девушке надо сказать это вовремя, иначе эти необходимые слова скажет ей кто-нибудь другой. Тане эти слова сказал кто-то другой. Я знаю, кто этот другой, но не хочу распространяться. Мне было горько. Очень горько.

Это случилось вскоре после окончания фабрики-школы.

Тося Стабровский уехал в Ленинградскую академию художеств учиться на архитектора, меня направили на работу в комсомольскую газету, а Кукушкин, окончив организованные при школе курсы шоферов, не пошел на ткацкую фабрику, а сел за баранку. Он водил свой маленький голубой автобус от Иванова до Фурманова, мимо своего Дранкина. Он иногда заезжал к тете Поле и катал ее девочек. Ему нравилась эта проселочная дорога, сосновый лес Бекетной горы и березовые перелески Вязоскова. Хоть жили мы с ним по-прежнему в общежитии, но встречались редко. Я только заметил над его койкой приколотую к стене фотокарточку девушки с длинными льняными косами, с тихим взглядом спокойных глаз, с пухлыми губами, с чуть вздернутым, немного заносчивым носиком. Я не удержался, снял эту карточку и прочел на обороте:

Она меня за муки полюбила,  
А я ее за состраданье к ним.

«Тоже мне мавр!» — подумал я про Кукушкина и втайне позавидовал ему. Позавидовал тому, что его личные дела, видимо, обстоят лучше моих, и наверное, он эти дела не считает лишними. Кукушкин мне сам рассказал о Тоне. Она тоже училась в Иванове, в медицинском техникуме, заканчивала его и работала в аптеке. Она несколько раз заходила к тете Поле и спрашивала о Кукуш-

кине. Однажды она оставила ему записочку со своим адресом.

Когда человеку на его любовь отвечают любовью, ему начинает казаться, что все в мире влюблены и живут его откровением. Примерно такое же состояние было и у Кукушкина, когда я его застал за расчесыванием чуба перед нашим настенным зеркальцем. Он был так увлечен своим занятием, что не заметил моего появления.

— Куда ты собираешься?— спросил я.

— В Амстердам на шахматный турнир — Ботвиннику помогать туру передвигать, а то она очень тяжелая.

— А короче?

Кукушкин повернулся. На его лице сияло блаженство. Костюм его был отглажен, ботинки его горели, галстук сверкал, как радуга, и весь он благоухал одеколоном «Ландыш».

— Может, ты жениться задумал?— спросил я.

Мне жениться не годится,  
и не надо свататься.  
Приходи на пяточок —  
я не буду прятаться,—

пропел Кукушкин и, резко повернувшись на каблуках, толкнул меня в плечо и сказал шепотом:

— Понимаешь, меня любят! Меня называют «золотко»!

— А «самоварное» не добавляют?— пытался я съехидничать, но Кукушкин не обратил на это никакого внимания.

— Идем, сочинитель!— сказал он.— Я тебя познакомлю с Тоней.

А что мне оставалось делать? Я переоделся. Потому что у меня так же, как и у Кукушкина, было теперь два костюма.

Догорал тихий августовский вечер. Вечер после дождя. Прибитая пыль застыла рябоватым слоем на дороге, тротуары отдымались паром, но еще не совсем просохли, а в клумбах табаки пахли одуряюще. В саду текстильщиков играл духовой оркестр. Тихая музыка вальса, как туман, стлалась над мелкой рябью Уводи и пропадала где-то у багрового горизонта. Горизонт ступенькался и переходил в лиловый темнеющий цвет, и крупные промытые звезды выступали на небе.

— А знаешь, почему наша река называется Уводью?— спросил я.

Кукушкин не знал. Я тоже не знал, но тут же придумал историю о том, как некая красавица из-за несчастной любви пришла к Уводи и решила утопиться, но река сказала ей человеческим голосом, что уведет ее в такую страну, где ее ждет жених и она будет счастлива.

— Вот почему,— сказал я,— в Уводи никогда не бывает утопленников. Она не принимает их, она уводит их в другую страну.

И откуда тогда эта сентиментальность лезла в мою восемнадцатилетнюю голову, я и сам не знаю.

— Почему же она тебя никуда не увела?— спросил Кукушкин. Он знал о том, что Таня Сергиевская вышла замуж.

Я ничего не ответил, и мы молча пошли по протоптанной в упрямом подорожнике тропинке к фабрике «Восьмое марта», повернули на Демидовскую улицу и стали спускаться вниз. На краю обрывистого оврага, заросшего кустами сирени, стоял одноэтажный, с верандой дом. Здесь и жила Тоня. И мы одновременно увидели окно и две тени на занавеске. Кукушкин узнал Тоню. Я узнал Кольку Бляхмана. И тени на наших глазах поцеловались.

Мы поняли, что это была не игра теней, а что-то более существенное.

Мы молча пошли куда глаза глядят. Мы оказались в саду «Первое мая». Мы сели за столик около стойки и попросили открыть бутылку шампанского. Нам захотелось красиво отпраздновать свое горе. Мы медленно тянули янтарное колючее вино и молчали. Мы были трезвыми людьми и не пошли к Уводи.

Через три дня со стены над кукушкинской кроватью пропала фотография. Из-под кровати уплыл куда-то окованный железом сундучок. Исчез и сам Кукушкин.

Через год я получил от него письмо без обратного адреса. Оно было очень коротким:

«Я иду по берегу Черного моря. За пазухой у меня две буханки белого хлеба. А это уже богатство!»

А мои дела в газете пошли в гору. Кроме отдела «Куда пойти?» мне стали доверять рецензии на спектакли и даже очерки. Я делал вырезки из газет и наклеивал их в альбом. Я мечтал написать роман и даже в общей тетради вывел заголовок «На старте», но дальше дело не двинулось.

Наш Ивановский край — край революционеров, это всем известно. Я знал и гордился этим. И мы в своей газете стали помещать очерки о старых большевиках.

Мог ли я пройти мимо этого? Конечно, не мог!

Я написал очерк об Иване Ивановиче Баландине, и он был напечатан на целую полосу с портретом, и я был доволен тем, что посильно всей своей влюбленностью и восхищением отплатил доброму человеку, сделавшему для нас так много. В очерке я написал и о встрече Ивана Ивановича с Лениным. Моя полоса висела в редакции на Доске почета целый месяц.

Летом я уехал на торфяные разработки под Тейково с выездной редакцией.

Там меня затрясла жесточайшая лихорадка, и меня полуживого привезли в Ивановскую областную больницу на улицу Ермака.

Оглохнув и пожелтев от хинина, похудевший до прозрачности, я стал поправляться.

\* \* \*

В больнице я узнал, что Ивана Ивановича Баландина, героя моей души, арестовали как врага народа, а меня за связь с врагом народа исключили из комсомола и уволили с работы.

...Однажды я встретил дядю Токуна. Он работал лесничим. Мы с Кукушкиным, как-то отправившись за грибами, ночевали в его сторожке.

— Куда путь держишь? — спросил меня дядя Токун. И я объяснил ему свое плачевное положение.

Дядя Токун почесал затылок. Мы взяли два билета до станции Домовицы.

Всю зиму я прожил у дяди Токуна. Я поправился окончательно. Мы вместе ставили верши и ловили рыбу. Иногда дядя Токун подстреливал зайца или тетерева. И мы устраивали пир. С молодых березок на порубках ломали ветки и вязали метлы. Дядя Токун в неделю раз ездил в город и продавал их. Покупал хлеб и сахар и привозил мне из библиотеки книги.

Этой осенью я поступил в педагогический институт на вечернее отделение.

В комсомоле меня тоже скоро восстановили.

## Глава девятнадцатая, ТРУБЫ ЗАПЕЛИ ТРЕВОГУ

Мы становились мужчинами от первого выстрела.

Сначала порохом запахло в Абиссинии, вскоре мы начали ловить тревожные вести из Испании, потом мы с завистью рассматривали портреты первых героев с Халхин-Гола. Райкомы комсомола и райвоенкоматы отказывались от наших заявлений. А мы хотели быть добровольцами на всех фронтах. Мы учились в аэроклубах, в парашютных кружках и мотошколах. Подпоясав гражданские пиджаки ремнями, мы уходили на стрельбище и до ряби в глазах ловили на прицел поясные мишени, словно били по настоящим фашистам. Мы равняли строй под новую песню:

Нас не тронешь — мы не тронем.  
А затронешь, спуску не дадим!

Мы знали, что врага надо бить на его территории и добывать победу малой кровью. Мы готовились к этой победе, и книжка «Как закалялась сталь» была для нас библией. Золотые трубы тревоги были вынуты из чехлов и ждали первого поцелуя горнистов.

Подошла и моя очередь. Семафоры поднимали руки перед нашими эшелонами, и девушки махали нам с откосов восторженно и тревожно. Мы ехали в армию. Мы обещали беречь родную землю, девушки обещали беречь любовь, совсем как в песне про «Катюшу». А дальнзоркие матери смахивали с ресниц набегавшие слезы. Они понимали своими материнскими сердцами, что война не за горами и от нее нельзя ждать ничего хорошего.

В нашей теплушке ехали старые знакомые: Миша Бубнов, начальник пожарной команды из города Суздаль; Венька Кузин, продавец воды с сиропом на углу Карла Маркса и Садовой; красавец Искандер Иноятов, студент химического института; скупщик подержанных часов и режиссер клуба промкооперации Колька Бляхман; могучий толстяк Ваня Федотов — потомственный сибирский охотник; инструктор физкультуры Автандил Чхеидзе и Порфиша Атюнов, только что окончивший десятилетку, ни разу не державший в своих руках бритву. Любопытный и верткий, маленький и остроносый, с воробьиным голосом, при упоминании женского имени он высовывал из-под чьего-нибудь локтя свою милую хитроватую

мордочку и говорил: «Чик — и нету!» — и скрывался. Что значило это восклицание, догадаться было трудно.

Серьезный человек Бубнов сидел у раскрытой двери теплушки, свесив свои длинные ноги, и вполголоса напевал:

Под ракитою зеленой  
Русский раненый лежал,  
Он к груди, штыком пронзенной,  
Крест свой медный прижимал.

Голос у Бубнова — невысокого, приятного тембра. Пел он выразительно, и мы задумчиво слушали его. Бубнов продолжал, не обращая на нас внимания. Он был занят чем-то своим. Он был уже женатым человеком и имел значок «Отличник пожарной охраны».

Кровь лилась из свежей раны  
На истоптанный песок,  
Где слетались птицы-враны,  
Чужа лакомый кусок.

И вороны, сидящие на телеграфных столбах, поворачивали вслед нашему эшелону головы и чистили клювами взъерошенные на ветру перья.

Вышла Маша на крылечко,  
Покачнулась слегка  
И узнала по колечку,  
Чья у ворона рука.

— Товарищ, не наводи тоску! — сказал Автандил Чхеидзе и повернулся на нарах, и нары скрипнули, как паром на привязи, и покачнулись. Бубнов умолк, продолжая сидеть у раскрытой двери. К нему подошел Порфиша Атюнов и, видимо, сказал: «Чик — и нету», потому что ребром ладони провел по горлу, этим жестом он сопровождал свою излюбленную фразу. Потом до нас донесся тоненький и высокий голосок Атюнова:

В путь-дорожку дальнюю  
Я тебя отправлю,  
Упадет на яблоню спелый цвет зари.

Мы подхватили:

Подари мне, сокол,  
На прощанье саблю,  
Вместе с вострой саблей пику подари!

— Подождите, ребята, — сказал Искандер Иноятов, — а с чем же он тогда воевать пойдет?

Мы задумались над этим явным несоответствием, и песня расстроилась.

Поздно вечером наш эшелон прибыл на станцию Колбасная. Было темно и сыро. Ноги по щиколотку вязли в густой, плотной грязи. Их трудно было вытаскивать. Сбившись кое-как в строй, прихватив сундучки и чемоданы, мы довольно-таки пестрой колонной, напоминающей колонну беженцев, направились в баню.

Мы раздевались донага и по очереди подходили к парикмахерам, среди которых уже успел оказаться, взяв напрокат у своей жены машинку для стрижки, Колька Бляхман. Он был беспощаден к нашим чубам и проборам. Они слетали с наших голов, как морская пена. Предбанник превращался в шерстобитню. Здесь можно было открывать производство войлока и валенок. Материала было достаточно. Мы становились похожими друг на друга круглыми, как арбузы, затылками.

После этой операции мы шли в парную, рыча от удовольствия, как стадо буйволов. Мы натирали друг другу свирешими мочалками спины до красного каления. Потом снова выходили в предбанник и, прежде чем получить обмундирование, вставали в очередь перед столиком, где лихой парень в белом халате смазывал нам какой-то противопаразитической жидкостью все волосатые места, не подверженные стрижке.

Здесь я и встретил Кукушкина. Мы расцеловались и похлопали друг друга по влажным спинам. Все тело Кукушкина было покрыто загаром цвета мореного дуба, и только стриженная голова была белой, как дыня. Мы быстро подобрали для себя обмундирование по росту.

Беда была только с Атюновым. Шинель на нем топорщилась мешком и доставала до щиколоток, рукава гимнастерки пришлось засучивать до локтей, ноги его болтались в голенищах, как песты в ступе.

После бани мы выстроились, получили по матрацу и наволочке, набили их сеном и отправились в казарму. Около часу ночи, после распределений и переклички, мы заснули.

Мы проснулись курсантами полковой школы. После зарядки и завтрака в длинном коридоре казармы начальник школы выстроил нас и сделал смотр. Он окинул взглядом весь строй своих будущих питомцев, с правого до левого фланга, с богатыря Чхеидзе до Порфиши Атюнова. Он подошел к Атюнову и скомандовал:

— Два шага вперед! Шагом марш!

Атюнов вышел. В строй кто-то хихикнул. Начальник



посмотрел вдоль строя, и снова воцарилась тишина. Он подозвал старшину и сказал, указав на Атюнова:

— Сшить все по мерке!

Через неделю Атюнов ходил как огурчик, маленький и ладный. Все на нем было пригнано, что называется, в аккурат.

Кукушкинская койка стояла рядом с моей. Но мы так уставали от занятий, что поговорить по душам не оставалось времени. Я не успевал расспросить его, где он пропал все это время, с нашей последней встречи.

Атюнов оказался не по росту жадным малым. Он уговорил командира взвода, чтобы его назначили первым номером пулеметного расчета. Стрельбище находилось километрах в четырех от казарм. Первый номер был обязан нести тело пулемета. Атюнову это было не под силу. На полдороге обязанности первого номера перешли к Чхейдзе. Быть вторым номером и таскать не менее тяжелый станок пулемета Атюнов тоже не мог. На этой должности его заменил Федотов. Атюнов стал подносчиком патронов. Но он не унывал. В свободное от занятий время он возился с гирями и занимался на турнике, подсакивая на него с табуретки. Он наращивал мускулы. И мы над ним не смеялись. Мы любили его. Мы его выбрали комсомольским секретарем полковой школы.

На этом собрании Атюнов регистрировал прибывающих комсомольцев.

К Атюнову подошел старшина и сказал:

— Добрый вечер!

— Здравствуйте!— ответил Атюнов.— Ваша фамилия?

— Добрый вечер,— повторил старшина.

Атюнов снова поздоровался и снова спросил фамилию. Этот диалог взаимной вежливости мог бы продолжаться без конца, но старшина догадался объяснить, что его фамилия Добрыйвечер.

В воскресный день мы с Кукушкиным надраили сапоги и подшили чистейшие подворотнички. Мы пошли в первый отпуск. Мы лихо переходили на строевой шаг перед командирами и козыряли. Мы сели на скамейку в скверике около вокзала, и я спросил Кукушкина, где он был.

— Сначала я поехал в Башкирию. Я поступил в изыскательскую партию. Мы бурили скважины около Ишимбая и искали нефть. Потом меня потянуло к теплу, и подался на Кавказ. Я поступил проходчиком на строи-

тельство Баксанской электростанции, под самым Эльбрусом. Мне нравилась эта работа, и зарабатывал я прилично. Но мне было тоскливо. Я думал о Тоне. Я не выдержал и написал ей. Но пока я ждал ее ответ, со мной случился один грех.

И Кукушкин рассказал о своем грехе.

В выходной день он взял в конюшне строительства лошадь, оседлал ее и поехал в горы. Он проехал ущельем вверх по течению Баксана, мутного и бешеного, переправился на правый берег и въехал на цветущее взгорье. Трава доходила до стремени, и в розовых чашечках диких мальв жужжали пчелы. Кукушкин ослабил подпругу и, разнуздав коня, пустил его пастись, а сам лег в траву и стал смотреть на высокие белые шапки Эльбруса, неподвижные облака и на орлов, парящих под облаками. Ему не хватало только Тони. И он стал думать о ней. Потом нарвал большой букет диких мальв и, вскочив в седло, шагом поехал обратно.

За виадуком около третьего портала у будки прораба он остановил коня и привязал его к бревнам. На бревнах сидела рыжеволосая девушка в накинутой на плечи пестрой шали. Она была одна. Больше никого не было. Кукушкин подсел к ней и положил ей на колени мальвы. Девушка молча улыбнулась и взглянула на него пристально-пристально.

— А дальше пошло какое-то наваждение,— сказал Кукушкин.

Рядом с моим локтем появилась голова Порфиши. Порфиша сказал: «Чик — и нету!» — и скрылся.

— Чик — и нету! — повторил задумчиво Кукушкин и, помолчав, продолжал: — Ну хоть бы она сказала что-нибудь. Нет, она не говорила ни слова. Она смотрела своими большими глазами то мне в глаза, то на мальвы, и ресницы ее вздрагивали, и в темных зрачках мелькали золотые искорки, совсем как у Тони. И я забыл про все на свете. Я целовал ее в губы и совсем потерял память. Она молчала и прижималась ко мне, и золотых искорок в ее расширенных зрачках стало несчетное множество. Она не сопротивлялась, и рыжие волосы щекотали мое лицо и пахли мальвами и медом. И я встал как ошарашенный с примятой травой и сел на коня, и она улыбнулась мне вслед и долго махала пестрой шалью и молчала.

Я охотно простил этот грех Кукушкину потому, что и меня тоже научила милым премудростям любви чужая

женщина, но это особая статья, и я молчу и закрываю глаза, чтобы ее увидеть.

— В этот же вечер,— продолжал Кукушкин,— я получил письмо от Тони. Мы тогда поторопились с тобой, сочинитель. Мы с тобой видели только поцелуй. Но за поцелуем последовала пощечина. Я верил Тоне, потому что она опять называла меня «золотко». Это окончательно выбило меня из колеи. Я взял расчет и уехал на Черное море. В Керчи я поступил на рыбацкий катер «Орлик» и ловил хитрую рыбу кефаль. Это очень вкусная рыба, попробуй, если попадется. Мне нравилось море. Теплая волна, ветер и солнце отогрели мою душу. Я опять написал Тоне и, получив ответ, вернулся в Иваново.

Приказы приходят быстро и неожиданно, и не надо знать, как они приходят, их надо выполнять. Полковая наша школа была расформирована. Полк получил боевой приказ и снимался с места. Наше отделение перевели в батарею, и мы стали артиллеристами. В красном уголке мы принимали присягу. Мы подходили к портрету Ленина под развернутым флагом полка и, как стихи, читали суровую и торжественную клятву.

«Если же по злему умыслу,— читал Кукушкин,— я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся...»— и глаза его горели.

Мы грузились в эшелон. На плацу за казармами снесли в одну кучу чемоданы. Кукушкин бросил туда же свой сундучок, взяв себе на память фотографию «Варяга». Порфиша Атюнов плеснул бензину и поджег. Наши чемоданы, как отслужившие судьбы, вспыхнули разом. Начиналась общая для всех судьба, неделимая и неизвестная.

Кони ржали в теплушках и били копытами о настилы. Кони чуяли тревогу.

## Глава двадцатая, С ПЕРВОЙ СМЕРТЬЮ НА ВОЙНЕ

Нет правил без исключения, поэтому в пословице «В солдатском брюхе долото спниет» оказалась своя прореха, это может подтвердить вся наша батарея. Поваром

батареи был назначен Ваня Федотов. В армии нет слова «не хочу», поэтому Федотов, несмотря на то что ему хотелось быть наводчиком, надел белый колпак и взял в руки поварешку.

Федотов был мастером своего дела. Он готовил борщ и кашу так, что котелки после обеда мыть не требовалось.

Командир батареи капитан Милай, командир взвода разведки лейтенант Пушков и старшина батареи Добрый-вечер ехали вместе с нами, и мы по пути изучали материальную часть, корпели над расчетами стрельб с закрытых позиций и следили за стрелкой буссоли. Вся премудрая суть артиллерийской науки постигалась нами на колесах, под хриплые гудки паровозов, под перестук копыт застоявшихся в теплушках коней.

В армии нет лошадей. Нет кобыл и жеребцов — есть только кони.

«Конь» звучит бодро и романтично.

«Без бодрости и романтики не бывает героя, без героя нет подвига и нет победы!» Этим словам нашего политрука Щеглова-Щеголихина мы поверили сразу и навсегда.

У Кукушкина был конь Пирамида. У меня был конь Министр. Их закрепили за нами перед отправкой на фронт. Мы влюбились в своих коней преданно и безнадежно. Их станки в конюшне были рядом. В теплушке они тоже были соседями. Вороная Пирамида и рыжий с белой челкой Министр стали нашей заботой и нашей радостью.

Грешить армейским коням запрещалось категорически. В армии конь, превратившийся в кобылу, отбраковывается немедленно, а боец, за которым закреплен проштрафившийся конь, отправляется на гауптвахту.

Кукушкинская Пирамида явно превращалась из коня в кобылу. Ее живот стал походить на бочку, и затягивать на нем подпруги было опасно. Пирамиду не успели вовремя отбраковать, и она досталась Кукушкину.

Мы каждый день драили своих любимцев щетками, так что спины наши становились мокрыми, а белая перчатка командира батареи Милая, после того как он рукой проводил против шерсти по крупам наших коней, оставалась абсолютно чистой. Мы скармливали им припрятанный от суточной порции хлеб и сахар, и они привязывались к нам и по-своему любили нас.

Кукушкин считал виновником позора своей Пирамиды своего Министра. Он говорил мне:

— Если Пирамида ожеребится и меня посадят на губу, ты пойдешь туда отсиживать вместе со мной.

Как будто я был тоже виноват во всей этой истории.

Когда мы разгрузились в Ленинграде и тронулись бесконечным потоком по темным улицам, Кукушкину пришлось вести Пирамиду в поводу, а седло положить на хозяйственную повозку Добрыйвечера. Добрыйвечер пытался даже пристроить Пирамиду в Ленинграде, но это ему не удалось. Кукушкину было жаль своего злополучного коня, превратившегося в кобылу, и он вел его по-нурс, но не злился на него.

— Со всяким человеком грех бывает, а с конем и по-давно,— сказал он, пожимая плечами, Щеглову-Щеголихину.

Наш политрук всем своим видом старался оправдать свою отчаянно красивую фамилию. Он был высок ростом и крепок в кости. Шинель перетянута португееми, каракулевая шапка лихо заломлена набок. Шпоры на его хромовых сапогах светились и позвякивали. За голенище правого сапога был засунут карандаш. Икры его были тугими, как футбольный мяч, и голенища облегали их плотно, как лекало. Наш политрук сидел на своем Жаре, как Медный всадник, торжественно и свободно. Он не носил полушубка и валенок, не надевал ватных штанов и фуфайки. Он как бы говорил нам: «Смотрите, мне не холодно».

А мороз стоял такой, что из «мерзавчиков» вылетали пробки. «Мерзавчиками» назывались стограммовые бутылочки водки, которые нам выдавал Добрыйвечер для внутреннего подогрева.

Мы прошли колонной через Белоостров и в обгорелом и запорошенном лесу остановились на первый привал. Мы вырыли землянки. Из пустых бочек наделали печей и развели огонь. Мы подбрасывали в костры дополнительные заряды пороха в шелковых мешочках и грелись. Мы протирали снаряды и укладывали их в снарядные ящики. Шерсть на наших конях отросла и покрылась инеем. Над нами пролетали «ястребки», оставляя в высоком небе белые полосы. Где-то за лесом глухо рокотала артиллерия. Впереди был бой. Для боя человеку нужна сила. Для силы требуется обед.

У нас был обеденный час, и Федотов кормил свою батарею, разливая у походной кухни по объемистым котелкам наваристый борщ. Очередь перед кухней таяла и под-

ходила к концу. Неожиданно для нас Федотов захлопнул крышку бака и положил на нее поварешку, потом отер руки о фартук и слез с подножки. Он раздвинул очередь и направился к сломанной сосне. Мы повернули головы. У сломанной сосны стоял, уже успевший опорожнить котелок, Венька Кузин и справлял малую нужду на убитого белофинна. У Федотова был крепкий кулак и хватка боксера. Венька отделился от земли, и его тело, описав дугу, шлепнулось, как мешок, в снег.

— Так ненависть не выражают,— сказал Федотов и снова стал разливать борщ.

Обедавший вместе с нами Щеглов-Щеголихин молча посмотрел на это событие и кивнул головой в знак одобрения. Он не любил рукоприкладства.

Расседланные Пирамида и Министр стояли рядом, привязанные к стволу расщепленной ели, с торбами на мордах, и жевали овес. Пирамида заржала. Министр перестал жевать и повернулся к Пирамиде. Кукушкин оставил борщ и направился к коням. Он наломал лапнику и накидал его на снег. Пирамида легла. Мы подошли к Пирамиде.

— Что вы, не видели, как конь рожает?— сказал Кукушкин. Он так и сказал: «конь рожает». И хотя многие из нас не видели, как рождает конь, мы разошлись.

Через полчаса появился жеребенок. Он был рыжим, с белой лысинкой на лбу, и Министр посмотрел на него, как в зеркало. Жеребенок дрожал мелкой дрожью, пытаясь захватить губами вымя матери. Пирамида не могла облизать его сразу, и шерсть на жеребенке смерзлась.

Кукушкин растер жеребенка водкой и побежал за попойкой к Добрыивечеру.

Кукушкина остановил капитан Милай. Милай знал толк в конях. Он был настоящим кавалеристом. Он понимал, что нет на свете верности выше верности коня. Поэтому он сказал Кукушкину коротко:

— Не мучай жеребенка!

Кукушкин взял жеребенка на руки и пошел подальше в лес, подальше от наших глаз и глаз Пирамиды.

Из густого ельника раздался сухой щелчок выстрела. Пирамида заржала тонко и пронзительно и беспомощно натянула повод, сиюсь оторваться от дерева.

Вечером Кукушкин отправил треугольное письмо Тонне. В нем он рассказал о первой смерти на войне.

## Глава двадцать первая, ХРАБРЕЙШИЙ ПОГИБАЕТ ПЕРВЫМ

Молодость не нуждается в снотворном.

Хорошо спится с устатку. Особенно жаростно спится на войне. Приятно спать на кровати под хрустящей прохладной простыней. Еще лучше спать на душистом сене под самой подволокой сарая, но слаще всего спится под брюхом коня.

Этот метод мы переняли у Кукушкина. Следуя его примеру, мы рубили лапник, настилали его на снег и клали коней. Потник из-под седла служит нам матрацем, полушубки одеялами, теплый живот коня — нагретой стенкой лежанки.

Но спать нам приходилось только урывками. Наш полк ввели в бой, и мы застряли в глубоком болотном снегу перед линией укрепления. Застряли мы основательно и вторую неделю, коченея в снегу, не могли тронуться с места.

Хорошо было нашим огневицам. Батарея была с закрытых позиций, и туда залетали только редкие случайные снаряды. Огневики устроили себе землянки и могли в перерывах между залпами греться сколько душе угодно. В федотовской кухне был всегда горячий борщ и кипяток.

Взвод разведки с капитаном Милаем или лейтенантом Пушковым бесценно дежурил на передке. Наш наблюдательный пункт был устроен в расщелине между тремя огромными валунами. Мы туда пробирались ночью ползком по обледенелой канаве. Через щель между валунами нам открывался отличный сектор наблюдения. Нас трудно было достать минами, а пулеметный и винтовочный огонь для нас был не опасен вовсе.

Прямо перед нами был дот с тремя амбразурами по фронту. Белофинны жили там в тепле и уюте, потому что из трубы над дотом всегда курился дымок. Дот контролировал всю открытую перед ним болотину, на которой застрял наш полк.

Все сугробы вокруг дота были перерыты снарядами нашей батареи и авиабомбами, а он стоял хоть бы что и огрызался короткими очередями пулеметов и скорострельных пушек.

Пять танков, высланных нам на помощь, отдымились черным дымом, торчали из снега, наполовину вмерзнув в болото, чудовищные, как гробы. В этих «гробах» посели-

лись наши снайперы, но они прямо-таки коченели там и мало что могли сделать, потому что белофинны не показывались наружу.

В газетах уже перестали печататься очерки бодрого сочинителя с неизменным окончанием «встретимся в Хельсинки».

Все больше наших однополчан, милых и добрых парней, вмерзало в ржавые подтеки болотного снега. Их белые полушубки припорошивал снег, их отросшие седые волосы шевелил ветер. Мы жили на кладбище своих друзей и не могли из него вырваться.

Мы бы совсем распустились и обросли щетиной и грязью, если бы не Порфиша Атюнов. Он очень хотел походить на нашего политрука Щеглова-Щеголихина. Он готов был даже сменить валенки на хромовые сапоги, но хромовых сапог не было, а то, что у нашего политрука хромовые сапоги, сшитые полковым сапожником Колей Зотовым, были на меховой подкладке, Атюнов не ведал, об этом знал только Кукушкин со слов самого Зотова. Знал, но не говорил. Он любил политрука не меньше, чем Порфиша, и не хотел выдавать эту маленькую его тайну.

У Порфиши была особая страсть к военной форме. Он ходил, как и все, в полушубке и в меховой шапке, на которую была нахлобучена тяжелая каска. Кроме противогаза и карабина, Порфиша таскал на своих плечах бинокль, буссоль и полевую сумку, положенную ему как заместителю политрука. На его ремне были прикреплены связка гранат и кобура нагана. Каждое утро Порфиша, если он ночевал у огневигов, раздевался до пояса и натирал свое жилистое птичье тело снегом, потом чистил зубы и брился, хотя на его подбородке росло три волоса в четыре ряда. Он это делал для закалки. И правильно делал!

Мы с Кукушкиным, подражая Атюнову, тоже каждый день обтирались снегом, на сорокаградусном морозе, чистили зубы и скоблили подбородки, потом принимались за чистку своих коней, так что пар столбом валил от наших спин.

В это втянулась вся батарея и чувствовала себя бодро. Даже сын солнечного юга Автавдил Чхеидзе, подверженный простудам, выглядел богатырем и ходил в шапке с поднятыми ушами, выставляя на мороз обветренные, сирые от бритья щеки.

В этот день мы дежурили на передке вчетвером. Щеглов-Щеголихин был у нас за главного. Порфиша не отры-



вался от стереотрубы, а мы с Кукушкиным поочередно дежурили у телефона и передавали на батарею команды. Мы раз пять били по доту и переносили огонь в тыл белофиннов. Дот, как всегда, огрызался короткими очередями. Белофинны, видимо, догадывались о нахождении нашего наблюдательного пункта, но ничего нам сделать не могли. Милай выбрал его очень удачно.

В полдень к нам с термосом на спине приполз по канаве Искандер Иноятов. Из пробитого бачка вытекла вся жижа и замерзла на полушубке Иноятова. Нам досталась капуста с мясом, но они были горячими, и мы закусили основательно и плотно.

Мы лежали и блаженствовали. У белофиннов тоже был обед, и они молчали.

Наедине с тобою, брат,  
Хотел бы я побыть,  
На свете мало, говорят,  
Мне остается жить,—

грустно и тихо прочел Кукушкин.

— Не торопись на тот свет, там радости мало,— заметил Щеглов-Щеголихин, вскользь взглянув на Кукушкина. Он тоже измотался и осунулся.

Иноятов был впервые на нашем передке и плохо знал наши правила. На соседней сосне он заметил белку, напуганную выстрелом, и высунул свою любопытную голову. Кукушкин дернул его за полушубок. Дернул, но поздно. Иноятов, даже не вскрикнув, сполз в наше каменное ущелье, и из маленькой дырки на переносице показалась струйка крови.

Мы помрачнели. Иноятов перестал быть Иноятовым. Он нам мешал. И мы вытащили его и положили на снег позади наблюдательного пункта. Мы вновь открыли огонь по доту. Мы дали залпов двадцать. Осколки от мерзлого бетона отскакивали как горох.

Кукушкин мельком взглянул на Иноятова и не узнал его. Точеное смуглое лицо одеревенело и стало непохожим на прежнее. Мороз делал мертвецов своими, и живые не могли узнать бывших товарищей. Кукушкина взяла злоба. И он припомнил школьную игру в малуевском лесу, как он подползал под снегом к редуту «зеленых» и стаскивал с холма Мишу Бубнова за лодыжки. Это была идея. Кукушкин высказал ее. Мы начали обсуждать, как лучше подобраться к доту и заткнуть связкой гранат эту проклятую трубу, чтобы она больше не дымилась.

— Это сделаю я!— сказал Атюнов.

Кукушкин заспорил.

— Ты очень длинен,— возразил Атюнов,— тебя заметят, а я маленький, мне легче.

— Пусть так и будет!— заключил Щеглов-Щеголихин.

Атюнов сбросил полушубок, отдал комсомольский билет Щеглову-Щеголихину, выбросил в снег смертельный медальон. Мы почему-то очень ненавидели эти латунные коробочки с нашими адресами. Мы их называли пропусками на тот свет, куда нам спешить вовсе не хотелось. Поэтому, наверно, Атюнов и выбросил его. Он засунул за пазуху наган, взял связку из четырех гранат и на кой-то дьявол прихватил бинокль. Зачем он был нужен ему там, под снегом, не знаю!

Этот бинокль — будь он трижды проклят!— и погубил Атюнова.

Порфише оставалось проползти под снегом не больше десяти метров. Проползи он их,— на наших бы глазах произошло чудо.

Футляр бинокля, сбившись на спину, взбурился и вылез наружу. И не успел Щеглов-Щеголихин передать через Кукушкина на батарею команду «огонь», как по снегу прошла пулеметная очередь, футляр перестал двигаться, и вокруг него по снегу расплылось красное пятно.

Мы сняли шапки.

Ночью к нашим валунам Федотов и Чхеидзе подтащили пушку. Милай решил бить по амбразурам прямой наводкой. Федотов во время стрельб всегда оставлял кухню на попечение помощника Кости Мякина, а сам шел в огневой взвод. Он был отличный наводчик. Федотов и Чхеидзе были здоровыми, как тяжеловозы, и, поставив пушку на лыжи, вдвоем приволокли ее к нам.

Всю ночь над обгорелым лесом вспыхивали ракеты и трассирующие пули уходили к звездам. На рассвете заухали корпусные пушки. Земля задрожала. Первый федотовский выстрел полоснул по амбразуре, оглушил нас и наполнил наше ущелье пороховым чадом. Рвалась сама земля. В ярких вспышках взрывов, в столбах снега и болотной грязи Кукушкин увидел страшное. Шагах в пятнадцати перед амбразурой дота стоял Атюнов. Очевидно, взрывом его подбросило и воткнуло окоченевшими ногами в снег. Он стоял, широко расставив ноги, приподняв над головой руку со связкой гранат. Голова его вполоборота была повернута к нам и рот

раскрыт. Как будто бы Атюнов кричал: «За мной, ребята!»

И ребята пошли. Казалось, мертвые, выдираясь из проледевшегося снега, вставали и бежали вперед. Бежал и сам Кукушкин, путаясь в проволоке и перескакивая через траншеи. Бежал и на ходу целился в мышиную спину убегающего лыжника. Он не слышал выстрела. Он увидел, что лыжник упал.

Наступила тишина, и Кукушкин, отирая со лба пот, побрел обратно.

Атюнова и Иноятова похоронили прямо на наблюдательном пункте между валунов, едва разрыв мерзлую землю. Гранаты из руки Атюнова вытащить было нельзя. Мы положили его вместе с гранатами. Засыпали яму комьями мерзлой земли и привалили сверху камень. Кукушкин взял себе на память котелок Атюнова. Свой котелок он разрезал и на латунной пластинке ножом вырезал слова:

**ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ГЕРОИ  
АТЮНОВ И ИНОЯТОВ  
ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!  
ОНИ ПОГИБЛИ В БОЯХ ЗА РОДИНУ  
20 ЯНВАРЯ 1940 Г.**

Он приколотил пластинку к колышку, а колышек вбил в землю. Мы дали залп из своих карабинов и тронулись дальше.

Щеглов-Щеголихин перечеркнул крест-накрест комсомольский билет Атюнова, потом долго думал, что написать на билете. Он написал только одно слово: «выбыл» и положил билет к себе в полевую сумку. После первого боя в сумке политрука собралось двенадцать таких билетов.

**Глава двадцать вторая,  
ЧАСЫ ПРОДОЛЖАЮТ ИДТИ**

Васю Чуланова мы называли наркомом связи. Он был достоин этого звания. Почта работала бесперебойно. Наш полк неделю стоял на отдыхе. Мы отоспались и отъелись. Мы успели помыться в походной брезентовой бане, и заботливый Добрыйвечер выдал нам на смену по паре теплого белья.

Чуланов был грустен. Неврученные письма по случаю

вечного выбытия адресатов лежали на его отзывчивом сердце угрюмой тяжестью. Таких писем у него накопилось полсумки, и отсылать их обратно Вася не решался.

Десять писем, адресованных Атюнову, Чуланов отдал нам с Кукушкиным. Мы знали, что у Порфиши в живых была только мать, пожилая ткачиха, живущая на пенсии. Она писала на конвертах адрес нашей полевой почты неровным, угловатым почерком, старательно выводя каждую букву в отдельности.

Мы не стали казнить себя и отказались распечатывать конверты. Мы примерно знали, что там написано.

Все десять конвертов мы запечатали в один конверт, вложив туда свое маленькое послание.

«Дорогая мать, Евдокия Семеновна,— писали мы,— Ваш сын Порфиша не сможет больше никогда прочесть Ваших писем. Он погиб геройской смертью». И мы описали эту геройскую смерть, потому что были ее свидетелями.

Кукушкин продолжал считать себя виновником гибели Атюнова.

— Если бы пополз я,— говорил Кукушкин,— я бы не взял с собой этого проклятого бинокля — и все бы получилось иначе.

Мы сидим на долбленой пчелиной колоде.

Это та самая колода, которая спасла меня и чуть не погубила.

Я ее первым увидел на привале. Мне очень хотелось спать. И, чтобы меня не послали в наряд, я решил спрятаться в этой колоде. Я сказал об этом только Кукушкину и, не снимая полушубка, умудрился каким-то чудом влезть в колоду, а чтобы из колоды не выходило тепло, Кукушкин заткнул ее с обоих концов какой-то ветошью.

И я заснул, как король в своей королевской постели.

Первые сутки меня даже не хватились. На вторые сутки меня стал разыскивать Добрыйвечер. К этому времени я, наверное, и проснулся. Попытался я выбраться сам из своего логова — не тут-то было! И руки и ноги затекли, и я не мог двинуть даже мизинцем. Я пробовал кричать, но отчаялся и в этом,— никто не подходил. Вдруг мне стало казаться, что в проклятой колоде не хватает воздуха, и я стал задыхаться.

Я бы погиб в этой колоде, если бы не Кукушкин.

Ему не под силу было вытащить меня, и колоду пришлось расщепить топором надвое. Я не мог встать на ноги, и Кукушкин целый час расхаживал меня до тех

пор, пока я сам начал двигать окаменевшими конечностями.

— Ты накормил Министра?— спросил я, очухавшись.

— Министр съел твою порцию. Идем на кухню.

В это время к нам и подошел Вася Чуланов. Он заставил Кукушкина сплясать и вручил ему письмо. Кукушкин расплылся в улыбке. Видимо, его опять называли «золотко» или еще как-нибудь, уж я не знаю.

Затем подошел Витя Чухин, мы и его заставили сплясать, потому что ему тоже было письмо.

А теперь сидим и в сердцах ругаем себя за опрометчивость, за эту глупую привычку заставлять человека плясать перед письмом, которое ему адресовано, не зная, что в этом письме может быть самое горькое горе.

Мама прислала Вите Чухину, разведчику нашей батареи, длинное письмо. Она очень любила своего сына и верила, что из него выйдет художник. Художником Витя не успел стать, но зато разведчик из него получился отличный.

И зачем только Витина мама написала в своем длинном письме о том, что Витина подружка, лаборантка свердловской обсерватории Шура Польшова, взяла да и вышла замуж за какого-то научного работника обсерватории. Надоело, видимо, этому научному работнику глядеть в телескоп на туманность Андромеды, и он заглянул в добрые глаза Шуры Польшовой. Заглянул да и не оторвался. А та взяла да и растаяла перед этим взглядом и забыла про нашего Витю Чухина, геройского разведчика.

— Вечно у этих девчонок все шиворот-навыворот получается,— грустно говорит Кукушкин.

Мы, как можем, утешаем Витю Чухина.

Кукушкин предлагает ему даже трофейный парабеллум, снятый им с убитого лыжника. Витя отказывается и идет от нас, еле передвигая ноги, сутулый и постаревший.

В сумерках, получив боевое задание, полк снялся с места, и ветер замел колючим снегом черные кострища.

И снова мы грелись под животами коней, брились, поминая Порфишу Атюнова, каждое утро, коченели меж валунами на наблюдательных пунктах и хоронили своих однополчан, выдалбливая могилы в промерзлой земле, приколачивали к деревянным столбикам латунные пятиконечные звезды, вырезанные из котелков, и выковыривали ножами на латунных пластинках нехитрые надписи

вечной скорби и славы. Мы шли дальше по снегам и болотам через низкий сосняк и валуны, по колючему мерзлomu вереску, красноватому, как застывшая кровь.

Впереди дымил Выборг. Багровое солнце боя садилось в черную тучу пожара. Красноватые отсветы пламени ложились на изрытый, перемешанный с землею снег. Колючая поземка заметала убитых.

Наш наблюдательный пункт был снова на передке, между трех огромных, обледенелых, как айсберги, валунов. Справа от нас — кирпичный завод, слева — пивоваренный. Прямо перед нашими валунами, окопавшись, лежала ваша пехота, шагах в пятнадцати от нас, не дальше.

Пробираясь от леса по ходу сообщения в свое укрытие, мы натаскали соломы и сена. Было мягко, но холодно.

Мы находились на наблюдательном пункте втроем: капитан Милай, Кукушкин и я. К нам приполз Миша Бубнов с термосом, мы поели наваристого федотовского борща. Стало теплее.

Кукушкин — в который раз — пристал как банный лист к Мише Бубнову. Ему, видите ли, очень захотелось поменяться с Бубновым часами. У Кукушкина были серебряные карманные часы, которые ему по знакомству достал Колька Бляхман, а Бубнов свои чугунные карманные часы переделал в наручные и носил их на левом запястье на одном ремешке с компасом.

— Не буду меняться, отстань! — сказал Миша, и Кукушкин понял, что решение на сей раз окончательное.

Бубнов забрал свой термос и пополз с наблюдательно-го. Капитан Милай прилег на колени Кукушкина. Я привик к окулярам стереотрубы. Было тихо. Только ветер мел жесткий снег, со свистом врываясь в наше укрытие.

Пронзительно противно завывла и ухнула первая мина. И пошло! По крайней мере, у них, наверное, сразу заработало не меньше двадцати минометов. Потом ударила артиллерия. Земля загудела, как колокол.

Милай, отстраняя меня, сам потянулся к окулярам. Приподнялся на локте и, даже не охнув, свалился на меня всей мертвой тяжестью. Я сразу понял, что он убит, потому что так тяжело наваливаться может только мертвый. По его лицу прошла судорога, и оно мгновенно пожелтело и осунулось, левый глаз закрылся, а правый неподвижным зрачком закатился за верхнее веко.

Я вызвал по телефону лейтенанта Пушкиова.

— Убит четвертый! — заорал я в трубку.

— Не прекращать наблюдения!— услышал я в ответ голос лейтенанта.

В это время, постепенно перенося огонь в глубь нашей обороны, белофинны пошли в наступление. Их хорошо было видно без стереотрубы. Они шли прямо на нас мелкими перебежками. И видно было по ответному огню, как мало осталось на передке нашей пехоты.

Мы открыли отсечный огонь всей батареей. Все шесть пушек, соревнуясь в скорости, ударили по линии наступления. Визг и грохот вместе с осколками и комьями мерзлой земли оглушил и засыпал наше ущелье.

— Огонь!— орал Кукушкин в трубку с такой силой, словно наша батарея была не за два километра, а, по крайней мере, в Москве и от батареи зависела жизнь и смерть вселенной.

Справа и слева ударили наши пулеметы, и мы перенесли огонь вглубь, за пивоваренный завод, где, по нашим расчетам, находилась их батарея. Мы выпустили туда снарядов двести. Батарея умолкла. Потом мы снова стали прочесывать передний край на все поле нашей видимости, справа налево и слева направо.

Мы не заметили, как в наше укрытие ввалились лейтенант Пушков и богатырь Чхеидзе.

И наступила тишина.

Чхеидзе взвалил окоченевшего Милая на спину и пополз в сумерки по ходу сообщения, и Кукушкин, сняв шапку, рукавом полушубка вытер потный лоб.

Ночь наступила сразу, звездная и тихая. Редкие ракеты скатывались, как слезы, с неба в мерзлую землю. От них было еще холоднее.

Лейтенант Пушков вызвал нам смену, и я уполз первым. Шагах в двадцати от наблюдательного пункта над ходом сообщения, вытянув голую руку, лежал убитый белофинн. Мы все знали, где он лежит, но всегда забывали об этом. Я тоже забыл, и убитый белофинн снова «вытер мне сопли». Я вздрогнул, выругался и пополз дальше. Я добрался до землянки огневинок и, не раздеваясь, плахой свалился на нары и заснул, как валун в зимнем поле.

Мне снилась какая-то чертовщина. Будто бы я попал в плен к каким-то африканским людоедам. Они отрубили мою голову и насадили ее на кол и, приплясывая, стали разделять мое тело, жарить его на костре, а голова моя в это время улыбалась и говорила: «Пожалуйста, кушайте, у меня очень хорошее мясо».

Когда сменили Кукушкина, он тоже пополз по ходу сообщения и тоже, как и я, ткнулся носом в руку убитого финна. Ткнулся и остановился. Была минута тишайшей тишины, какой-то провал в этом грохоте и визге, когда отчетливо слышен собственный пульс. Кукушкин застыл и услышал в этой тишине тиканье часов и вспотел от нахлынувшего страха. Будь это какой угодно другой звук, он бы не испугался, а тиканье маятника отдавалось в его душе как звук гибели миров и созвездий, и волна неземного холода вслед за волной жара прошла по телу и заставила забиться сердце часто-часто. Провал тишины длился, и Кукушкин падал в этот бездонный провал.

Но постепенно падение замедлилось, и он снова почувствовал себя на земле, и тиканье часов стало обыкновенным тиканьем, с которым можно было освоиться и что-то предпринять. Страх откатился. Мир вошел в норму.

Сначала Кукушкин подумал, что это подползают белофинны и хотят взять его, Кукушкина, как «языка», живьем.

Черта с два он им дастся!

Кукушкин сунул паган за отворот полушубка, на всякий случай вытащил из противогаза гранату и стал ждать. Часы продолжали тикать. Тогда он робко выглянул за бруствер.

Снежное изрытое поле, луна и тишина. И в этой тишине четкие удары маятника. Кукушкин огляделся и пополз на звук, готовый к любой неожиданности. Он полз от куста к кусту, от камня к камню, пока не почувствовал, что часы тикают где-то под его сердцем. Может быть, это мина с какой-то дьявольской машиной, но отступать было уже нельзя. Будь что будет! И Кукушкин ковырнул снег и вытащил белую руку, опоясанную в запястье аккуратным ремешком. На ремешке были часы и компас.

Теперь уже не надо было просить Мишу Бубнова обменяться часами. Кукушкин осторожно расстегнул ремешок, спрятал часы и компас в карман гимнастерки, а руку Бубнова положил около куста в снег и навалил на нее камень, потом встал в полный рост и пошел к батарее.

Над передним краем стояла тишина, редкие трассирующие пули уходили беззвучно к зеленой луне.

Я не слышал, как Кукушкин лег со мной рядом на нары.



## Глава двадцать третья, АНГЕЛЫ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

— Подъем!

Сквозь сон мы различили голос Доброговечера.

— Подъем! Война кончилась! — повторял Добрыйвечер, стаскивая с нас полушубки, и столько в его голосе было жизни и радости, что мы сразу поверили, что он говорит правду, что война в самом деле окончена. Мы сели на нары и стали протирать глаза. Мы вылезли наружу и увидели белый тишайший лес, припорошенный густым чистейшим снегом, и в этом снегу горело и дробилось ослепительное доброе солнце.

Мы умылись снегом, раздевшись до пояса, почистили зубы и побрились.

Мы задали корму нашим коням и пошли сами на кухню к Федотову, и Добрыйвечер по щедрости своей старшинской души дал нам к обеду четыре «мерзавчика». Снег припорошил исковерканную, обезображенную землю, и даже расщепленные сосны, покрытые шапками снега, не выглядели так страшно. Мы чувствовали себя отлично. Еще бы! Радость, как снег, прикрыла все наши печали и горести. Да что там говорить! Любой солдат, уцелевший после войны, думает, что эта война была последней на земле, что люди никогда больше не ввяжутся в эту отвратительную историю.

Так думали и мы. Мы не говорили об этом ощущении вслух. Мы просто жили этим ощущением, и радость цела в наших душах, перекрывая все остальные, свойственные человеку, чувства.

В стороне от огневой позиции, где стояли свезенные в ряд, уже зачехленные пушки, разведчики развели костер и расселись вокруг веселого огня. Огонь можно было разводить теперь какой угодно, и мы не жалели дров. Они трещали как пулеметные очереди. Приятно пахло смолой, и тепло внутреннего подогрева от выпитых «мерзавчиков», мешаясь с теплом костра, отогревало и успокаивало нас. Мы сидели молча, каждый по-своему переживая свою радость.

— Батарея! Строиться в баню!

Это очень кстати придумал и позаботился о нас Добрыйвечер. Можно было смыть с себя полуторамесячный запах пота и пороха, морозной дрожи и окопной грязи.

Мы отошли от костра и стали строиться. Автавил

Чхеидзе стоял на правом фланге, как телеграфный столб с ручкой, за ним Федотов. За Федотовым место Миши Бубнова занял Кукушкин. Равняясь, мы увидели прежде всего тех, кого не хватает на батарее. Потом прямо перед строем мы заметили свежий холм земли и деревянный столбик с латунной звездой. Около холмика на валунах, сняв шапки, сидели Пушкин и Щеглов-Щеголихин. Красавец Щеглов-Щеголихин отсутствующим взглядом глядел на свои сапоги и зеленой сосновой веточкой сбивал с них примерзшие комья глины.

Мы вспомнили своего Милая, и нам всем стало скучно, как Щеглову-Щеголихину.

В это время костер, от которого мы только что отошли, взорвался. Метровые горящие поленья, как перышки, разлетелись в разные стороны. Горько запахло толом. Костер был разведен на mine.

— Мины взрываются после войны, — сказал Кукушкин.

Я тогда не обратил внимания на всю глубину сказанного Кукушкиным.

Мы все как-то скисли. Добрыйвечер по пути в баню не требовал от нас песни.

Он все понимал.

В предбаннике, застланном лапником, мы сбрасывали с себя все и отдавали обмундирование в дезинфекцию, а документы — Добрымвечеру. Все мы были белыми, как бумага, только шея, лица и кисти рук, освистанные ветром и опаленные морозом, краснели, как вареная свекла.

Колька Бляхман со своими подручными опять устроил настоящую шерстобитню. Чубы носить нам не полагалось.

— Усы — мое личное дело, их трогать не можешь! — басил Автандил Чхеидзе.

— Я сверхсрочник, мне волосы положены!..

Но Бляхман был беспощаден. Чуб он оставлял только на своей голове. Умел устраиваться Бляхман!

Мы шли в баню, как грешники входят в рай. С благоговением и трепетом вставали под струю горячего душа и, замирая от восторга и домашнего тепла, натирали свои тела мочалками. Это было неслыханное блаженство.

Чхеидзе и Федотов шпарили друг друга по спинам сосновыми вениками, потому что березовых нам никто не припас. Спины друзей от сосновых веников были часно-сизые, но они продолжали усердствовать.

Мы выкатывались из бани в раздевалку, где орудовал Добрыйвечер с чистым бельем и прожаренным обмундированием, бодрые и свежие.

— У тебя есть выпить? — спросил Кукушкин.

— Пойдем, — ответил я.

Я знал, что в пивоваренный завод, который стоял на нейтральной полосе, с котелками и термосами за пивом ползали по своей доброй воле, не спрашиваясь командиров, наши ребята. Ползали туда за этим же самым и финны, но стычек около пивных чанов не было. Вот мы и пошли туда с Кукушкиным — завязать свое горе веревочкой.

— Куда вы, орлы? — спросил нас Щеглов-Щеголихин.

— Руку Бубнова похоронить, — ответил Кукушкин. И Щеглов-Щеголихин отправился с нами.

Снег, выпавший с утра, прикрыл все безобразие на земле, которое натворили люди. Мы шли, ступая след в след. Мы прошли мимо повозки похоронной команды. На повозке по вытянутой руке я узнал того самого финна, на которого мы всегда натыкались в траншее. Я оглядел его, как старого знакомого.

Кукушкин подвел нас к камню и отвалил его в сторону. Мы долго по очереди плоским кинжальным штыком ковыряли мерзлую землю, пока рука Бубнова не убралась в ямку. Мы засыпали ее, но столбика не поставили, потому что сам Бубнов, по утверждению полкового врача, ангела нашего здоровья, Яши Гибеля, будет жить и здравствовать, а живым памятники не ставят.

Щеглов-Щеголихин знал все и о пивоваренном заводе. Скрывать нам от него было нечего, и мы пригласили его туда. У него на душе, по всей видимости, тоже было мутно.

Мы вошли под деревянные своды завода и взобрались по лесенке на крышу деревянного чана. Мы увидали внизу, в коричневом сусле, четыре валяных сапога русской катки и два кожаных сапога финской работы. Все они высывались из коричневого, пахнущего сивухой, сусла каблуками вверх.

Щеглов-Щеголихин снял свою каракулевую шапку. Мы тоже сняли шапки.

Было на земле горе больше нашего горя. Значит, нам еще стоило жить, хотя бы ради того, чтобы этого горя было меньше.

В другие чаны мы не стали заглядывать.

## Глава двадцать четвертая, КАК ОТПРАВИТЬСЯ НА «ГУБУ»

Министру приятно. Он плавно изгибает спину под легким нажимом щетки и косит на меня глазом. Министр блестит как лаковый. Он вылинял и отъелся. Рядом со мной чистит свою Пирамиду Кукушкин. Ему куда труднее, чем мне. Пирамида вороной масти, а у вороных, хоть ты расшибись в лепешку, всегда в шерсти остается перхоть. Мы встали сегодня в пять часов утра, растопили «титан» и горячей водой с мылом по три раза промыли своих коней. Теперь они подсохли, и мы наводим щетками окончательный блеск.

Мы это делаем для того, чтобы наш новый командир батареи, лихой кавалерист капитан Червяков, на утренней выводке провел рукой в белой перчатке по крупам наших коней и, не обнаружив ни одной пылинки, отпустил нас в отпуск.

В отпуск нам необходимо до зарезу. Нам надо проведать в госпитале Мишу Бубнова. Потому мы и встали в пять утра и стараемся изо всех сил.

Стоим мы сейчас в казарме на улице Салтыкова-Щедрина. Мы спим в тепле и на нарах. У нас есть, кроме шинелей, наволочки, набитые соломой. Наши кони стоят в станках на конюшне.

К окнам нашей казармы, кажется, со всего Ленинграда с колясками и без колясок сходятся все домработницы и няньки. Мы разговариваем знаками через стекло или объясняемся через форточки. Их так много толпится у наших окон, что обыкновенным прохожим на тротуаре не остается места, и они идут по мостовой.

Мы каждый день всей батареей выезжаем по Московскому шоссе за город на вольтижировку. Все мы ходим в новом обмундировании, в яловых сапогах и в фуражках с черными околышами. По уставу нам положены, как и пехоте, красные околыши, но мы всей батареей, как по уговору, красные заменили черными, потому что мы есть артиллеристы на конной тяге.

Мы ходим такими красивыми потому, что наш полк теперь входит в состав Восьмой особой бригады. Бригаде поручено нести службу за границей, в Финляндии, на полуострове Ханко, судя по карте, у черта на куличках от Ленинграда. Два батальона уже отправлены туда транспортными самолетами, а наша батарея дожидается

своей очереди. Нас отправят пароходом, потому что коней на самолет не погрузишь.

Когда мы строим выезжаем из ворот во главе с нашим новым командиром капитаном Червяковым, няньки и домработницы не дают нам проезда. Наш капитан, несмотря на то что он заикается, нравиться всей батарее. Он сидит в седле чуть-чуть боком, правит только одними шенкелями, и его вороной, в белых чулках Месяц так и играет под ним. Всю дорогу, пока мы едем за город на пустырь, на всех тротуарах люди останавливаются и, как нам кажется, любят нас. Нам это очень нравится.

Больше всего нам не нравится команда: «Опустить стремя!» Хотя мы и считаем себя опытными артиллеристами на конной тяге, шлепать задом по твердой луке седла, не опираясь о стремя, очень больно. Брюки скатываются в складки, и этими складками ноги растирает в кровь. И тем не менее мы каждый раз из казармы выезжаем настоящими орлами и гарцуем перед няньками и домработницами, как джигиты. Это и есть, наверное, тщеславие. Но что поделаешь, мы, как и все люди, имеем свои слабости.

Кукушкин проверяет моего Министра и говорит:

— Отлично!

Я проверяю кукушкинскую Пирамиду и, обнаружив перхоть в хвосте и гриве, говорю:

— Беда!

Мы снова приносим четыре ведра теплой воды и намыливаем Пирамиде хвост и гриву.

Мы так и оставляем своих коней у коновязи просохнуть на майском солнышке, сами идем в казарму и до подъема надраиваем пуговицы и шпоры, подшиваем новые подворотнички и чистим до адского блеска яловые сапоги гуталином.

После подъема по команде «строиться!» мы встаем первыми на свои места, мы блестим, как наши кони, чистотой и выправкой; это сразу замечает Добрыйвечер и подмигивает нам понимающе.

После завтрака начинается выводка. Капитан Червяков в белых перчатках, как армейский дирижер, проводит по холкам Пирамиды и Министра, щупает хвосты и гривы, заглядывает под щиколотки, потом смотрит на нас и говорит Добрыйвечеру:

— Отпустить до восемнадцати ноль-ноль!

Мы выходим втроем. К нам присоединяется еще наш

повар и наводчик Ваня Федотов. У него под мышкой сверток. Он достал где-то целую индюшку и приготовил ее только одному ему известным способом для Миши Бубнова.

— С нее он сразу поправится, вот увидите,— говорит Федотов, и мы соглашаемся с ним.

Да, я позабыл сказать, что на груди Кукушкина и на моей груди на алых муаровых ленточках, позвякивая о пуговицы нагрудных карманов, серебрятся медали «За отвагу». К медалям нам с Кукушкиным выдали по триста рублей и по триста рублей нам всем дали как участникам войны. В общей сложности у нас у троих полторы тысячи рублей. Мы богачи, братцы!

Кукушкин предлагает что-нибудь купить в подарок Мише Бубнову. Федотов не соглашается, указывая на свой сверток:

— Хватит и этого.

И все-таки мы покупаем пол-литра коньяку «ОС». Мы сами сроду такого не пробовали.

Мы идем через Литейный мост, лихо козыряя встречным командирам. Мы приходим в приемную Военно-медицинской академии и облачаемся в белые халаты.

По длинным коридорам, пахнущим йодоформом и валерьянкой, молоденькая сестра провожает нас к палате Миши Бубнова. Мы ступаем на носки, стараясь не стучать подковками. Незаметно для Федотова мы с Кукушкиным расстегиваем халаты — так, чтобы сестра заметила наши медали.

В палате три койки. Солнце льется в высокое окно, и ветка зеленого тополя скребет по стеклу. Миша сидит на койке бледный, веснушчатый. Я никогда не видел у него столько веснушек. Он улыбается нам и единственной рукой пододвигает табуретки. У окна с гитарой в руках, в халате и подштанниках стоит парень. Лицо его забинтовано. Видны только губы и глаза. Третий лежит на койке, укрытый одеялом до подбородка. Мы знакомимся и садимся.

Федотов достает и разворачивает на тумбочке свою индюшку. Мы только что завтракали, но и у нас текут слюни, такой пошел аромат от федотовской птицы.

Кукушкин выставляет к индюшке бутылку коньяку «ОС». Забинтованный парень молча подходит к двери и щелкает ключом. Мы отказываемся пить.

— Мы это сделаем в другом месте,— говорит Федотов.

Забинтованный парень ловко выбивает пробку и наливает три стакана.

Первый стакан он подносит укрытому одеялом товарищу. Оказывается, у него нет кистей и ступней. Он пьет и закусывает куском индюшки из рук забинтованного парня. Потом забинтованный чокается с Бубновым, прячет остатки коньяку в тумбочку, берет гитару и, небрежно перебирая струны, запекает тихо и выразительно:

Меня вызывает особый отдел:  
«Почему ты с танком вместе не сгорел?» —  
«Очень извинюсь, — я им говорю, —  
В следующей атаке обязательно сгорю».

Бубнов и укрытый одеялом парень подтягивают припев:

Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!  
В танковой бригаде  
Не приходится тужить!

— А здорово у вас получается! — говорит Кукушкин.

— Спелись за два месяца, как на клиросе, — замечает забинтованный парень и подает лежащему еще кусок индюшки.

Ринулась в атаку ротушка моя.  
Прощай, родимая сторонушка моя!  
Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!  
В танковой бригаде  
Не приходится тужить!

А первая пуля попала танку в лоб,  
Механика-водителя загнала прямо в гроб.  
Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!  
В танковой бригаде  
Не приходится тужить!

Взволнованные, мы смотрели на забинтованного парня, а он продолжал:

А потом болванка попала в бензобак,  
Я выбрался из танка и сам не знаю как...  
Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!  
В танковой бригаде  
Не приходится тужить!

А наутро вызвали меня в особотдел:  
«Почему ты с танком вместе не сгорел?»  
«Вы мне извините, — я им говорю, —

В следующей атаке обязательно сторию.  
Любо, братцы, любо,  
Любо, братцы, жить!  
В танковой бригаде  
Не приходится тужить!

Забинтованный парень замолчал, аккуратно положил гитару на койку, открыл дверь и вышел в коридор.

У Бубнова, кроме ранения руки, оказывается, застрял осколок в легком, и ему делали еще одну операцию, уже в академии, но сейчас дело идет на выписку.

— Как это съешь, совсем поправишься,— говорит Федотов, указывая на индюшку, но от нее остались только бумага да кости.

Кукушкин незаметно кладет на тумбочку Бубнова часы и компас, соединенные одним ремешком. Миша замечает это и ласково отводит руку Кукушкина.

— Возьми себе,— говорит Бубнов,— на память возьми, мне теперь по азимуту ходить не придется, а мне отдай свои, они для меня теперь удобнее.

Мы прощаемся и уходим, прикрывая свои медали халатами.

— Братцы,— говорит Федотов,— это могло и с нами случиться.

И нам становится совсем тоскливо.

Когда Федотов в пивной на Литейном потребовал «пол-литра для пробы», не моргнув глазом выпил это из пивной кружки и сказал:

— Братцы, здесь можно оставаться,— мы посмотрели на Федотова восхищенно и согласились с ним. За нашим столом появились водка и пиво, и начался полный разворот.

Кончилось это дракой.

Оказывается, наш Федотов в пьяном виде лютой ненавистью ненавидел лысых. А за соседним столиком какая-то компания цирковых борцов справляла свою победу. Среди них и был один лысый здоровяк. Федотов долго к нему присматривался, потом, неожиданно для нас, выплеснул ему на лысину кружку пива.

Федотов стоял насмерть. Мы помогали ему. Чем бы кончилось это сражение и на чьей бы стороне был перевес, я не знаю.

Нас забрал комендантский патруль и повез на городскую «губу», на Садовую улицу. Там ниже младшего лейтенанта не принимали. Тогда нас повезли в казарму на



улицу Салтыкова-Щедрина. Мы встали пред ясные очи капитана Червякова.

— С-снять ре-емни и фуражки! — скомандовал капитан и добавил: — Ну-у, молодчики, по тррое суток «губы» хватит?!

В это время древний черт задиристости толкнул Кукушкина в ребро. Кукушкин решил подражать капитану и спросил:

— Это рреально?

— Десять суток! — сказал капитан, не заикаясь.

— Те-теперь реально,— подтвердил Федотов.

## Глава двадцать пятая, МИРНЫЕ ДНИ

Оставшиеся тысячу двести рублей мы собрали вместе и отослали тете Поле; это дало нам право считать себя еще не совсем безнадежно и окончательно сформировавшимися свиньями.

«Губу» в темном углу казармы мы строили для себя сами. Мы волынчили и строили этот закуток целую неделю. Мы отсидели на своей «губе» двое суток.

Настала очередь и нашей батарее грузиться на пароход и отправляться на полуостров Ханко. Мы были уверены, что строительство «губы» зачтется нам как отсидка. Иначе думал капитан Червяков, справедливый, как устав внутренней службы. Не успели мы сойти на берег и оглядеть незнакомую землю,— нас отправили на гарнизонную «губу», в какой-то каменный подвал с решетчатым окном, досиживать положенный срок.

Из окошечка была видна стена каменной кирхи, угол Дома флота, стеклянный павильончик с парфюмерными товарами, синее майское небо, серое море и кусок асфальтированной площади.

На девятый день за нами приехал Добройвечер. Он привез ремни и фуражки. Мы пошли к заливу и искупались, потом побрились в парикмахерской и, чистые, свежие, сели в вагон и отправились в Лашвик, на самую границу, где стояла наша батарея.

Капитан Червяков принял рапорт Доброговечера, оглядел нас с головы до ног и не стал отчитывать.

Палаточный городок сверкал чистотой и порядком. На задней линейке уже красовалась сколоченная из теса

каптерка Добрыйвечера. У коновязи расседланные кони жевали сено, в стороне дымила федотовская кухня.

И началась наша служба за границей.

Солдат должен уметь делать все. Об этом в уставе не написано, потому что подразумевается как само собой разумеющееся.

С утра мы чистили коней и немного занимались с лейтенантом Пушкиковым на полигоне. Потом прорубали на старой Петровской просеке границу, тянули проволоку в четыре кола и без конца ковыряли каменистую землю. Мы рыли противотанковые рвы, ходы сообщений, окопы полного профиля и ямы для блиндажей. Мы строили эти блиндажи, как дворцы, с запасом прочности лет на пятьдесят. Весь полуостров от Ханко до Лаппвика, все прилегающие к нему острова были изрыты нашими лопатами и кирками. Пилы и топоры звенели и стучали с утра до вечера. Из ошкуренных сосен мы делали над укрытиями накаты в пять бревен, засыпали это валунами и сверху маскировали дерном и мхом. Мы ходили переначканные в смоле и глине. Мы выматывались за день...

Лето пролетело мгновенно. Когда мы закончили строительство наблюдательного пункта, этого чуда солдатской архитектуры, с пятью отделениями и вентиляцией, настала пора строить конюшню и казарму.

И опять мы валили лес и из сырых бревен рубили срубы, распиливали бревна на доски, настилали полы и потолки, вставляли косяки и окна. Мы обживались. На полуострове, как во времена Петра, запахло русским духом. Капитан Червяков не давал нам передышки. И правильно делал! Без дела мы бы, наверно, сошли с ума от тоски и скуки.

К нам приезжало какое-то очень высокое начальство и осталось довольно нашей работой.

Казарма была готова. Мы переселились. В казарме было тепло от нагретых лежанок и приятно пахло хвойной сыростью. Казарме не хватало крыши. Начинались дожди. Ни шифера, ни железа завезти не успели. Крыть было нечем.

Выручил Кукушкин. Он припомнил, как драл дранку в клюкинской школе, и обратился к капитану Червякову; он даже показал чертеж этого нехитрого драночного устройства.

— Дделать! — коротко сказал капитан.

На запасных путях со старого вагона мы отодрали

рессору и в батарейной кузне отковали ножи, сделали сами станок с верстаком и водилом, напильники чурок из боковой сосны, и пошла дранка тонкая, слоистая.

На складе не было гвоздей. Но у нас был Витя Чухин. Он начал делать гвозди из колючей проволоки.

Сначала капитан Червяков разрешил нам покрыть дранкой уборную. Мы покрыли. Капитан приказал вылить на крышу десять ведер воды. Мы вылили. Капитан в это время стоял внутри и смотрел на крышу. Вышел он улыбаясь:

— Не течет! — и разрешил покрыть крышу конюшни, потом казармы.

Тут уж мы постарались. Мы покрыли крышу фигурным способом, выложив из подкрашенной суриком дранки две пятиконечные звезды и между ними лозунг: «Да здравствует Красная Армия!» После этого всех разведчиков батареи сделали инструкторами по дранке, и все крыши на полуострове светились белой дранкой и пахли смолой.

В воскресенье мы с Кукушкиным попросили у Добрышевца по запасному комплекту обмундирования и, прихватив щетки для чистки коней, пошли на залив постирать свои гимнастерки и брюки, измазанные в смоле и глине.

Море было серым и холодным. Ленивые волны, накатываясь на прибрежный песок, выбрасывали бесчисленное множество маленьких медуз. От этих медуз весь берег был склизким и красным. Мы перебрались на камни подалее в море и занялись стиркой. Смола, конечно, не отмывалась, но глина и соленые разводы от пота легко сходили с дубленой материи. Мы развесили свое обмундирование на кустах, сели на песок и закурили.

Ветер срывал последние листья с березок. Глухо шумели сосны, и высоко в небе печально кричали, словно ножом по сердцу резали, журавли.

Мне стало тоскливо, и я запел себе под нос:

Под ракитою зеленой...

— Не надо, — попросил Кукушкин. Видимо, ему припомнился Миша Бубнов. Мы помолчали, потом он затянул сам:

Меня после боя вызвали в отдел:  
«Почему ты с танком вместе не сгорел?»

Откуда-то появился Венька Кузин и попросил Кукушкина списать ему эту песню в записную книжку.

— Я не знаю ее до конца.

— А что помнишь, то и запиши.

И Кукушкин, чтобы поскорее отделаться, записал ему все, что запомнил от обгорелого танкиста в госпитале. Венька ушел довольный, и мы опять стали слушать ветер в соснах, ленивое холодное море и прощальных журавлей.

Мы не заметили, как к нам подошел Щеглов-Щеголихин. Дело в том, что Коля Зотов, полковой сапожник, по нашей просьбе шил сапоги со скрипом командиру полка, начальнику штаба майору Новикову и командиру комендантского взвода лейтенанту Липецкому. И он умел так делать этот скрип, что сапоги докладывали нам о приближении начальства километра за два. Поэтому нас начальство никогда враспloch не заставляло.

Щеглов-Щеголихин носил теперь две шпалы и был комиссаром полка. Зотов не шил ему сапоги со скрипом, потому что наш комиссар был всегда к месту.

Мы не успели встать и поприветствовать комиссара. Он молча рукой показал нам, чтобы мы садились, и сам присел рядом с нами.

Он вынул портсигар, и мы втроем задымили «Казбеком» и стали снова слушать холодное осеннее море и думать каждый о своем.

Бывают же удивительные люди на свете. Войдет такой человек в комнату, ничего не скажет, а всем сразу приятно делается. Таким был и Щеглов-Щеголихин. Мы просто посидели и покурили; когда он ушел, мы улыбнулись друг другу и забыли о том, что море холодное, сосны угрюмые, а журавлиные голоса печальные, как разлука.

Перед строем, на общем построении полка, всем разведчикам батареи объявили благодарность за дранку от командира бригады Симоняка, а Кукушкин особым приказом награждался месячным отпуском.

Конечно, нет ничего вернее солдатского братства — мужского, немногословного. Лейтенант Пушкив дал для отпуска Кукушкину свои ношенные шерстяные гимнастерку и брюки, старшина Добрыйвечер — хромовые сапоги, Витя Чухин — шинель, у него она была самая красивая в батарее. Федотов своим способом поджарил на дороге Кукушкину двух кур. Где он их достал, я не могу

представить, — на Ханко не было тогда ни одной курицы. Впрочем, Кукушкин сам мне когда-то говорил, что Федотов из трески может перепела сделать, и я ему верил.

Мы оглядели нашего Кукушкина со всех сторон и проводили до вокзала. Мы собрали ему денег на дорогу, чтобы он ни в чем не нуждался.

И все это доставляло нам такую радость, будто в отпуск ехал не Кукушкин, а мы сами.

Вернулся он раньше срока, похудевший и молчаливый.

— Все кончено, сочинитель! — сказал мне Кукушкин. — Тоня вышла замуж. Где мое старое барахло, я переоденусь...

Я хотел утешить друга его же словами: «Вечно у этих девчонок все шиворот-навыворот получается», — но промолчал.

Утром Кукушкина вызвал в штаб полка уполномоченный особого отдела старший политрук Загородный.

— Сядь за этот стол, — сказал старший политрук, — и напиши на этой бумаге все песни, какие ты поешь. Только все, понимаешь! — и вышел, заперев за собой дверь.

Кукушкин сел за стол и начал рисовать чертиков, потом нарисовал Министра и свой автопортрет, портрет Тони.

Через два часа дверь открылась.

— Написал? — спросил старший политрук.

Кукушкин пожал плечами.

— Я знаю очень много песен, если все их записать, в штабе бумаги не хватит.

— Нет, ты мне скажи, какую ересь ты поешь? — закричал старший политрук. В это время в комнату вошел Щеглов-Щеголихин.

— Что происходит?

— Посмотрите! — старший политрук подал батальонному комиссару письмо и листочек из записной книжки Веньки Кузина, на котором Кукушкин написал песню обгорелого танкиста. Этот листочек Кукушкин узнал сразу.

Очень хорошие слова надо произносить очень редко. От частого употребления они стираются и перестают быть хорошими. Поэтому очень хорошие слова Щеглов-Щеголихин говорил редко, причем, в его устах каждое слово было хорошим. Так нам казалось. Он прочел подлинную старшим политруком бумажку и вернул ее обратно.

— Первите ее, старший политрук, и отпустите парня. Очень вам советую.

Кукушкин ушел и, что ответил старший политрук батальонному комиссару, не слышал.

Он рассказал об этом мне и Федотову.

Перед сном, после вечерней поверки, мы собрались в курилке перед железной бочкой с водой, врытой в землю и обнесенной скамейками. Федотов сгреб левой рукой за грудки Веньку Кузина и приподнял его от земли. Ноги и руки у Веньки повисли, как ватные, и голова, моргая глазами, откинулась назад.

— Сука! — сквозь зубы процедил Федотов. — На своих доносить!

Он не стал бить Веньку, а, как паршивого мышонка, брезгливо бросил в бочку с окурками и вытер о штаны руки.

Венька даже не вскрикнул.

Через день его перевели из батареи в третью роту.

Мы сказали ребятам из третьей роты, кто он есть.

Через неделю он совсем исчез с полуострова.

## Глава двадцать шестая,

### СНАРЯД БЬЕТ ПО СТАРОЙ ИСТОРИИ

Между собой командира комендантского взвода лейтенанта Липецкого мы звали Снять Шапку, но об этом надо рассказать по порядку.

Майор Новиков — начальник штаба нашего полка — был классически лысым человеком. Его округлая голова была абсолютно гладкой — ни волоска, ни пушинки. Видимо, поэтому у нашего начальника штаба была какая-то неистребимая ненависть ко всему волосатому. Ради подражания начальнику лейтенант Липецкий через день брил свою курчавую голову в парикмахерской у Кольки Бляхмана, хотя ему шевелюра полагалась по уставу.

Любого встречного из нашего брата он ставил по команде «смирно» и приказывал резко и повелительно: — Снять шапку.

И если замечал хоть миллиметровые волосы, направлял в парикмахерскую и требовал доложить ему об исполнении приказа. У всех в полку головы были гладкие, как бильярдные шары. Машинка Кольки Бляхмана

с утра до обеда работала без перерыва. Липецкий был служака, что называется, «военная косточка», и преко-словить ему было бесполезно.

А нам очень уж хотелось отрастить чубы. Как-никак, по подсчетам Кукушкина и по прогнозам полкового писа-ря Половнева, нам оставалось служить до демобилизации каких-то пять месяцев.

Кукушкин даже в своей палатке сделал на можжеве-ловом шесте сто пятьдесят зарубок, и каждый вечер, по-сле проверки, разведчики торжественно превращали очеред-ную зарубку в крест.

Меня перевели работать в библиотеку. Я выдавал командирам уставы и наставления и рекомендовал им со-чинения Клаузевица, потому что у меня в библиотеке их было двадцать экземпляров.

Командирские жены записывались в очередь на при-ключенческие романы Хаггарта. В библиотеке каким-то чудом оказалось полное собрание сочинений этого писа-теля.

Кроме того, я писал историю полка со времен граж-данской войны до наших дней. Писать надо было сухо, по формуляру, а я растекался мыслию по древу, меня заносило в сторону, и получалось не так, я это и сам пони-мал. Впрочем, Щеглов-Щеголихин не торопил меня.

Жил я теперь при клубе с художником Борисом Ут-ковым, Колькой Бляхманом и киномехаником Васей Буб-новым, братом Миши, таким же веснушчатым и рыжим, как и он. Вася пришел к нам осенью с новым пополне-нием.

Боря Утков оформлял спектакли, писал лозунги и объ-явления и рисовал героев полка к сочиняемой мною исто-рии. Он это делал здорово.

Вася Бубнов крутил кинокартины и в клубе, и в ба-тальонах. Через него я узнал, что Миша снова работает начальником пожарной команды в своем Суздале.

Колька Бляхман с должностью парикмахера совмещал должность полкового режиссера, хотя в штабе полка та-кой должности не было. Но ведь в каждом законе есть своя прореха или отдушина.

И вот Кольке Бляхману мы завидовали самой свире-пой завистью. Дело в том, что при клубе париков не бы-ло, а Кольке, как главному режиссеру и исполнителю главных ролей, нужны были волосы. И они были остав-лены ему специальным и особым приказом командира

полка. Над бляхмановским чубом даже майор Новиков не был властен.

Бляхман поставил к Новому году «На бойком месте» Островского. Боря Утков сделал очень хорошие декорации. Спектакль шел как по маслу. Правда, была одна накладка.

Кукушкин все-таки еще раз решил попробовать свои актерские способности и записался в драмкружок. Ему не терпелось. Колька Бляхман дал ему одну из основных ролей — роль Непутевого. Гримером тоже был Бляхман. Непутевый — пьяница. Поэтому Кукушкину Бляхман, как он выражался, для полного колорита, сделал из гуммозы громадный сизый нос.

На премьере присутствовала вся батарея и командный состав полка. Кукушкин, что называется, вошел в роль и бушевал на сцене как Мамонт Дальский. Я никогда не знал за ним таких способностей перевоплощения. Зал следил за действием, не отрываясь и не комментируя. В самый разгар спектакля, когда Непутевый — Кукушкин стукнул кулаком по столу, у него от содрогания отлетел приклеенный нос и покатился по столу. Вся батарея узнала Кукушкина.

Но Кукушкин и на этот раз не растерялся. Дисциплина и самообладание — первый залог успеха у артиста. Он спокойно взял со стола отлетевший нос, положил его в карман и стал играть дальше, как ни в чем не бывало.

По залу прошла, как пишут в рецензиях, буря аплодисментов. Эта накладка была только на премьере. На повторных спектаклях и на выездных Кукушкин для прочности подвязывал прикладной нос ниткой за уши.

Была еще у Кольки Бляхмана мечта поставить «Гамлета».

— А где же ты найдешь костюмы? — возразил я.

— Сыграем во фраках, они у нас есть. Во фраке даже оригинальнее выйдет, — ответил Бляхман.

Наступила весна, буйная, быстрая. Перед Майскими праздниками весь полк переселился в палатки, но незримая тревога, смутная, как тень от облака, уже витала в воздухе. Некое предчувствие надвигающейся беды закрадывалось в наши души.

В нашей батарее служили два немца: Ольденборгер и Мюллер — из Республики немцев Поволжья. В начале мая их неожиданно для всех демобилизовали. Солдаты — народ понимающий, это событие растолковали на свой



лад: значит, надо ожидать что-то от немцев, не от наших, которых демобилизовали, а из гитлеровской Германии. И солдаты не ошиблись в своих предположениях.

Вскоре весь полк встал на исходные позиции на границе.

Наступали белые ночи. Мягкий свет белых ночей ложился на тихое плоское море, и оно белело, как парное молоко.

Легкий туман окутывал зеленеющие острова. Черемуха отцвела, но сирень бушевала, и соловьи щелкали даже днем.

Библиотека блестела стеклянными верандами и утопала в одуряющем дыму лиловой сирени. Запах стоял такой, что спать было просто невозможно. Я сидел по ночам без огня и переписывал историю полка от гражданской войны до наших дней.

Иногда по дороге с наблюдательного во второй эшелон ко мне забегал Кукушкин, и мы обменивались новостями.

Колька Блякман забрал у меня всего Шекспира в подарочном издании Вольфа и читал мне по ночам наизусть «Гамлета». У Кольки был немного хрипловатый, я бы сказал, лающий голос, но он был одержим мечтой сыграть Гамлета, и противоречить ему было напрасно.

Боря Утков, этот здоровяк с круглым лицом, с огромными белками добрейших глаз, с нежнейшим румянцем во всю щеку, лазил по чердакам финских домиков и отыскивал во всяком старом хламе репродукции с картин Сезанна и Матисса и готовил в клубе выставку своих этюдов.

Вася Бубнов пропадал с передвижкой в батальонах.

Когда мы собирались втроем в нашей клубной камерке, Колька любил читать Киплинга.

Там, где дымное лихо войны прошло,  
Где усталая дремлет земля,  
Я исправлю земле причиненное зло,  
Семенами засею поля.

Колька осенью собирался в театральный институт, Боря — в Академию художеств.

И все-таки мы чуяли что-то неладное, каждый по-своему, и не говорили об этом.

Библиотека стояла на скале и виднелась издали. Первый снаряд прошел деревянные стены и разорвался

сзади, ударившись о гранитную скалу. Он разбросал сочинения Клаузевица и недописанную историю нашего полка.

Это было на пятый день после объявления войны.

Началась другая история.

Сирень приторно запахла тротилом и завяла, в обиду на то, что ее никто не наломал и не подарил девушкам.

По приказу Щеглова-Щеголихина я роздал книги по батальонам. Сочинения Хаггарта я отдал в батарею. Меня откомандировали в редакцию. Вскоре туда пришел и Боря Утков.

Колька Бляхман путешествовал по всем ротам. Он декламировал Маяковского, передразнивал Гитлера и Геббельса и пел частушки:

Береги дрова, товарищ,  
Без огня борща не сварить!

Вася Бубнов продолжал показывать в батальонах «Большой вальс». Других картин на полуострове не было.

Командирских жен и детей эвакуировали в Ленинград. В море их бомбили. Никто из командиров не знал о судьбе своих близких.

Капитан Червяков из можжевелевого шеста нашей палатки, покрытого зарубками и крестами, сделал себе палку.

Надо было ставить другие зарубки и другие кресты.

Вопрос «быть или не быть?» встал в таких масштабах, какие не снились Гамлету и самому Вильяму Шекспиру.

## Глава двадцать седьмая, ВОЙНА И ДИПЛОМАТИЯ

Старший политрук Ищеев никогда не был журналистом и не собирался им быть. Он хотел быть строевым командиром. Но случилось так, что после срочной службы он попал на курсы политсостава, а после курсов его назначили в нашу дивизионку «Защитник Родины». В армии отказываться не положено, поэтому старший политрук Ищеев сел на редакторский стул.

Самый хороший редактор тот, который не мешает своим сотрудникам делать газету. Ищеев не то чтобы мешал делать газету. Нет! Он поддерживал нас в любом начинании, но на редакторском стуле у него вдруг появи-

лась непреодолимая страсть писать самому. Он писал передовые, обзоры писем, очерки и заметки. Он писал в каждый номер. И ему очень хотелось писать художественно. Художественность он понимал своеобразно. Он очень любил, по его мнению, самую выразительную фразу: «Дул пронизывающий ветер». Он ее тщательно вписывал и в заметки, и в обзоры, и в передовые. Без этой фразы у него вообще ничего не клеилось. Секретарь редакции Коля Черноус пытался иногда вычеркивать эту фразу в гранках, но Ищев снова восстанавливал ее и сердился на Черноуса. «Пронизывающий ветер» гулял по страницам «Защитника Родины» из номера в номер. Остановить его было нельзя.

И вот на переднем крае нашей обороны в Лапвике задул самый пронизывающий ветер боя.

Мы все-таки надеялись, что белофинны, только что получившие по заливку, не будут соваться в эту войну и постоят в стороне. Не тут-то было. Им захотелось реванша. Сначала они присматривались, что получится у Гитлера. Оправдаются ли его слова. А слова на первых порах не расходились у Гитлера с делом. Его разбойничьи дивизии лезли напролом, все живое превращая в пепел. Старому финскому маршалу Маннергейму стало казаться, что границы Финляндии можно продвинуть до Урала. И Маннергейм отдал приказ смести нас с полуострова. Но он не посоветовался с нами, не спросил у нас, хотим ли мы этого.

Два батальона отборных финских егерей, после артподготовки и минометного обстрела, прямо в лоб пошли на нашу оборону и, смяв «колючку», проскочили с ходу на полкилометра в наши тылы. Мы это видели и не открывали огня. Финны не могли нас видеть, потому что мы сидели в земле у амбразур своих на совесть построенных блиндажей.

Наша батарея рассредоточилась по всему переднему краю. Кукушкин был во втором взводе у Автандила Чхеидзе. Когда финны были пропущены к нам в тыл, капитан Червяков дал команду на отсечный огонь. Чхеидзе, выкатив пушку, дал первый сигнальный выстрел. И тут пошло! Финны оказались в мешке, и пути к отступлению были отрезаны начисто. Они заматались, как щуки в неводе. Бой длился недолго.

Наутро маршал Маннергейм недосчитал двух своих отборных батальонов.

На следующий день мы с Борей Утковым выпустили листовку.

Как стоеросовый дубина,  
Рос финн. И вот такого финна  
Весной призвали в егеря,  
Потом послали в лагерь.  
Учили плавать и нырять,  
«Сдавайтесь, русские!» кричать.  
А дальше очень просто было:  
Мы коротко сказали: «Есть!»  
...Волною к берегу прибило  
Ботинки номер сорок шесть.

У нас в редакции не было цинкографии. А какая же газета без рисунка? Скучная. Ее никто читать не будет. Поэтому Боря Утков отодрал в каком-то особняке с кухни линолеум, выпросил в госпитале у Яши Гибеля ланцет и этим ланцетом вырезал к первой листовке первую гравюру. Я бы не сказал, что эта гравюра была шедевром. Но на ней все-таки можно было различить и бегущего в атаку с автоматом финна, и громадные его ботинки, прибитые волною к берегу. Они, по-моему, особенно удались Боре. Листовки пошли по рукам.

Редактор Ищев был в восторге от нашего изобретения и в каждом номере стал печатать Борины гравюры с моими стихами. О первом бое и о первой победе он напечатал в «Защитнике Родины» свою передовую, в которой беспощадно гулял «пронизывающий ветер» и «святая месть опрокидывала врага». Редактор любил высокий стиль.

Велик ли наш полуостров? Двадцать три километра в длину, пять — три в ширину, а в Лапвике сухопутная граница всего три километра. Он, как аппендицит в старом брюхе маршала Маннергейма — болит, а вырезать нельзя, хотелось бы, да не получается. У нас два аэродрома, торпедные катера, морская пехота и дальнобойные пушки береговой обороны. И вся эта система вместе с гарнизонами Эзеля и Даго заширает Финский залив и не дает прорваться немцам к Ленинграду морем.

Началась изнурительная позиционная война. Финны не жалеют снарядов. Лето стоит сухое. Мох и трава горят. Едкий дым стелется по полуострову. Мы идем на хитрость. Ее придумывает командир нашей бригады Симоняк. Коренастый сорокалетний казак с квадратными плечами, с квадратным, монгольского типа лицом, с тяжело нависающими на быстрые глаза верхними веками. Он настоящий солдатский герой. Он начал свою службу

еще мальчишкой в гражданскую войну в лихой сотне кубанского казака Кочубея. Мы любим его открыто, не скрывая восхищения.

По его предложению мы устраиваем мертвые сутки. С утра на всем полуострове ни выстрелов, ни дымка, ни звука. Как будто он весь вымер. Финны сначала очень удивляются этой необычной тишине. Потом подходят вплотную к границе. Тут-то и начинает работать вся наша огневая система на полную нагрузку. Ночью финны стаскивают с колючей проволоки «кошками» своих убитых. Сухопутная граница начинает обрастать и с нашей, и с финской стороны дополнительными рядами колючей проволоки и несчаными насыпями противотанковых рвов. Значит, они боятся нашего наступления. Это нас радует.

Вокруг полуострова зеленеют соснами каменные острова. Их много. Через них едва просматривается море.

На островах сидят финны и не дают нам покоя фланговым огнем.

Мы готовим лодки и катера и вместе с морской пехотой капитана Гранина, бородатого и лысого смельчака, сбрасываем с этих островов финнов и закрепляем свои гарнизоны. Мы не знаем отступления.

До нас доходят смутные слухи оттуда, с Большой земли. Наши части оставляют Эзель и Даго. Немцы окружают Таллин. Мы просимся помочь Таллину. Верховная ставка отказывает в нашей просьбе. Немцы берут Киев и подходят к Ростову. А мы сидим тут, у черта на куличках, и не знаем, что там делается с нашими близкими и родными.

Чхеидзе написал на стволе своей пушки «Смэрть Гитлеру!».

Он собирается дойти до Берлина со своей пушкой.

Он так об этом и сказал Щеглову-Щеголихину, когда комиссар вручал за первый бой у Лаппвика нашему наводчику медаль «За отвагу».

Наш комиссар часто заходит в батарею. У него еще есть папиросы «Казбек», и Кукушкин с удовольствием закуривает предложенную папиросу.

— А долго мы будем здесь сидеть? — спрашивает Кукушкин комиссара.

— Сколько прикажут! — отвечает комиссар.

— Это правда, что вчера сдали Пушкин? — спрашивает Витя Чухин.

— Правда... — грустно говорит комиссар.

— А что, если нам,— не унимается Кукушкин,— двинуть через Хельсинки на помощь Ленинграду?

— Всему свое время,— говорит комиссар. — Надо будет, пойдем.

Симоняк на этот раз устраивает двое мертвых суток. И опять на всем полуострове ни дымка, ни звука. И опять рота финских егерей подползает к переднему краю и режет проволоку. И опять «Смэрть Гитлеру!» бьет прямой наводкой и маршал Маннергейм посмертно награждает своих героев.

Васе Бубнову рядом с госпиталем Яши Гибеля и домом отдыха для выздоравливающих мы отрыли под землей целый дворец. И Вася крутит там свой «Большой вальс». Других картин нет. Но ведь надо что-то смотреть.

Колька Бляхман ежедневно пополняет свою программу, неизменно начиная ее моим стихотворением «Запомни и отомсти!». Мне приятно, что ребята слушают его в двадцатый раз с неизменным вниманием.

Мы в самом деле хотим все запомнить и отомстить. Мы живем этим.

Больше нам жить нечем.

После каждого обстрела Добрыйвечер с ребятами из хозяйственного взвода отправляется на моторном катерике в море собирать глушеную рыбу.

Пайку хлеба нам сократили до шестисот граммов в сутки. Тяжелее всех это переносит Автандил Чхеидзе. Еще в полковой школе, по настоянию врача, специальным приказом командира полка нашему богатырю была положена двойная норма солдатского пайка. С ней Чхеидзе справлялся как миленький. Если бы вы посмотрели на него, то сказали, что он может съесть и три нормы. Так оно и было. Дружок Федотов никогда не оставлял в обиде Автандила Чхеидзе. До сокращения пайка на кухне после обеда всегда оставались излишки. Теперь надо было изыскивать внутренние ресурсы. Дьявол его знает сколько еще придется торчать на этом аппендиксе. Запасы продовольствия надо беречь на всякий случай. С Большой земли ждать нечего. Вот Добрыйвечер и отправляется собирать глушеную рыбу. Не пропадать же ей в самом деле!

Об открытии Доброговечера узнал комиссар Щеглов-Щеголихин, и была сформирована по его приказу из выздоравливающих особая команда по ловле глушеной ры-

бы, а так как финны стреляли беспрерывно и днем, и ночью, то Автандилу Чхеидзе не особенно приходилось страдать от недоедания.

Больше всего нам выматывала нервы неопределенность.

Что такое могло случиться с нашими там, на Большой земле, что Гитлер прет и прет без задержки, замыкает в кольцо Ленинград, оккупирует Ростов и подходит к Москве?

Письма стали приходить реже и тревожнее.

Я встретил Кольку Бляхмана. На его глазах были слезы. Вся семья Бляхманов была расстреляна у себя на квартире. Об этом Кольке написала соседка, случайно уцелевшая и бежавшая из Киева.

Получил письмо и Кукушкин. Ему писала тетя Поля. Вернее, не тетя Поля, а Танюшка под диктовку тети Поли.

«Мы слышали о тебе по радио. Держитесь там. Громите этого проклятого Гитлера. А мы уж тут, в тылу, сделаем все возможное. Из кожи вылезем, а сделаем. С коммунистическим приветом. Целую тебя, милый ты мой, и все девочки мои тебя тоже целуют. Твоя тетя Поля».

Тетя Поля никогда не была и не собиралась быть членом партии.

И еще мы получили общее письмо от политического управления Краснознаменного Балтийского флота.

«Придет время,— писали из политического управления,— и фашизм будет стерт с лица земли. Но сквозь годы и века никогда не померкнет неувядаемая слава героической борьбы защитников Ханко.

Стойте же, герои, величаво,  
Вас благословляет вся страна.  
В золотую книгу вечной славы  
Мир запишет ваши имена!

Слава героическим защитникам Ханко!

Вперед, к Победе!»

И мы стояли, не то чтобы величаво, как сказал поэт в этой листовке, а крепко стояли, так, что нас не могли сдвинуть с места. Нам больше ничего не оставалось делать. Мы были единственным участком на всем фронте от севера до юга, который где-то в глубоком тылу жил своим законом, оборонялся от врага и даже наступал.

Что же касается золотой книги вечной славы, мы не

представляли себе, как она выглядит, и не думали о ней, считая, что вечную славу поют только мертвым, а мы еще собирались жить и побывать в Берлине; мы были согласны с Автандилом Чхеидзе, который написал на своей пушке белым по зеленому: «Смэрть Гитлеру!»

Наши отношения с финнами стабилизировались. Мы ушли в блиндажи и окопы. Они тоже закопались в землю и огородились проволокой, минными полями и надолбами. Мы обменивались артиллерийскими налетами, и на передок в защитных халатах выползали снайперы. Кто кого — на выдержку!

Меня перевели в гарнизонную газету «Красный Гангут».

Редакция «Красного Гангута» помещалась в шестиэтажном здании Дома флота, в самом городе Ханко, разбитом финскими снарядами и бомбами до основания. Фундамент дома был сложен из дикого камня и надежно укрывал типографию и редакцию. Рядом с нами в этом же подвале были размещены политотдел базы, особый отдел и отдел по распропагандированию войск противника.

Во время окопной войны сами по себе возникают и узакониваются самые нелепые правила. У нас тоже было одно нелепое правило. Если наши распропагандисты на своем драндулете подъезжали к переднему краю и через усилители начинали зазывать финнов в плен, бросить оружие и перестать губить свои дорогие жизни, — финны молчали и слушали. Если же, в свою очередь, через репродукторы усилительных установок начинали говорить финские ораторы — мы прекращали огонь и слушали их.

Это был неписанный закон окопной войны, и изменить его было нельзя.

Финские ораторы, зная, что им ничего не грозит, обнаглели до того, что на наших глазах стали залезать на самые высокие деревья и вещать оттуда через мегафоны разную свою белиберду.

В «Красном Гангуте» я стал работать вместе с только что приехавшим с Большой земли замечательным художником Борисом Ивановичем Пророковым. Добрые, стеснительные глаза, добрая улыбка, мягкий характер и говорок на «о» сразу выдали в нем моего земляка, ивановца. Своей общительностью, простотой, выдумкой он привлек к себе людей самых разных. В нашей низкой комнатенке, пропахшей крысами и плесенью, всегда толпился народ. Отдел «Гангут смеется», который мы вели



с Борисом Ивановичем, стоял у читателей после оперативных сводок на первом месте.

К нам заходили катерники и летчики, подводники и снайперы, саперы и разведчики. Они долгом своим считали сообщить нам самое интересное, что у них произошло.

Как-то забежал в редакцию Кукушкин.

— Сочинитель, — сказал он, обращаясь ко мне, — есть тема! Сижу я вчера на наблюдательном и смотрю. Знаешь эту сосну, справа от нашего наблюдательного пункта на финской стороне? Они даже лесенку на нее сделали, чтоб удобнее лазить. И вот вижу, подходит к сосне финский оратор с трубой, залезает на самую верхушку, поворачивает трубу в нашу сторону и начинает приглашать нас в плен. Чего-чего он только не обещал: и хлеба четырехста граммов в сутки, и теплое белье, и полную неприкосновенность личности, и даже заграничный паспорт в Швецию. Наши слушают да смеются — дескать, мели, Емеля, твоя неделя.

— Так это и я слышал!

— погоди, сочинитель, слышать-то ты слышал, да не видел, что дальше произошло. Он прямо как глухарь ростоковался на своем суку. И вдруг я слышу выстрел, не с нашей стороны, сочинитель, а с финской, и катится этот финский оратор, считая сучки, носом в землю. Финны сами его сняли.

— Здорово! — говорю я.

— Конечно, здорово! — подтверждает Кукушкин.

И Борис Иванович начинает набрасывать рисунок, потом вырезает его на линолеуме, а я сочиняю подпись. Этот материал надо дать завтра в газете.

Глухо воеет первый снаряд. Земля вздрагивает. Электричество гаснет, и с потолка начинает сыпаться всякая дрянь за шиворот.

— Началось! — говорит Коля Иващенко и зажигает свечку.

Он сидит напротив меня, длинноносый, плоский, как доска, верзила. Ох уж этот Коля Иващенко! Он появился у нас после ранения. Ему очень хочется быть журналистом. Писать он не умеет, но лазит по всем островам и собирает материал.

Иващенко сидит напротив меня с ножницами и иглой.

Он недавно выпросил у летчиков меховой комбинезон.

Комбинезон оказался для его долговязой фигуры слишком коротким. Тогда Иващенко, не долго думая, разъединил его на куртку и брюки, но между брюками и курткой появилась порядочная щель, тогда Коля решил распороть брюки и надставить куртку. Опять у него что-то не получалось. Разозлившись, он распорол куртку и решил сделать унты и рукавицы. Унты у него не вышли, потому что он не нашел материала для подошвы, и он отказался делать их. А сейчас он сидит против меня и собирается сшивать первую рукавицу. Я не уверен, что и она у него получится.

Так же, как с этим комбинезоном, у Кольки всегда получается и с материалом. Съездит, привезет, расскажет — здорово! А как сядет за бумагу — ничего не выходит. Обидно!

Но он деятелен, и фантазия его неиссякаема. Ему присвоено звание заместителя политрука. Заместитель политрука носит на рукаве бушлата четыре узенькие золотые лычки. Колька достал где-то лычки чуть пошире положенных и нашил их, и теперь он может сойти и за полкового комиссара. Поди разберись!

Обстрел продолжается. Земля гудит, и крысы пищат между накатами.

И вдруг в этом грохоте явственно слышится голос ребенка.

— Это Лида, наверно! — говорит Борис Иванович, и мы выбегаем в коридор.

Напротив нас, в темной промозглой конуре, укрепленной на случай обвала деревянными подпорками, живет машинистка нашей редакции Лида. Она почти совсем девчонка. После окончания десятилетки она вышла замуж за летчика и приехала к нам на полуостров. Она не захотела эвакуироваться и осталась с мужем. Мужа перевели на другой фронт. Она ждет от него писем. Она не дожидается писем. Он погиб под Ленинградом. Об этом знаем только мы. Но не говорим ей об этом, потому что бережем ее.

У Лиды скоро будет ребенок. Как же ее не беречь! И мы ее бережем всей редакцией, неумело, но трогательно, как это умеют делать одинокие мужчины.

Пока мы вызываем из госпиталя врача, на белый свет появляется новый житель земли. Он орет во весь голос, и этот голос перекрывает пронзительный свист и обвальный грохот обстрела.

Теперь у нас появилась новая забота.

Надо доставать молока. Следить за этим орущим мальчишкой, когда Лида печатает, чтобы его не сожрали крысы.

Крыс развелось в нашем подвале тьма-тьмушая. Словно они сбежались к нам со всего порта, со всех кораблей, которые в нем швартуются; они шныряют по всем подвалам и по колодцу каменного двора. Они умудрились даже изглодать жалкие остатки от комбинезона Кольки Иващенко.

Колька целыми днями возится с грудным мальчишкой Лиды. Сегодня он откуда-то приволок для него свежего судака, как будто он нужен этому мальчишке до зарезу.

Неожиданно всему гарнизону снова увеличивают паек до нормального, начинают выдавать консервы и мясо, вместо махорки — папиросы.

— Значит, нам недолго здесь сидеть, братцы! — заключает Федотов. Его предположение оправдывается. Верховная ставка решила эвакуировать гарнизон морем и сделать это как можно незаметнее, без потерь.

Никто и словом об эвакуации не заикнулся, но каждый про себя знал, что она должна быть со дня на день.

Кончался сентябрь. Частушка Кольки Бляхмана:

Береги дрова, товарищ,—  
Без огня лапши не сварить! —

стала, что называется, жизненно необходимым лозунгом.

Командованию гарнизона надо было знать, что делается у финнов. Требовался «язык».

Достать «языка» поручили оперативной группе главстаршины Щербановского. Это были довольно-таки шумливые и беспардонные ребята. Сам главстаршина Щербановский служил до войны боцманом на торговых судах и побывал почти во всех портах мира. В самом начале войны у него во время бомбежки погибли жена и двое ребятешек, поэтому у Щербановского был, по его словам, личный счет мести. А у кого не было такого счета! После горестного известия главстаршина стал заикаться и отпустил бороду. Сухой, жилистый, с обветренным лицом и горящими глазами, он пришел к капитану Гранину и попросил дать ему настоящее дело. Он сам подобрал себе ребят и быстро нашел с ними общий язык. Ребята полюбили своего командира и ради наивысшего уважения стали, подражая командиру, заикаться.

Вот эта заикающаяся команда, которой было море по колено, и явилась на наш наблюдательный пункт. Я знал об этой операции и пошел с Щербановским.

Ночь была подходящей: темной и ветреной. Пока наши саперы делали проход в минных полях и колючей проволоке, Щербановский сидел с капитаном Червяковым и с Кукушкиным за столом, намечая план действий. Метрах в двухстах прямо по фронту от нашего наблюдательного пункта, под прикрытием валуна, был финский дзот. От него шли две траншеи: одна — к переднему краю и другая — в глубину обороны. Кукушкин знал этот дзот так, будто сам его строил, наблюдая его ежедневно, поэтому с разрешения капитана Червякова тоже увязался с группой Щербановского.

Мы бесшумно пробрались на ту сторону. Ветер и ночь были нашими помощниками. Все произошло быстрее, чем я думал. Мы разбились на две группы и ползком окружили траншею, идущую к переднему краю. По траншее ходил часовой. Он не слышал нас. Он похаживал взад и вперед, пристукивая каблуками и засунув от холода руки в карманы. Кукушкин упал на него плашмя, следом за Кукушкиным на часового свалился сам Щербановский. И все-таки часовой успел крикнуть. Из дзота одновременно выскочили два финна. Один — по направлению к нам, другой — в сторону своих. Прежде чем Костя Самарин успел дать очередь из автомата, финн в упор выстрелил в Костю. Обратное нам пришлось тащить двоих — Костю и финского часового.

И вот мы снова на своей стороне, в нашем наблюдательном пункте. Костя не жилец, он бледнеет на наших глазах и вытягивается на лавке. Из-под мичманки Щербановского стекает струя крови. Кто-то из наших впопыхах угостил его по голове прикладом. Финны, спохватившись, открывают огонь, от осветительных ракет светлеет ночь.

Финн сидит в углу, прислонившись спиной к бревенчатой стене, и дрожит. Кляц ему изо рта вынули, и у него не попадает зуб на зуб.

Щербановский смотрит на финна. Его горбоносое лицо и борода, подстриженная на манер тетеревиного хвоста, покрыты потом и кровью. Он пристально осматривает финна с головы до ног и бьет кулаком по столу:

— Кклады вещи!

Финн вздрагивает.

— Это я не тебе! — говорит Щербановский и повторяет снова: — Клади вещи!

И вот на столе перед Щербановским появляются ботинки, поясной ремень, парабеллум, перочинный нож, финка, часы — все, что эти сорвиголовы успели забрать у финна, пока его несли от финского блиндажа до наблюдательного. Парабеллум Щербановский берет себе, перочинный нож отдает капитану Червякову, финку — Кукушкину.

— Ты орел! — говорит он Кукушкину. — Ты повведешь пленного в штаб!

Потом он вынимает флягу. Чокается с капитаном и, выпив, вытирает бороду рукавом бушлата. Остатки спирта он подносит финну. Тот пьет и кашляет. Кукушкин подает финну кружку воды.

— Команду угощаешь ты из своих запасов! — говорит Щербановский Червякову. — И спать!

Обстрел постепенно стихает. Сосны шумят глуше. Начинает светать. Ветер разгоняет облака, и холодное солнце серебрит покрытый инеем вереск. Кукушкин закидывает за плечо карабин, засовывает в сумку противогАЗа полбуханки хлеба и трогает за плечо финна:

— Пошли!

И они идут по ходу сообщения, глубокому, как могила. Со стенок медленно, как время, осыпается песок. Пахнет гарью и сыростью. Траншея входит в траншею, разветвляется и петляет. «Налево», — командует Кукушкин, и финн поворачивает налево, робко оглядываясь на Кукушкина. На пленном — мышинного цвета френч, брюки, заправленные в гетры. Редкие рыжие волосы треплет ветер. Шапку он потерял. Правое плечо у финна выше левого. Ему лет под пятьдесят.

«Наверное, из резервистов», — решает Кукушкин. И снова траншея в траншею, изгибы и повороты, и песок осыпается со стенок медленный, как время. Так и не выходя наружу, можно пройти все двадцать три километра до города. Но по песку идти неудобно, ноги скользят и подвертываются. Спина финна покрывается испариной. Кукушкин выскакивает на бруствер и помогает выбраться финну. По дороге идти легче и теплей. Справа шумит лес, слева на розовый от медуз песок набегают белые гребешки стальных волн. Финн немного говорит по-русски.

— Меня расстреляют? — спрашивает финн.

— Нет! — говорит Кукушкин, и они прибавляют шаг.

Идут два человека, два солдата, и у каждого свой заплечный мешок горя. Один солдат отвоевался, другому служить, как медному котелку.

Из-за поворота неожиданно появляется в сопровождении четырех командиров Симоняк. Кукушкин останавливает финна и докладывает:

— Товарищ командир бригады, рядовой Кукушкин конвоирует пленного в штаб.

Симоняк смотрит на грудь Кукушкина и говорит:

— У тебя одна медаль «За отвагу», считай, что их у тебя две. Крой дальше, рядовой Кукушкин!

И опять идут два солдата, конвоир и пленный. Пленный устал. Конвоир сворачивает с дороги, садится на пенек и предлагает то же самое сделать пленному. Конвоир вынимает полбуханки хлеба, разрезает ее пополам, круто присаливает, достав щепоть соли из носового платка; одну половину подает пленному, другой закусывает сам.

Закусив, с подола гимнастерки стряхивает крошки в горсть и ловко бросает их в рот.

Они снова встают и идут дальше.

— У тебя есть семья?— спрашивает Кукушкин.

— Жена и двое ребенка,— отвечает пленный.— Миккель и Эрко...

В Кукушкине оживает политрук.

— Миккель и Эрко,— повторяет Кукушкин.— Зачем же вы пошли за Гитлером со своим Маннергеймом?

— Гитлер — капут, Маннергейм — карошо,— говорит финн.

— Ну, раз Маннергейм карошо,— злится Кукушкин,— пусть он о тебе и заботится. Как тебя зовут?

— Эрик. Я финский швед,— говорит Эрик.

— Так ты не финн, а швед, зачем же ты-то в войну полез, ты ведь нейтральный?

— Я финский швед,— говорит Эрик. И они идут дальше. Потом снова присаживаются закурить. Эрик не умеет свертывать сигарку. Кукушкин свертывает Эрику и себе. Эрик затягивается и заходится в кашле. Отдышавшись, он смотрит на Кукушкина осоловелыми глазами.

— Ух!— говорит Эрик.

— Привыкай, швед! Теперь сигар не будет!— И они снова идут молча, и каждый тащит свой заплечный мешок горя.

— Меня расстреляют?— опять начинает Эрик.

— Тебя не будут стрелять,— говорит с уверенностью

Кукушкин, как будто бы он сам командир бригады Симоняк,— тебе только придется показать по карте, как у вас там оборона устроена.

— Тогда меня наши расстреляют,— не унимается Эрик.

— Незавидное твое положение, швед!— И Кукушкину становится жаль Эрика, жаль себя, жаль всех, кто застрял в этой войне по уши, словно нет у людей на земле другого дела. Кукушкина распирает злоба. «Ни черта,— думает он про себя,— со мной не сделается до тех пор, пока не околеет последний фашист со своим фюрером». Ему кажется, что победа зависит только от него одного. И Кукушкин прибавляет шагу.

По пути в особый отдел он заходит вместе со своим Эриком в наш подвал. Ему хочется похвастаться перед нами, что он привел «языка».

— Ты машиной вернулсЯ?— спрашивает он меня.

Я киваю.

Кукушкин ведет пленного по коридору в глубь подвала и сдает на руки старшему политруку Загороднему, потом смотрит на Эрика в последний раз и сует ему в руку полпачки махорки и коробок спичек.

— Привыкай к махре, швед, сигар не будет!— говорят Кукушкин и пропадает за дверью.

Капитан Загородний пододвигает к себе лист чистой бумаги и закуривает папиросу «Казбек».

На передний край приехал новый финский оратор. Он приехал с личным посланием маршала Маннергейма, забрался на сосну и стал через мегафон читать нам послание.

В своем личном послании Маннергейм даже умудрился назвать нас «доблестными защитниками Гангута», он был в восхищении от нашей смелости и храбрости, но, говорилось в послании, «во имя чего вы терпите лишения, Ленинград не сегодня завтра падет, не сегодня завтра в Москве Гитлер устроит парад своих войск и с коммунистами будет покончено», «Сталин сбежал к Рузвельту в Америку», и все в таком духе.

То, что он назвал нас «доблестными защитниками Гангута», разозлило нас больше всего. Это было уже свержением нахальством, это прямо-таки взбесило нас. Надо было проучить эту старую лису!

И возникло, как-то само по себе, у всего гарнизона неистребимое желание ответить маршалу Маннергейму

на его личное к нам послание, вступить с ним в дипломатические отношения по всем правилам русской солдатской этики.

Комиссар всей военно-морской базы Ханко, полковой комиссар Арсений Раскин, зайдя в редакцию, так и сказал нам с Борисом Ивановичем:

— Пишите ответ! В выражениях не стесняйтесь!— И добавил, улыбаясь:— Бояться нам нечего, цензор с полуострова уже эвакуировался!

До чего же был молодец полковой комиссар Раскин! Он видел солдатскую душу насквозь.

Здесь я должен, дорогой друг, сделать небольшое отступление и обратиться с маленькой просьбой деликатного свойства к товарищу цензору, который будет читать эту рукопись, разрешая ее к напечатанию.

Я обращаюсь к нему так:

«Дорогой товарищ цензор! Будь настолько добр, последуй примеру своего ханковского коллеги и эвакуируйся страницы на три, пока я рассказываю своему читателю очень необходимую для нас обеих историю. Я клянусь тебе самой нерушимой клятвой, что не сделаю никакой политической ошибки и мораль на этих страницах тоже останется девственной.

Я прошу тебя ради того, чтобы рассказать полную правду. А в полной правде, без которой у меня не получится рассказа, купюры делать нельзя. Я прошу тебя снять очки, отложить красный карандаш в сторону и перевернуть страницы три, не читая».

Чтобы нам никто не мешал, мы с Борисом Ивановичем, прихватив бумагу и чернила, забрались на чердак нашего шестизэтажного дома и сели под дырявой обгорелой крышей у слухового окна. Мы отыскивали среди разного хлама ящики и доски и устроили подобие стола и стульев.

Из окна нам была видна изрытая снарядами и авиабомбами центральная площадь, кирха и водокачка, разбитые остовы домов с обгорелыми трубами, подвал гарнизонной «губы», где мы с Кукушкиным и Федотовым отсиживали положенный капитаном Червяковым срок, и еще виднелся чудом сохранившийся среди этого хаоса парфюмерный павильончик с зеркальными стеклами. За павильончиком выступала скала, крутым обрывом уходящая в море. На скале чернела чугунная петровская пушка, черным глазом глядящая в сторону Швеции.



— Шведы должны быть благодарны нашему Петру,— сказал Борис Иванович.— После того как Петр разбил их Карла, шведы перестали воевать и теперь живут себе мирной жизнью, припеваючи. Хорошо было бы так же и с немцами сделать...

Мы с Борисом Ивановичем не были прямыми потомками и наследниками запорожцев, но нам было знакомо письмо запорожцев турецкому султану, и неукротимый дух этого письма овладел нашими душами.

После долгих обсуждений и взаимных дополнений я вывел на чистом листе самым красивым почерком, на какой была способна моя рука, обращение:

*«Его высочеству, прихвостню хвоста ее светлости  
кобылы императора Николая,  
сиятельному палачу финского народа,  
светлейшей обер-шлюхе берлинского двора,  
кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста  
барону фон Маннергейму,  
тебе шлем мы ответное слово!»*

Не успел я как следует вывести знак восклицания, финские артиллеристы, будто прочитав наше обращение и зная, что мы будем писать дальше, открыли такой огонь и с такой точностью, что наш чердак закачался, как гнездо цапли на вершине сосны во время бури, и осколки забарабанили по крыше. Мы спустились этажом ниже и устроились на подоконнике. И я снова взялся за перо.

*«Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести, пригласив к себе в плен. В своем обращении вместо обычной брани ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханко.*

*Хитро загнул, старче!»*

Обстрел не прекращался, и нам пришлось спуститься на этаж ниже и устроиться в комнате, выходящей окнами во двор, возле камина. Борис Иванович, расхаживая по комнате, стал мне диктовать:

*«Всю темную холуйскую жизнь ты драил господские жопы не щадя языка своего. Еще под августейшими ягодицами Николая Кровавого ты принял боевое крещение...*

*Но мы — народ не из нежных, и этим нас не возьмешь. Зря язык утруждал. Ну, хоть потешил нас, и на том спасибо тебе, шут гороховый».*

Чем ниже мы спускались, стараясь найти безопасное место от обстрела, тем больше нашими душами овладевал запорожский дух. Устроившись на лестничной площадке третьего этажа, я продолжал выводить по всем правилам каллиграфии:

*«Всю жизнь свою проторговав своим телом и совестью, ты, как измызганная старая проблядь, торгуешь молодыми жизнями финского народа, бросив их под вонючий сапог Гитлера. Прекрасную страну озер ты залил озерами крови.*

*Так как же ты, грязная сволочь, посмел обращаться к нам, смердить наш чистый воздух?!*

*Не в предчувствии ли голодной зимы, не в предчувствии ли взрыва народного гнева, не в предчувствии ли окончательного разгрома фашистских полчищ ты жалобно запищал, как загнанная крыса?»*

На третьем этаже тоже невозможно было оставаться дольше. Огонь усиливался. Дальнобойный снаряд полоснул по асфальтовому двору нашего дома, осколки с визгом ударили по пустым окнам, и лестничная клетка качалась. Финские артиллеристы добились своего. Заключительную часть ответного послания барону пришлось нам дописывать в подвале.

*«Короток наш разговор:*

*Сунешься с моря — ответим морем свинца!*

*Сунешься с земли — взлетишь на воздух!*

*Сунешься с воздуха — вгоним в землю!»*

Тут мы вспомнили о своих союзниках, откуда нам было знать тогда, что они волынили, как умели, и всю тяжесть войны свалили на нас. Мы продолжали дальше:

*«Красная Армия бьет вас с востока, Англия и Америка — с севера, и не пеняй, смрадный иуда, когда на твое приглашение мы — героические защитники Ханко — двинем с юга!*

*Мы придем мстить. И месть эта будет беспощадна!  
До встречи, барон.*

*Долизывай, пока цела, щетинистую жопу фюрера.*

*Гарнизон советского Ханко  
Месяц октябрь, число 10, год 1941».*

Борис Иванович, в соответствующем стиле письма жанре, нарисовал к нему заголовок и концовку. На заголовке маршал Маннергейм упражнялся в почитании

августейших особ на ягодицах Николая Второго при помощи языка своего. Для удобства этой операции Николай нагнулся и откинул горностаевую мантию. На концовке был изображен потерявший штаны Гитлер и Маннергейм в образе престарелой кокотки, умирающей около обнаженных ягодиц Гитлера. По бокам текста шел незамысловатый орнамент, как бы связывающий в одно целое заголовок, текст и концовку. Ваня Шпульников, списанный недавно из-за желудочной язвы с торпедного катера и помогавший Борису Ивановичу, взял этот рисунок и стал переводить через копировку на линолеум, чтобы потом вырезать плашку для печатной машины.

Полковой комиссар Арсений Раскин остался нашей работой доволен и разрешил печатать тираж.

Мы достали на складе остатки хорошей плотной бумаги и сами всю ночь крутили ротационную машину. Утром тираж был готов. На тысяче экземпляров послания рисунки были подкрашены, а орнамент позолочен.

Наутро вместе с газетой во все подразделения было разослано и это послание. И каждый считал его лично своим посланием. Многие, по примеру Кукушкина, на переднем крае понаделали можжевеловые луки и, зацепив в стрелу послание, запускали его через колючку на финскую сторону. Финны отвечали пулеметными очередями и минометным огнем.

Герой нашего полуострова летчик Бривько тысячу подкрашенных экземпляров сбросил над Хельсинки. Говорят, что один лист через форточку залетел в кабинет Маннергейма. Я не знаю, что было с маршалом. Он превосходно читал и говорил по-русски.

Ответного послания от маршала мы не получили, и на этом наша дипломатическая переписка окончилась.

## Глава двадцать восьмая, МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ

Очень я не люблю слово «был» за его страшную беспощадную вместительность. Это слово, особенно для тех, кто побывал на войне, как кладбище. В нем судьба друзей, кровь друзей, на полях войны отдавших самое дорогое — жизнь ради нашей жизни, ради нашей победы, ради того, чтобы сирень пахла сиренью и влюбленные целовались под звездами. И все-таки, как ни тяжело, это

слово нельзя выкинуть из нашего обихода, потому что мы живем единым потоком общего устремления народа к общему миру на земле, без войн и оружия. И те безымянные герои, о которых еще до сих пор втихомолку плачут матери, а невесты их состарились в тоске и одиночестве, те, о которых мы говорим «они бы ли», незримо присутствуют в нашей жизни, в нашей борьбе за справедливость. И в этом нет никакой мистики. Есть единая связь поколений в борьбе за человеческое счастье. Видимо, в этой борьбе и есть бессмертие самого народа, его духа, его жизни.

У подвига нет конца, как нет конца у самой жизни, если эта жизнь посвящена жизни.

Без памяти жить нельзя. Это понятно каждому. И как бы это ни было тяжело для моего сердца, я не могу отказать от беспощадного глагола «был».

...Был последний день нашего пребывания на полуострове. Нам больше нечего было здесь делать. Дня за три до этого по всему полуострову была объявлена мертвая неделя. Финны, думая, что мы их опять заманиваем, боялись этой тишины хуже бомбежки. А наши гарнизоны по ночам бесшумно снимались со своих обжитых позиций и, заминировав всем, чем только можно, передний край и дороги, двигались по направлению к причалам порта. К нашему счастью, начинались затяжные осенние дожди. Медленные низкие тучи без конца волочили свои мокрые подола от горизонта до горизонта, и финские наблюдатели даже днем не могли заметить нашего передвижения.

Эвакуация началась еще в октябре, и первые части, как нам стало известно, благополучно высадились в Кронштадте. Мы уходили с последним эшелоном в ночь на третье декабря.

Два десятилетия прошло с того времени, и двадцать раз в ночь на третье декабря, так же как в ночь на двадцать второе июня, я ни разу не мог сомкнуть глаз от какой-то смутной и мучительной тревоги, поселившейся в моей душе.

В эти ночи память, как разводящий, ставит меня часовым у живой надежды всех погибших, что это никогда не повторится.

Первого декабря мы выпустили последний номер газеты. «Красный Гангут» на этом кончил свое существование. Сын бакинского провизора Женя Войскунский, ро-

маптик, до умопомрачения влюбленный в «Алые паруса» Грина и поразительный бред Эдгара По, написал для этого номера передовую. Передовая называлась «Мы еще вернемся» и была клятвой верности и мужества. Борис Иванович Пророков нарисовал, а Ваня Шпульников вырезал на линолеуме последнюю гравюру. Она занимала три колонки в верхнем углу слева на четвертой полосе. На ней были изображены матросы и пехотинцы, идущие на незримого врага с автоматами и винтовками наперевес. Над гравюрой была надпись на всю полосу:

«Мы идем бить фашистскую сволочь и будем бить ее по-гангутски!»

Под гравюрой были мои стихи:

Такие не боятся и не гнутся.  
Так снова в бой и снова так дерись,  
Чтоб слово, нас связавшее — гангутцы,  
На всех фронтах нам было как девиз!

Здесь жили мы размеренно и просто,  
Скрепили дружбу кровью и огнем.  
За горизонтом скрылся полуостров,—  
Здесь жили мы, и мы сюда придем!

На оставшейся бумаге в наследство финнам мы еще напечатали листовки и дополнительный тираж нашего ответа на послание Маннергейма. Кто-то предложил выбить для участников обороны Ханко памятную медаль, нашлись даже и чеканщики, готовые взяться за это дело, но было уже поздно, и вместо медали мы напечатали в типографии маленькую книжку в зеленой обложке. Книжонка называлась «Храни традиции Гангута». В ней были помещены портреты двенадцати лучших героев Ханко и стихи, посвященные этим героям. Книжки были розданы всем, покидавшим полуостров.

Второго декабря мы встали пораньше и собрали в дорогу все, что нам дорого. Я засунул в полевую сумку подшивку газет и завернутые в полотенце зубную щетку и мыло. У Бориса Ивановича был рюкзак. Он набил его рисунками и газетами. Потом мы пошли на склад обмундирования и переоделись во все новое. Я выбрал себе по росту ботинки и клеш, две тельняшки, форменку, бушлат и мичманку. Потом мы пошли по городу — в последний раз проститься с нашим Гангутом. Мы прошли мимо кирпичи и гарнизонной «губы». Было тихо и пасмурно, словно финны, как и мы, объявили мертвую неделю.

Мы увидели стеклянный парфюмерный павильончик.

Из его распахнутой двери валил белый дым. Любопытства ради мы подошли поближе и заглянули внутрь через запыленные стекла. На полу сидел красноармеец, обняв ногами вместительную картонку. Из картонки он методичными отработанными движениями вынимал коробки с пудрой, свертывал им крышки и выдувал пудру. Он был так поглощен своим занятием, что не заметил нас. Белая пыль засыпала его, как снег, и пахучей приторной метелью вырывалась наружу. Мы не стали ему мешать. Мы переглянулись и улыбнулись. Чудак! Он не хочет оставлять финнам никаких трофеев!

У нас в руках была пачка листовок, банка с клеем и малярная кисть. Я мазал этой кистью по оставшимся заборам и стенкам, по стволам деревьев и по диким камням, а Борис Иванович ловким движением ладони прилеплял на эти места наши прощальные лозунги. Мы прошли на скалу, крутым обрывом уходящую в море, и подошли к чугунной петровской пушке. Я махнул кистью по изъеденному соленой водой стволу, и Борис Иванович приклеил к нему листовку с последним рисунком из последнего номера «Красного Гангута»: «Мы идем бить фашистскую сволочь и будем бить ее по-гангутски!»

Мы вышли на пустынную и размытую дождем дорогу. И я увидел моего Министра: он шел ко мне, нехотя помахивая рыжей спутавшейся гривой. Я побежал ему навстречу. И он положил мне голову на плечо и обдал шею теплым дыханием.

— Прощай, Министр!— сказал я.— Мне надо уходить, в Ленинград уходить, а тебе оставаться. Для тебя кораблей не приготовили,— сунул ему в теплые милые губы пригоршню сахара и поцеловал их, похлопал Министра по шее и легонько оттолкнул от себя. Пока я, чуть не плача, прощался со своим конем, Борис Иванович наклеил ему на круп последнее оставшееся у нас послание маршалу Маннергейму. Министр нехотя поцелелся к лесу, оглядываясь и кося на меня глазом.

Мы пришли в порт, где хлопотливый чумазый паровозишко сталкивал в воду вагоны с разным барахлом, которое не на что было грузить. Портковый кран, подцепив стальными стропами, легко, как перышко, переносил над пытящим паровозишком «Смэрть Гитлеру!» на палубу пришвартованного к стенке эсминца.

Старый, как галоша, буксир «Камил Демулен», черпая бортами воду, доставил нас на рейд к спущенному

трапу турбоэлектрохода «Сталин». Мы поднялись на палубу, и я подумал, глядя вслед уходящему «Камилу Демулену»: «Как странно на этой земле все устроено. Был член Конвента и поэт Парижской коммуны Камил Демулен, о котором сейчас, наверно, и во Франции забыли, а он, превратившись в буксир, захлебываясь волной, продолжает жить и помогать людям».

День был серым и темным. Смеркаться начало рано. На рейде за Утиным мысом, бросив якоря, покачивались на медленной волне корабли последнего каравана, трап-спортники и тральщики, эсминцы и рыбацкие лайбы, торпедные катера и подводные лодки. Наш турбоэлектроход стоял среди них, как слон среди овец, сливаясь камуфляжем со стальной водой и серым небом. На душе было мутно. Последние буксиры отчаливали от порта и шлепали к рейду.

Наш турбоэлектроход год назад был построен на верфях Амстердама, сверкал внутри полированной карельской березой и надраенной медью. И вот в его великолепные салоны ввалилась наша сухопутная и морская братва, пропахшая дымом землянок и окопной сыростью. Она задыхалась махрой и разлеглась по коридорам и каютам на измазанных глиной шинелях, тяжело топоча по блестящему паркету каменными сапогами и ботинками. Она стала хозяином трюмов и палуб. В отведенной для нашей редакции и типографии четырехместной каюте разместилось двенадцать человек и еще машинистка Лида со своим наследником. Мы отвели ей нижнюю койку, а сами стояли, плотно прижавшись плечом к плечу, задыхаясь от жары и спертого воздуха.

Кукушкин и Федотов остались в группе прикрытия. Им надлежало взорвать водокачку, вокзал и Дом флота. Я протолкался на палубу. Мне захотелось посмотреть на работу наших подрывников. На темном туманном небе смутно виднелись порталные краны и размытые очертания берега. Сначала я увидел сноп красновато-желтого огня, осветившего Дом флота и водокачку, и потом услышал в воздухе глухие перекаты грома. Значит, первой взлетела гарнизонная «губа». Кукушкин сдержал свое обещание. Ради того, чтобы взорвать «губу», он сам напросился у капитана Червякова в группу прикрытия. За первым взрывом слышались еще три, и лохматые низкие тучи смешались с пламенем. В свете пожара я увидел, как отчаливал от порта последний тральщик.

Я пришел в каюту. Корпус корабля вздрогнул и загудел мелкой пульсирующей дрожью. Слышно было, как натуженно скрипели в клюзах якорные цепи. По медленному раскачиванию с борта на борт мы поняли, что двинулись.

Была ночь, и штормовые волны, и действительно пронизывающий до костей ветер, и мелкий сырой снег. И наша махина шла в этой темноте, битком набитая людьми, мешками с крупой и мукой, ящиками с маслом и консервами. Слышно было, как волны накатывались на задранные люки, и корабль кренился с борта на борт и с носа на корму. Тусклые лампочки освещали землистые лица, покрытые испариной. Мы не спали. Было не до сна. Мы пересохшими ртами ловили душный воздух и ждали, когда это тошнотворное скольжение в пропасть и подъем на гору кончатся. Я попробовал глотнуть из фляги спирту и немного забыться. Не помогло. Тошнота усиливалась, и я стал сомневаться в том, что человек — покоритель морской стихии. Я снова продрался на палубу и, ухватившись за поручни, подставил лицо ледяному мокрому ветру. Зеленые топовые огни плясали в этой дикой скачке воды и ветра, как погибающие звезды. Меня вывел из оцепенения голос впередсмотрящего:

— Справа по борту мина!

И вслед за этим где-то подо мной что-то царапнуло по обшивке корабля, и столб огня осветил высоко задранную корму и обдал горьким запахом дыма и острой водяной пылью. За первым последовал второй взрыв с левого борта, электричество замигало и погасло. Из трубы корабля к черному небу метнулся столб искр. Я на ощупь продрался в каюту, чтобы надеть бушлат и мичманку.

В коридоре напротив каюты кто-то зажег свечу, и окровавленные мокрые люди, как черти из подземелья, стали вылезать по мокрому трапу из трюма.

После третьего взрыва снова вспыхнуло электричество.

— Не поднимайте паники! — раздался спокойный голос в репродукторе.

Паники не было. Была беспомощность сильных людей, не знающих, что делать.

Корабль медленно кренился на левый борт и на корму. Чтобы побороть беспомощность и не сойти с ума, надо было что-то делать.

Старшим по званию командиром на корабле остался Борис Иванович Пророков. Он вышел на палубу. К правому борту стали подходить тральщики. Пришвартоваться



при такой штормовой волне было почти невозможно. Тральщик кидало, как скорлупку, сверху вниз и било о корпус нашего потерявшего ход корабля.

— Эвакуировать раненых! — услышал я повелительно-четкий голос Пророкова.

— Эвакуировать раненых! — гаркнул Колька Иващенко.

Только теперь я понял, как пригодились Кольке нестандартные лычки на рукаве. Его все принимали за полкового комиссара, и клянусь, что он в эту минуту своим спокойствием оправдывал это звание. Прежде всего мы на руках передали с нашей палубы на тральщик машинистку Лиду и ее наследника. Потом стали вытаскивать на носилках из салона первого класса раненых. В салоне первого класса разместилась операционная. Мы таскали носилки с Женей Войскунским, балансируя на мокрой от крови, скользкой палубе, и передавали на тральщик. За этим занятием мы не слышали четвертого взрыва. Нам было не до этого. Уже брезжило, когда начался обстрел и по верхней палубе стегануло два снаряда. Раненых прибавилось. Они стонали, ожидая своей очереди к врачам. Я запомнил только одного парня с тупым от боли лицом. Он сидел на полу и держал руками свою правую оторванную ногу. Из кровавого месива хлестала кровь. Парень орал истошно и дико:

— Бабу дайте, сволочи! Бабу!

Бабу я не мог ему найти. Я взвалил его на спину и поволоком на операционный стол вне очереди.

Тральщики менялись, и мы таскали раненых к правому борту, где наводил порядок Колька Иващенко.

Потом мы с Женей зашли в свою перекошенную каюту. Она была пуста. Я достал флягу, и мы выпили по глотку. Я показал Жене взглядом на свой карабин:

— Я не хочу товать, Женя, если корабль пойдет ко дну, лучше так... — и показал, как нажимают на спусковой крючок.

— Корабль стоит на банке. Он не затонет. А это брось, идем помогать!

В коридоре я наткнулся на лейтенанта Липецкого. Теперь мы были с ним равны, и он не командовал: «снять шапку». Свою мичманку я где-то потерял, и мои отросшие волосы прилипали к потному лбу. Я вышел опять на палубу. Жени и Кольки Иващенко я не встретил. Передо мной болталась вверх-вниз округлая корма траль-

щика. «БТЩ-218»,— прочел я на корме, поднял глаза выше и увидел Кукушкина.

— Прыгай сюда,— кричал Кукушкин.— Мы последние!

Тральщик отчаливал. Кукушкин кинул мне веревку, и я бросился, ухватившись за этот конец, в месиво воды и снега. Он вытащил меня на ходу. В последний раз я скользнул взглядом по палубе нашего корабля и увидел Васю Бубнова. Хотел ему что-то крикнуть и не мог. Кукушкин влил в меня через дрожащие зубы спирт, и я задремал стоя, потому что упасть было нельзя, так плотно стояли на тральщике люди.

Под вечер мы причалили к Гогланду. Я запомнил этот остров, когда мы шли на Ханко. Он был похож на купающегося двугорбого верблюда, поросшего зеленой шерстью. На прибрежном обрыве тогда стояла девушка в розовом платье, с распущенными волосами. У ее ног лежала рыжая собака. Девушка махала нам платком. Она нам улыбалась и что-то кричала. Что она нам кричала, мы не слышали, а улыбку видели без бинокля.

Мой клеш и бушлат заледенели и превратились в панцирь. Волосы перепутались и смерзлись. Я не мог сойти по трапу, а съехал по нему на спине. Я ввалился в землянку к зенитчикам, попросил их снять с моего пояса фляжку и растереть мне уши и руки. Остатки спирта я выпил и заснул около печки на нарах.

Встал я утром бодрый и здоровый. У меня даже не было насморка. Вечером мы тронулись курсом на Кронштадт. Что случилось с нашим подорванным кораблем, никто толком не знал.

Все наши из редакции были целы, и мы вместе погрузились на тральщик БТЩ-218. Тральщик тянул на буксире два торпедных катера. Они получили пробойны и идти своим ходом не могли. Месиво снега и воды становилось гуще и превращалось в лед. Острые льдины, отбрасываемые нашим винтом, быстро продырявили тонкую обшивку катеров. Катерники перебрались на тральщик и отрубили концы. Первый катер зарылся носом, накренился набок и пошел на дно, второй скрыли су-мерки.

Радист тральщика поймал в какофонии эфира Москву. Как сообщала оперативная сводка, наши части с боем взяли Ростов.

— Значит, начинается!— сказал мне Пророков.

Мы не могли молчать. Мы пошли в каюту командира, выпросили лист бумаги и через час вывесили «Окно сатиры». Это была последняя наша работа вместе.

В Кронштадте шел снег. Мы шли, тяжело ступая по скользкому булыжнику.

— Дай хлеба, дядя! — просил меня, забегая вперед, мальчишка лет шести, в разношенных отцовских валенках и фуфайке. Из-под надвинутой на глаза шапки выдавался острый носик и землистого цвета щеки. У меня в полевой сумке, кроме подмоченной подшивки газет, тетради со стихами и зубной щетки с полотенцем и мылом, ничего не было.

Я бы отдал мальчику мыло, но оно ему не требовалось.

Нашему полку дали новый номер, потому что знамя полка вместе с лейтенантом Липецким осталось на турбоэлектроходе.

О судьбе турбоэлектрохода никто не знал.

## Глава двадцать девятая, ПОЛКОВАЯ БАБУШКА

У Кукушкина заболел зуб.

В полку не было стоматолога, и Яша Гибель выписал Кукушкину направление в Ленинград в Стоматологический институт. Кукушкин вышел из Ново-Саратовской колонии, где мы тогда стояли после возвращения с Ханко, не помня себя от боли. Он шел и думал о своей жизни и о чем угодно, лишь бы отделаться от зубной боли. И, чтобы отвлечь себя от ощущения собственной боли, он начал думать о боли других. Прежде всего он вспомнил Автандила Чхеидзе.

Четыре дня назад случилось несчастье. Впрочем, оно началось раньше, когда мы пришли в Ново-Саратовскую колонию. Мы привыкли там, на Ханко, быть сытыми. А здесь, в Ленинграде, был голод. По сравнению с другими частями нас снабжали как аристократов, потому что мы были самыми сильными на всем фронте, и нас не пускали в бой, а готовили к какой-то более ответственной операции, об этом нам говорил сам Щеглов-Щеголихин.

Автандилу Чхеидзе триста граммов хлеба были все равно что слону пирожное. И наш богатырь страдал мол-

ча. Он худел на наших глазах, его могучие плечи горбились, и шинель болталась на них как на вешалке. Федотов пытался что-то стоношить для своего дружка на кухне, что-то приберечь,— Автандил злился на это и поругался с Федотовым.

— Я скажу комиссару, что ты поступаешь не честно!— кричал он в сердцах на Федотова и продолжал таить.

А четыре дня тому назад он взял три гранаты и незаметно ушел на задворки, и, когда мы прибежали в сарай, откуда раздался грохот, было уже поздно.

Боль стала еще острее, она прямо-таки разрывала на части всю голову, и Кукушкин начал вспоминать другое.

Когда быстроходный тральщик БТЩ-218, на котором шла группа прикрытия, подошел к нашему тонущему турбоэлектроходу и его начало бросать и бить волной о железную обшивку корабля, как яичную скорлупу, Кукушкин увидел на палубе Витю Чухина. Витя стоял около самых перил, держа на перевязи забинтованную левую руку в окровавленном и разрезанном до плеча рукаве шинели. Кукушкин помахал Вите, потому что кричать было бесполезно, и стал пробираться к борту. Он видел, как Витя Чухин, придерживаясь здоровой рукой, перелез через перила и, ухватившись за стойку, стал ловить подходящий момент для того, чтобы перескочить на тральщик. И вот волна стала подбрасывать тральщик кверху, приближая его к палубе. Витя прыгнул, но ляжка противогаза зацепилась за поручни, и он повис между бортами. Кукушкин не слышал Витинового крика, когда борт тральщика, ломая, как спички, кранцы, ударился о борт турбоэлектрохода. Это продолжалось какие-то секунды.

Зуб продолжал болеть. И Кукушкин вспомнил свою Пирамиду.

Проходили тактические учения полка. Капитан Червяков послал Кукушкина с донесением в штаб. Он пустил своего коня по лесной дорожке легким аллюром и быстро доставил пакет по назначению. Когда он ехал обратно, уже начало смеркаться, и Пирамида, сама по себе резвясь, перешла на галоп. А в это время саперы перекрыли дорогу проволокой. Пирамида сорвала колючку и упала. Кукушкин перелетел через ее голову и шлепнулся в мох.

Пирамида потыкала его мордой: «Вставай!»

Он встал и, увидев ее разорванную грудь, повел в по-

воду. Два месяца он выхаживал ее, отдавая весь сахар и лишний хлеб. Но так как он был живым человеком и ему тоже захотелось сахару, однажды он не отдал Пирамиде свою порцию. И сейчас думал про себя, что, наверное, его зуб и болит из-за этого сахара.

Кукушкин перешел Неву и вышел на проспект села Смоленского. Он шел по заметенной снегом тропинке, прикрыв от ветра раздувшуюся щеку рукавицей. Дорога была безлюдной. Навстречу ему попались только два грузовика, покрытые брезентом. Брезент был заляпан красными пятнами, из-под него выглядывали наружу сжатые в кулаки лиловые руки.

Немец обстреливал дорогу из дальнобойных орудий. Он все время переносил огонь, как бы сопровождая Кукушкина к Ленинграду. При первом разрыве Кукушкин, по старой привычке артиллериста, лег в снег. Потом перестал ложиться, а стал прятаться в подворотни. Бил немец методично — через каждые десять минут по снаряду. Это Кукушкин заметил по часам.

Где-то около сада Бабушкина, когда Кукушкину попались навстречу две машины с трупами, рваный длинный осколок от снаряда, с визгом рубанув по афишной тумбе, отскочил и ударил по переднему скату первой машины. Машина ткнулась радиатором в снег и остановилась. Сколько времени Кукушкин помогал шоферам перетаскивать трупы на вторую машину, — не помнит. Стало смеркаться, когда нагруженная машина уехала, а первая так и осталась торчать в снегу.

Зуб снова занял нестерпимо.

И Кукушкин вспомнил своего хозяина из Ново-Саратовской колонии.

Бывают же такие нелепости, думал он. Дело в том, что разведчиков поселили в дом к немцу-колонисту. Фамилия его была Крамер. Он был тощ и длинен, как божье недоразумение. Жена его ходила на сносях, а трое ребятишек, мал мала меньше, сидели на холодной печи, кутаясь в разное тряпье. Крамер был учителем. Его не успели эвакуировать. Он очень боялся, что его могут расстрелять как шпиона. Разведчики не считали его шпионом и делились с его семьей хлебом и супом, хотя нам самим триста граммов хлеба, сами понимаете, не хватало и на завтрак. Мы подозревали, что Крамер считает себя виновником войны и блокады и что все его, Крамера, ненавидят так же, как Гитлера. Таким уж он был робким и осторожным.

От этой робости он даже членораздельно говорить не мог, а только мычал что-то непонятное.

На Ханко нам не выдавали положенного денежного довольствия. А здесь выдали сразу месяцев за десять, да вдобавок к ним еще полевые. Короче, у нас завелись деньги. Девать их было некуда. Купить на них было нечего, и пристрастились мы в доме Крамера играть в очко. Застал однажды нас за этим занятием комиссар Щеглов-Щеголихин, но не отругал, а, к нашему удивлению, сел за стол и попросил карту. Проиграл он в первый раз порядочно, но встал из-за стола веселый и сказал на прощанье:

— Завтра отыграюсь!

Назавтра после отбоя мы опять сели. Банковал Кукушкин. Комиссар не обманул, пришел. Кукушкин предложил ему карту.

— Сколько у тебя в банке?— спросил комиссар.

— Девятьсот рублей, как одна копейка!— сказал Кукушкин.

Комиссар вынул сторублевую бумажку и положил в банк.

— А теперь сколько?

— Тысяча,— сказал Кукушкин.

Комиссар расстегнул планшет, подал Кукушкину лист бумаги и вечное перо и, сказав «пиши», начал диктовать встух для всех:

— «Мы, разведчики полковой батареи триста двадцать пятого полка, вносим в Фонд обороны тысячу рублей своих личных сбережений и призываем всех последовать нашему примеру».

Мы все расписались под этими словами с величайшей радостью. Комиссар сделал нас благородными.

Через день во фронтовой газете под маленькой заметкой стояли наши фамилии, и по всему фронту, следуя нам, началось это великое дело.

Ферапонт Головатый внес свой миллион в Фонд обороны после нас.

В полку появилась дизентерия. Надо было как-то помогать Яше Гибелю бороться с этой непристойной болезнью. Он нам всегда помогал, ангел нашего здоровья. Щеглов-Щеголихин вызвал нас с Борей Утковым к себе и попросил выпустить листовку.

На этот раз мы по просьбе комиссара (я нарочно пишу «по просьбе» — он редко приказывал) выпустили листовку в четырех экземплярах. Мы повесили раскрашенные листы слоновой бумаги во всех трех батальонах и в штабе полка. Листовка называлась:

## ВОКРУГ ВОПРОСА НАСЧЕТ ПОНОСА

Под рисунками, которые вам поможет нарисовать изображение, были такие стихи:

— Я пить могу и это и то  
И есть хоть сосновые палки.  
В моем животе стгнет долото,—  
Хвастался Обьедалкин.

В поход Обьедалкин однажды сходил,  
Воды кипяченой нету:  
Натаил он снегу, но не вскипятит  
И выпил водицу эту.

Вот тут катавасия и началась.  
Резь в животе и боли.  
Такая музыка подвнялась,  
А к вечеру и тем более.

Скис Обьедалкин. Повесил нос.  
Мечется, изнемогая.  
В тридцать струй прохватил понос,  
Мелких брызг не считая.

Он смертным холодом задрожал.  
Какой из него вояка,—  
Тридцать дней в санчасти лежал,  
Вылечился, однако.

Чтоб тебя хворать не заставило,  
Запомни простое правило:

Своим врагам в угоду  
Не пей сырую воду!  
И тогда твой живот без износа  
До ста лет проживет без поноса.

Кукушкин, вспомнив эти стихи, попробовал прочесть их вслух, но все равно не помогло. Зуб продолжал ныть, очевидно, потому что стихи не имели непосредственного отношения к зубной боли, которая прямо-таки раскаленными клещами разрывала челюсть.

Сумерки перешли в ночь. Ветер утих. Немец перестал стрелять из своего дальнобойного орудия. Наступила тишина. Огромная луна встала над тишайшим городом.

Кукушкин устал и, чтобы сократить расстояние, свернул с дороги на тропинку, перелез забор и пошел через кладбище Александро-Невской лавры.

И вдруг в этой тишине он услышал четкие удары топора. На морозе они были особенно отчетливы. Он прислушался и пошел по направлению звука. Кукушкин увидел какую-то странную фигуру, которая тюкала топором по основанию деревянного креста.

Проваливаясь в снег, Кукушкин подошел к этой странной фигуре и спросил:

— Что вы делаете?

Фигура выпрямилась и неопределенным голосом сказала:

— Не чужой рублю, а мужнин. А ты посильнее меня, взял бы да помог!

И, странное дело, Кукушкин сбросил полушубок и доделал начатое. Он начисто срубил память о бывшем человеке, расколочил в щепу, погрузил на санки и молча потащил за странной фигурой по безлюдному Старо-Невскому проспекту мимо вмерзших в сугробы троллейбусов, мимо обвисших под тяжестью инея бесполезных проводов и перевернутых, запорошенных снегом кроватей. Он дотащил санки до улицы Чайковского, до подъезда дома, от которого были видны в холодном свете луны деревья Летнего сада и черная решетка набережной Фонтанки.

За странной фигурой с неопределенным голосом Кукушкин протащил санки в подъезд и приставил их к стенке под лестницей, потом взял в охапку разбитый на щепки деревянный крест и поднялся на второй этаж по скользкой загаженной лестнице.

Фигура открыла какую-то дверь, и они прошли по бесконечному, длинному и темному коридору в самый его конец, потом вошли в комнату, и Кукушкин положил дрова прямо на пол под ноги.

— Спички есть?

Кукушкин чиркнул спичку и сначала увидел костлявую сморщенную руку, державшую гасик. Он подпалил фитиль и при тусклом свете мышиного глаза пламени увидел серое, как и рука, старческое лицо с живыми ввалившимися глазами, в зрачках которых колебалось красное пламя гасика.

— Сейчас будем ужинать,— сказала старуха.

Она разделась, развела в «буржуйке» огонь и поставила на огонь чайник. Кукушкин снял полушубок и шап-



ку и вытащил из противозага все свои богатства: кусок хлеба, полселедки и два куска сахара.

— Что у тебя?— спросила старуха, взглянув на его щеку.

— Зуб!— ответил Кукушкин.

— До свадьбы заживет.

На этом их диалог закончился — и, странно, боль стала затихать.

Потом старуха все кукушкинское богатство поделила на две равные части, одну спрятала в стол, другой они закусили и запили кипятком. Она дала Кукушкину подушку, и он, укрывшись полушубком и сняв валенки, улегся на диване. Хозяйка легла напротив в кровать и, потушив гасик, спросила:

— Невеста есть?

— Не знаю...— неопределенно сказал Кукушкин.

— Найдем невесту...— утвердительно промолвила старуха, и они заснули.

Проснулся Кукушкин от солнца и стрекота. Ясное зимнее солнце било ему в глаза и стрекотало, как десять тысяч кузнечиков. Кукушкин открыл глаза и удивился этому спокойному солнцу, а больше всего обрадовался тому, что зуб перестал болеть. Боль ушла вместе с опухолью. И мысли его были ясными и чистыми. Он открыл глаза и прислушался к стрекоту. Он увидел через раскрытую дверь в соседней комнате седую старенькую женщину. Она сидела у окна, вся от головы до ног пронизанная солнцем, белая и чистенькая. Она сидела за швейной машинкой, и хрустящая волна мадаполама сползала к ее ногам со столика, как пена, вся в солнечных бликах и зайчиках. Как только Кукушкин проснулся, она повернула в его сторону маленькую голову, поправила тонкой рукой сползающую седую прядку волос и посмотрела на него из-под очков чистейшими голубыми глазами. Посмотрела и сказала:

— Ну, здравствуй, гость! Встал? Давай завтракать.

Вот так Кукушкин и познакомился с Глафирой Алексеевной в страшную ночь под третье января тысяча девятьсот сорок второго года.

Глафире Алексеевне было тогда, как показалось Кукушкину, под семьдесят. Вся жизнь она прожила в доме у Фонтанки. Дом был предназначен для многочисленной царской прислуги. Молоденькая Глаша работала белошвейкой и жила в этом доме с матерью.

В 1905 году ей было восемнадцать лет. Она была красивой, веселой и любопытной. Может быть, ради любопытства, надев бархатную шубку на беличьем меху и белый шелковый платок, в морозный день девятого января она и выскочила из подворотни. Наверное, молодость ее вытолкнула на улицу. И она пошла на Невский и присоединилась к праздничной толпе и вместе с ней попала на Дворцовую площадь к царскому дворцу. Рядом с ней шел парень в бобриковом пальто с бархатным воротником и не сводил с нее глаз, а потом, осмелев, спросил:

— Барышня, а где такие красивые рождаются?

— Не для вас припасены,— ответила Глаша,— пойдите на другой улице.

— Мне эта улица больше нравится!

Так, болтая, они и дошли до площади.

А дальше все как-то смешалось в сознании Глаши. Она только помнит, как они бежали после выстрелов с этим парнем вместе, как завернули в какой-то переулок— и она перевязывала ему сквозную рану на плече белым шелковым платком. Перевязывала и плакала. И он утешал ее.

Она привела его домой и две недели, в очередь с матерью, ухаживала за ним, пока он не встал на ноги.

Через месяц слесарь Путиловского завода Николай Михайлович Мигунов переселился на второй этаж в дом царской прислуги. Через год принесла ему Глаша в подарок первого сына. Потом второго, потом третьего.

И Кукушкин увидел на стене в косых лучах ясного солнца в траурной раме портрет моряка с лихо закрученными усами, в кожанке и бескозырке.

— Это мой Коля,— сказала Глафира Алексеевна,— он умер в двадцать первом от тифа.

И Кукушкин взглянул на портрет ладного мужчины в косоворотке.

— Это первый сынок, Петя. Его застрелили кулаки в тридцать втором под Лугой.

И Кукушкин посмотрел на третий портрет — мужчины в морском кителе с нашивками капитана.

— Это Миша, второй,— сказала Глафира Алексеевна,— он погиб этим летом под Таллином.

И Кукушкин взглянул на четвертый портрет — молодого парня в футболке и опять услышал голос:

— Это Вася. Месяц назад он угодил под бомбу на Кировском.

И как бы в подтверждение что-то грохнуло почти за стеной. Наверное, проклятый немец опять стал стрелять из своего дальнобойного орудия. Портрет усатого комиссара в кожаной куртке покачнулся, и подернутые морозным налетом стекла вздрогнули.

Они жили все вместе. По одному коридору четыре комнаты и кухня. Три сына и три невестки. Пять внучат и шесть внучек. Все они были сняты на общей карточке, и седая бабушка, скрестив на коленях тонкие руки, сидела в середине. И эта карточка была обвита траурной лентой, и за ее рамкой лежало письмо летчика из соседней квартиры о том, как горела на Ладоге баржа, подожженная немецкой гадиной, а на барже были три невестки Глафиры Алексеевны, направлявшиеся с детьми в тыл, куда бабушка наотрез отказалась ехать, и спасти с баржи никого не удалось.

— Вы коммунистка?— робко спросил Кукушкин.

— Нет! Они были все коммунистами, а я была их матерью,— сказала Глафира Алексеевна и принялась за шитье.— Мне надо работать!

Она всю жизнь работала за своим «Зингером», который стрекотал как десять тысяч кузнечиков. Она работала от артели на дому.

Перед началом войны агент артели завез Глафире Алексеевне несколько кусков мадаполама и заказ на шитье детских распашонок. Началась война, началась блокада. Артель эвакуировалась в Буй и стала шить фуфайки. А Глафира Алексеевна все шила и шила детские распашонки.

— Вот погоди, кончится война, найдешь невесту, женишься, пойдут ребятишки,— вспомнишь меня, старуху!

Зуб у Кукушкина болеть перестал окончательно. Видимо, и вправду чужая боль пересилила собственную. Он вызвался сходить в магазин и выкупить для Глафиры Алексеевны хлеб по карточкам. Он дошел до угла Литейного и повернул направо. На самом углу он увидел ящик с песком. На ящичке сидела девочка.

— Товарищ,— позвала она Кукушкина слабым голосом. Кукушкин подошел.

— Я потеряла карточки. Я умру. Помогите мне!

А чем Кукушкин мог помочь? Он мог отдать ей хлеб Глафиры Алексеевны (она бы не заругала его за это), потом отвести девочку домой. Он так и сделал. Он выкупил в магазине триста граммов черного, как торф, хлеба,

завернул его в бумагу и побежал на угол. Он прибежал поздно. Девочка лежала в ящике с песком, свернувшись калачиком, и голубая жилка на тонкой прозрачной руке не пульсировала.

От Глафиры Алексеевны он направился к себе в Ново-Саратовскую колонию.

— Ну как, вытащили?— спросил его Яша Гибель.

— Вытащили!— соврал Кукушкин.

С легкой руки Кукушкина почти весь наш полк перемещался на улице Чайковского в бывшем доме царской прислуги в гостях у полковой бабушки, как мы стали называть Глафиру Алексеевну. Она не возражала.

И все, кто у нее бывал, верили в то, что сшитые ею детские распашонки непременно пригодятся.

### Глава тридцатая, ТАК УМИРАЛИ АРТИСТЫ

Полковая бабушка стала нашей совестью, нашим домашним миром, нашим оптимизмом.

Чаще всех у нее бывал Колька Бляхман. Он приносил ей наши подарки и рассказывал о последних новостях.

Бригада стояла теперь на подступах к Карельскому перешейку. Во всех подразделениях шла усиленная подготовка к наступлению. Бригаду не пускали в бой. Ее берегли, как основную ударную силу для будущих, самых решающих сражений на Ленинградском фронте. Все дни и ночи командиры и солдаты проводили в поле. Учение шло за учением, проверка за проверкой.

Я работал в самом Ленинграде, на Невском, 2, в редакции фронтовой газеты «На страже Родины», но часто на попутных машинах ездил в свой полк, в свою батарею к старым друзьям, и они по старой дружбе, бывая в Ленинграде, всегда заходили ко мне в редакцию. Если я в Токсове или в Осиновой роще попадался на глаза нашему генералу Симоняку, он оглядывал меня и говорил:

— Что, сочинитель, все еще не поправился? Иди на кухню, подкормись, потом приходи ко мне.

Однажды мы с Кукушкиным встретились около казармы запасного полка в Токсове и пошли в батарею. Не доходя до горбатого мостика через протоку между двух озер, мы услышали слабый стон.

На зеленой траве, на припеке, беспомощно сползая

по откоосу кювета, в брезентовых сапогах, в фуфайке, в черном платочке, завязанном тугим узлом под подбородком, лежала девочка или женщина — понять было трудно, так была она тоща, так голод снял с ее лица все индивидуальное. Ноги ее были настолько тонки, что сапог сам свалился с левой вытянутой ноги, и бумажный чулок закрутился штопором и обвис. Она лежала с закрытыми глазами, держа в руке две щавелинки, третий листочек щавеля прилип к запекшейся губе.

— Что нам было делать?

С первой зеленью, с первым теплым солнышком уцелевшие от голода люди, изнуренные им до конца, выползли за город в поисках чего-нибудь съестного.

— Отнесем ее к Яше Гибелю! — сказал Кукушкин.

Мы несли ее на руках по очереди километра три до санчасти. Она была легка, как перышко, и не приходила в себя всю дорогу.

Сначала Яша Гибель наотрез отказался принять ее:

— У меня не гражданский госпиталь, я не имею права, у меня всего три койки — и те заняты своими.

И все-таки мы уговорили Яшу. Мы обещали ему для этой женщины свой дополнительный паек. Мы отыскали на пустой даче койку и матрац и притащили в санчасть, мы выпросили у Доброговечера попону и чистую простыню и после этого сказали Яше Гибелю спасибо.

— Ты же свой парень, — говорил Кукушкин, — не умирать же ей, понимаешь? Ты же ангел нашего здоровья.

И Яша согласился с нами.

Вечером мы принесли в санчасть от Федотова котелок бульона и миску манной каши.

Женщине было восемнадцать лет. Звали ее Зина Скворцова. Она поела на наших глазах и заснула.

Как-то зашел ко мне в редакцию Колька Бляхман. Он был печален.

— Понимаешь, старина, я не могу с ними соревноваться. Они профессионалы, они кончали театральный институт, у них есть костюмы и реквизит, они настоящие артисты; когда они приезжают к нам, ребята перестают меня слушать. Мне придется возвращаться опять в пулеметную роту. Нет ли у тебя наставления по пулемету?

Я нашел в редакционной библиотеке наставление. Колька ушел, нелепо загребая полусогнутыми ногами, и

Колькин Чуб, когда-то вызывавший в нас чувство зависти, свисал на этот раз из-под пилотки без всякой лихости.

Я его познакомил с администратором фронтового ансамбля, но из этого тоже ничего не получилось. В ансамбле были тоже настоящие артисты, и наш полковой любимец уступал им во всем.

Колька сменял свои хромовые сапоги на кирзовые и командирскую шинель с золотыми пуговицами — на обыкновенную солдатскую и пошел в свою пулеметную роту.

На учениях он старался изо всех сил, он прямо-таки лез из кожи, чтобы не отстать от своих товарищей. И они не смеялись над его неумелостью, а добродушно шутили:

— Артистом ты уже стал, торопись теперь стать подносчиком патронов, а то не успеешь!

Коля Бляхман успел стать подносчиком патронов!

В сентябре началась, как говорили командиры, первая операция местного значения под Колпином у Теткиного ручья. Нам надо было там несколько расширить наш плацдарм и потеснить немцев.

Артиллерия всех систем, при поддержке береговой из Кронштадта, целую ночь перемешивала с землей передний край немецкой обороны. На рассвете пехота нашего полка при поддержке своих пушек взяла этот рубеж и, проскочив вперед, стала закрепляться, зарываясь в землю. Пулеметная рота занимала левый фланг ближе к берегу Невы.

За Теткин ручей перекочевала и федотовская кухня.

К вечеру немцы начали контрнаступление. Они ввели в бой новые части и пустили на окопы танки. От пулеметного расчета, в котором подносчиком патронов был Коля Бляхман, остался в живых только он один.

Ему перебило пулеметной очередью обе ноги. Танк шел прямо на пулемет. Бляхман знал свои силы. Он рассчитал в последний раз все. Это была последняя игра, поэтому он подпустил танк как можно ближе и швырнул противотанковую гранату прямо под гусеницы. Он кидал наверняка.

Танк остановился в двух шагах от пулемета и загорелся. Осколком своей же гранаты Бляхману раздробило висок. Он упал навзничь, откинув голову с черным чубом.

Быть или не быть? Он решил это по-своему, так и не дочитав до конца подарочное издание Шекспира.

В этом же бою погиб и Боря Утков.

Был он широкоплечим крепким парнем, плотным и ладным. Открытое загорелое лицо, вьющиеся русые волосы, голубые глаза с большими белками, милая улыбка и ослепительно белые зубы располагали и завораживали. Он был коренным ленинградцем и до армии учился в художественном училище. Он был самозабвенно предан своему искусству.

На Ханко во время войны он начал резать гравюры на ливолеуме. Мы вместе с ним выпускали листовки. Он делал рисунки, я — стихотворные подписи. В своем альбоме он сделал портреты почти всего полка. У него были свои планы, большие и продуманные до мельчайших деталей. Он собирался писать маслом серию картин о войне.

Он работал в редакции дивизионной газеты «Защитник Родины». В каждом номере был его рисунок или карикатура. Его знали в полку все, от командира до повара. Знали и гордились им, потому что видели в нем талантливого человека.

У него была квартира на улице Чайковского, и мы иногда вместе заходили к полковой бабушке, приносили свой фронтовой паек и то, что старшина не пожалел, и устраивали пиры с кипятком и хлебом. Он был веселым и общительным человеком, и если делал что-нибудь хорошее для других, глаза его светились и он улыбался трогательной, открытой улыбкой ребенка.

Он всегда был с полком: на отдыхе и на марше, на случайном привале и в бою. Он мечтал после войны поступить в Академию художеств и незаметно для других, исподволь готовился к экзаменам.

Он знал войну, как солдат, — во всех ее подробностях и тяготах и нес эти тяготы как должное, никогда не сетуя, не жалуясь.

Он погиб в бою. Пришел в роту на передний край вместе с журналистом Колей Черноусом, стал зарисовывать отличившегося в бою снайпера. Начался артиллерийский налет. Осколком снаряда убило командира роты. Немцы пошли в контратаку. Борис спокойно взял командование на себя, и все в роте считали, что это самый подходящий человек на место убитого командира. Он погиб в атаке, наскочив на свинцовую очередь немецкого автомата. И умер сразу. Пули прошли грудь и засунутый за отворот шинели альбом с недорисованным портретом.

Когда мне приходится бывать в Академии художеств,

ходить по студиям, глаза мои невольно, помимо моего сознания, ищут среди студентов ладную фигуру Бориса Уткова.

Ищут и не находят.

...О смерти Коли Бляхмана и Бориса Уткова мне рассказал Кукушкин спустя три дня после боя, забежав в редакцию. Он спешил к полковой бабушке. Да и разговор-то у нас не клеился.

У Глафиры Алексеевны кончился оставленный агентом артели мадаполам. Ей не из чего было шить детские распашонки. На занятом в этом бою немецком складе Добрыйвечер своим хозяйственным взглядом обнаружил два куска мягкой и легкой байки. Он припрятал ее на свою повозку и послал с Кукушкиным в подарок полковой бабушке.

И вот они сидят с Кукушкиным перед остывающими чашками чая и молчат. Кукушкин рассказал ей все и о Бляхмане, и об Уткове.

Кукушкин смотрит на стенку, где развешаны портреты в траурных рамках. Рядом с ними висит гитара. Гитару подарил бабушке Колька Бляхман. В пулеметной роте она ему не нужна. Там надо было играть с патронными ящичками. Колька Бляхман, заходя к нашей полковой бабушке, любил петь слегка дребезжащим голосом, подыгрывая себе на гитаре и безбожно фальшивя, старинный романс:

Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.  
Над озером белая чайка летит.

Наша полковая бабушка почему-то имела особое пристрастие к этому романсу, и всегда просила Кольку спеть его, и сама чего-то мурлыкала в такт музыке.

Теперь гитара больше не была нужна, и быстрая чайка никогда не сверкнет серебряным полумесяцем над утренним озером.

Рядом с гитарой висел репродуктор. Радио провел бабушке Боря Утков, чтобы она не скучала и была в курсе всех дел. Под репродуктором Боря приклеил карту, а сбоку от нее — портрет своей работы нашего генерала Николая Павловича Симоняка. Симоняк смотрел сейчас из-под тяжелых от бессонницы век на Кукушкина и на бабушку сосредоточенно и сурово.

Наш генерал тоже два раза бывал в гостях у полковой бабушки вместе с комиссаром Щегловым-Щеголихиным.



Кукушкин смотрел на стену и молчал. Потом попрощался с бабушкой и вышел на Литейный. Перед улицей Салтыкова-Щедрина он замедлил шаг. Прямо на него к Литейному шла рота. Но что это были за молодцы! Один к одному, ладные, высокие, как на подбор, в новых гимнастерках, в надраенных яловых сапогах, в суконных пилотках, перекрещенные желтыми португееми, румяные, веселые — просто загляденье! Они шли молча, и только согласный шаг подкованных сапог гулко отдавался на сером плитняке. Они шли по четверо в ряд, и, когда старшина скомандовал: «Правое плечо вперед! Арш!» — они развернулись к Кукушкину флангом, и он заметил у всех у них в петличках красные кубики лейтенантов. Значит, это было пополнение. Наверное, с Большой земли самолетом.

Хвост колонны плавно завернулся, и они двинулись к Невскому. И тогда-то над тишиной, над приниженностью слепых окон в такт покачиванию широких плеч возник тонкий, необычайно чистый голос:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром  
Москва, спаленная пожаром,  
Французу отдана.

И рота подхватила на полную грудь всем многообразием голосов:

Ведь были схватки боевые,  
Да, говорят, еще какие!  
Недаром помнит вся Россия  
Про день Бородина!

Из ворот выглядывали женщины. На улицу выбегали тонконогие ребятишки, останавливались с раскрытыми ртами, дивились на этих красавцев, бежали за колонной, пристраивались к ней и, неумело семеня, выравнивали шаги. Песня гремела, смешиваясь с глухим рокотом дальнего обстрела.

Кукушкин тоже пошел вслед за песней, незаметно для себя переходя на строевой шаг. Это было какое-то наваждение. Они шли и цели. И старшина, командовавший ротой, стал похож на Лермонтова.

Изведаль враг в тот день немало,  
Что значит русский бой удалый,  
Наш рукопашный бой!..

— Ножку! — крикнул старшина, и рота грянула!

Земля тряслась, как наши груди,  
Смешались в кучу кони, люди,  
И залпы тысячи орудий  
Слились в протяжный вой...

Так Кукушкин и дошел за ними до Витебского вокзала. Потом, когда песня, спетая в третий раз, оборвалась, повернул к Адмиралтейству, зашел в сквер и присел на парапет фонтана.

Перед ним был бюст Лермонтова. Осколок снаряда попал ему в левый и вышел в правый висок, так что бронза на выходе осколка завилась кольцом.

Отдохнув, Кукушкин прошел по набережной и, о чем-то задумавшись, медленно повернул на Литейный мост, и если бы в эту минуту его увидел наш генерал Симонык, то непременно бы остановил и отчитал: «Что ты ползешь, как беременная вошь по мокрой рукавице».

Наш генерал больше всего на свете не любил медлительности.

Симоныка рядом не было, но Кукушкин слышал другой начальственно-суровый голос, обращенный к нему:

— Товарищ красноармеец, почему не приветствуете?

Кукушкин выпрямился по команде «смирно» и, увидев перед собой незнакомого генерала, глядя прямо ему в глаза, четко и ясно отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор, согласно параграфа шестьдесят восемь Устава внутренней службы войск Красной Армии, рядовой состав вышестоящее начальство на мостах и переправах может не приветствовать.

Лицо генерала расплылось в довольной улыбке.

— Молодец, товарищ красноармеец, можешь следовать дальше.

— Есть!— сказал Кукушкин и пошел на Ржевку, где приводила себя в порядок после боя наша бригада.

А генерал пошел к себе домой на улицу Дзержинского.

## Глава тридцать первая, ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ

Генералу, его звали Игнатий Иванович, было трудно подниматься на шестой этаж в свою квартиру. Лифты в те времена не работали, и вода по трубам доходила только до третьего этажа. Игнатий Иванович останавливался на каждой площадке перевести дух. Ему было за шесть-

десять, но выправка старого военного делала его моложе своих лет. Он был подтянут и прям, все на нем было пригнано — от фуражки до шпор. Он любил шутя говорить молодым командирам, что у хорошего содержания должна быть хорошая форма. В первую мировую войну он командовал батареей гаубиц и отличался храбростью и отличными знаниями. Сам Юденич от имени Временного правительства предлагал ему пост командующего артиллерией. Игнатий Иванович отказался. А потом события развернулись так, что он как честный и образованный человек, видя, что старый мир прогнил до конца и его не спасешь оружием, одним ударом рассек гордые узел и пошел служить в Красную Армию. После гражданской войны он преподавал в Артиллерийской академии. Артиллерия была его коньком, и он знал ее в совершенстве. Сейчас он занимал должность инспектора артиллерии фронта.

Жена у Игнатия Ивановича умерла. Сын командовал под Москвой полком. Бывшую его квартиру по набережной разбомбили.

И тут случилась вот такая история.

Для удостоверения личности и наградного листа потребовались Игнатию Ивановичу фотографические карточки. Он зашел в первую попавшуюся мастерскую на Невском. Его встретила молодая высокая женщина с белокурыми косами, короной в три венца венчавшими гордо посаженную голову, с ямочками на в меру пухлом лице, с холеной мраморной кожей и чуть косоватыми, близорукими глазами. Пока она выписывала квитанцию, получала деньги и провожала в аппаратную, Игнатий Иванович смотрел на нее не отрываясь и удивлялся. И в генеральском сердце, суровом и строгом, как наставление по баллистике, появились признаки воска, а так как температура стала подниматься, то воск начал таять.

Пока Игнатий Иванович сидит перед аппаратом, я немного расскажу про эту женщину.

Ее звали Вика Викторовна. Ей было двадцать семь лет. Она родилась в Миллерове в семье паровозного машиниста. Она была единственной дочкой, и ее баловали, как могли и умели. Была красива. Все говорили ей об этом, и она охотно соглашалась. Ей пророчили карьеру актрисы, и она поверила в это. Приехала в Ленинград, провалилась на экзаменах и в театральный институт не

попала. Возвращаться в Миллерово не позволила гордость, и она вышла замуж за режиссера, который пообещал сделать из нее актрису без института. Режиссер оказался бездарным, как пробковый дуб, его выгнали с работы. Вике Викторовне встретился художник, который открыл в ней талант графика. Он преподавал в Академии художеств и обещал устроить ее туда. Он выполнил свое обещание, и Вика Викторовна стала вольной слушательницей. Что она не будет художницей, это Вика Викторовна поняла сама. Но она стала женой художника и его натурщицей. Художник был человеком веселого характера и любил жить, когда заводились деньги, на широкую ногу, и Вика Викторовна за три года привыкла к этому базару. Художник убедил ее в том, что у женщины самое красивое место — подколенная линия, и Вика Викторовна, поверив этому, стала носить короткие юбки. Ноги у нее в самом деле были красивыми.

Перед самым началом войны художника арестовали. Вика Викторовна осталась одна. Знакомый ее второго мужа, старичок-фотограф, помог ей устроиться в мастерскую секретарем и научил ретуши.

На этот раз она постаралась и отретушировала негатив Игнатия Ивановича по всем правилам. С фотокарточки на нее смотрел высоколобый гордый человек. И когда Игнатий Иванович через два дня явился за фотографиями, она улыбнулась ему, сверкнув зубами и потупив косоватые глаза.

Игнатию Ивановичу пришлось подыскивать новую квартиру — ему было неудобно показывать Вике Викторовне, что на шестой этаж в шестьдесят лет без лифта подниматься трудно. Но что поделаешь — эта квартира понравилась очаровательной женщине, сделавшей его молодым. И он шел наверх, придерживая правой рукой бьющееся под кителем сердце.

Отдышался и постучал в дверь.

Щеколда целкнула, и он вошел и поцеловал ручку. И Вика Викторовна пошла в комнату легко и грациозно в китайском халате невероятной расцветки, разрезанном сзади так, чтобы была видна подколенная линия.

Для человека в шестьдесят лет эта линия поет по-особому.

Игнатий Иванович переоделся в теплую пижаму, снял сапоги, надел теплые туфли и сел в мягкое кресло у своего стола. Из кабинета, через раскрытые двери сто-

ловой, была видна комната Вики Викторовны. Хозяйка присела около зеркала и занялась маникюром.

Игнатий Иванович провел ладонью по глазам и почему-то вспомнил Кукушкина, его мгновенно преобразившееся лицо и глаза, сверкнувшие лукавством, его ладную фигуру, крепкие плечи и четкий голос. Он взял с полки устав внутренней службы. Никакого параграфа о мостах и переправах не было в уставе. Здорово провел.

— Все равно молодец!— сказал вслух Игнатий Иванович.

— Кто молодец?— спросила, не повернув головы, Вика Викторовна.

— Это я так, про себя. Не попить ли нам чаю?..

А Кукушкин пришел в батарею и стал помогать Федотову восстанавливать на стволе пушки сбитую осколком надпись «Смэрть Гитлеру!». «Э» оборотное они так и не переделали на «Е». Они считали это кощунством перед памятью Чхеидзе.

И опять потянулись бесконечные дни и ночи тревог и учений.

Начала завариваться каша под Сталинградом и на Кавказе, под Москвой тоже начинала разворачиваться наша пружина на полную отдачу. И только гангутцы под Ленинградом продолжали ползать по-пластунски, пропадать в тире и на полигоне. А немец продолжал бить из своего дальнобойного орудия по Ленинграду и сыпать бомбы с темного октябрьского неба.

— Приготовиться,— сказал капитан Червяков,— завтра будет проверка!

Моросил мелкий дождь и смывал ночную изморозь с пожелтого репейника. Батарея выстроилась на плацу и застыла, равняясь на Федотова. И Кукушкин заметил, кося глазом, как из дверей казармы выходят, направляясь к капитану Червякову, наш генерал Симоняк и еще один генерал, так похожий на того, которого он обманул на Литейном мосту.

Капитан Червяков отдал рапорт, и батарея поздоровалась; крепкие голоса батарейцев глухо прокатились в низком небе. Артиллеристы стояли как каменные, расправив груди и затаив дыхание. Оба генерала прошли вдоль строя с правого фланга до левого. И Кукушкин чуть отвел в сторону глаза от пристального взгляда инспектора.

Потом капитан Червяков скомандовал: «Вольно!» Сол-

даты расправили плечи и вздохнули полной грудью. Генералы, о чем-то разговаривая, прошли снова на правый фланг, потом остановились против Кукушкина, и наш генерал скомандовал Кукушкину:

— Три шага вперед!

«Суток пять, наверно, дадут»,— подумал про себя Кукушкин и вышел из строя.

— Благодарю за службу,— сказал Симоняк,— теперь у тебя будет новый начальник. Сдай оружие и возьми аттестат на довольствие!

Так Кукушкин стал адъютантом и шофером инспектора артиллерии. Он мотался со своим генералом на старенькой «эмке» по разбитым дорогам от Токсова под Колпино, из-под Колпина — под Пулковские высоты, привык спать в машине, если выпадало время, и кормиться на любой походной кухне.

У генерала было много работы, и он редко заезжал домой. Он привык даже высыпаться в «эмке» — откинет голову на сиденье и спит.

— Кончится война,— шутил генерал,— направляю я тебя, Кукушкин, в комиссию по составлению уставов.

Кукушкин улыбался. Сначала ему очень не хотелось уходить из своей батареи, потом он свыкся. Отношения его с генералом были хорошие и доверительные.

Однажды отправил Игнатий Иванович Кукушкина с посылкой к себе домой, на улицу Дзержинского, и дал ему отпуск на сутки для своих личных дел. Кукушкин хотел провести это время у полковой бабушки, но все получилось иначе.

Он взбежал на шестой этаж и постучал в дверь. Его встретила Вика Викторовна в пестром китайском халате с разрезом. Она пригласила его на кухню и, взяв у него вещевой мешок, стала раскладывать продукты в кухонный шкафчик, потом, как бы невзначай, взглянула на Кукушкина, улыбнулась уголками губ, отчего ямочки на матовых щеках стали отчетливей, и сказала, всплеснув руками:

— Боже мой, да вы садитесь. Сейчас я поставлю чай, и мы познакомимся. Я только воды принесу.

Кукушкина не надо было учить вежливости. Он взял ведро и принес воду. Потом он заметил пустую ванну, стоящую в кухне, и наносил воды про запас.

К этому времени поспел чай.

Вика Викторовна пригласила его в столовую.

На столе появились бутылка коньяку «ОС», колбаса, шпроты, хлеб, масло, чай и сахар. Кукушкин привык есть из котелка и сейчас, растерявшись, не знал, за что прежде всего взяться.

— Прежде всего нам надо познакомиться. Как вас зовут?— спросила Вика Викторовна.

— Кукушкин.

— А имя?

— Зовите меня просто Кукушкин.

— Послушайте, просто Кукушкин, а не выпить ли нам ради знакомства?

И они чокнулись хрустальными рюмками.

После четвертой рюмки пестрый китайский халат на высокой груди Вики Викторовны немного раздвинулся, и округлившаяся выемка между высоких грудей так и приковала глаза Кукушкина. Вика Викторовна перехватила этот взгляд и, небрежно подняв руку, дала возможность халату распахнуться шире. Кукушкин опустил от стеснения глаза и увидел ноги Вики Викторовны в шелковых чулках и обе подколенные линии. Голова его сладко закружилась, и глаза расширились.

Потом Вика Викторовна захотела показать Кукушкину всю квартиру, которую она убирала своими руками. Прежде всего они зашли в спальню, и хозяйка устало присела на низкую широкую тахту со множеством подушек.

— Ну, просто Кукушкин, садитесь,— и чуть подвинулась, освобождая около себя место.

Дальнейший осмотр квартиры не состоялся. Этим заниматься было некогда — Кукушкин занялся изучением подколенной линии.

Он проснулся на мягкой теплой руке Вики Викторовны, и теплые мягкие волосы щекотали его щеку.

Вика Викторовна открыла глаза и потянулась.

— Ну что, просто Кукушкин, теперь ты в моих руках?

— Пока еще только на руке...— сказал Кукушкин и окончательно проснулся. Над тахтой во всю стену висел ковер. На нем были развешаны сабли и пистолеты. В про светах между штор сквозило чистое синее небо. В синем небе, как киты, отдыхали аэростаты воздушного заграждения. Их сети шевелились, как водоросли в неподвижной глубине. В спальне, в столовой и в кабинете виднелись картины, и на всех картинах была изображена женщина, похожая на Виду Викторовну.

— Это Маковский, — сказала Вика Викторовна. — Я его коллекционирую. Он на всех картинах писал свою жену. Мне говорят, что я на нее похожа. Правда, просто Кукушкин, похожа? — и прижала его голову к своей щеке.

— Теперь я в ваших руках, — сказал Кукушкин.

К полковой бабушке в этот раз он так и не попал.

Тайный червь неосознанной подлости сделал Кукушкина замкнутым. Игнатию Ивановичу некогда было замечать этого, работы у него прибавилось. Они снова начали мотаться по всему фронту, из армии в армию, на своей «эмке».

Но земля круглая, и тайна, как капля ртути на глобусе, на земле удержаться не может. Она обязательно скатится.

Сначала разыгралась трагедия.

Игнатий Иванович послал Кукушкина с очередной посылкой к себе домой и попросил дождаться его дома. Кукушкин зашел на шестой этаж, и губы Вики Викторовны снова нашли кукушкинские губы, и широкая турецкая тахта опять осталась молчаливой свидетельницей изучения подколенной линии.

Вечером пришел Игнатий Иванович, и они втроем уселись пить чай.

— Я пойду в комендантский, — сказал Кукушкин.

— Ночуй у нас, — сказал Игнатий Иванович.

Запасной койки в квартире не было. Поэтому на ванну в кухне были положены доски. На доски Вика Викторовна положила тюфяк, подушку, одеяло, и Кукушкин, пожелав хозяевам спокойной ночи, лег на это сооружение и стал засыпать.

Игнатий Иванович тоже заснул. Спать не хотелось только Вике Викторовне. Ей захотелось посмотреть, как спит Кукушкин, и проверить, хорошо ли он укрылся одеялом. Она встала с тахты и пошла на кухню. Присела на край постели и погладила Кукушкина по волосам. Потом ей захотелось проверить, тепло ли у Кукушкина под одеялом. Кукушкин подвинулся, и она легла. Но проклятые доски от этого передвижения разъехались, и они оба, вместе с тюфяком, рухнули в воду. На этот страшный грохот прибежал Игнатий Иванович.

Кукушкин был готов к чему угодно — к пощечине и к выстрелу. Ни того, ни другого не последовало. Игнатий Иванович зажег свет и, увидев происшедшее, как умный стратег, всю обстановку оценил по-своему.



Трагедия стала переходить в комедию.

— Иди и переоденься,— сказал он Вике Виктороне,— потом принеси пару моего белья, ему тоже надо переодеться.

Через десять минут Кукушкин в полной форме стоял перед Игнатием Ивановичем в его кабинете.

— Отпустите меня в батарею,— просил Кукушкин.

— Что ж, иди! Так будет для тебя лучше!

И все женщины с картин Маковского посмотрели вслед Кукушкину и недоуменно пожали плечами.

## Глава тридцать вторая, ПРУЖИНА ДАЕТ ОТДАЧУ

Вдоль Невы от Шлиссельбурга по правому берегу стояли наши. По левому берегу оборону держали немцы. Им так и не удалось перескочить через Неву. Оба берега были изрыты блиндажами и переходами и перепутаны колючей проволокой. У правого берега лежали вмерзшие в лед немецкие разведчики. У левого берега лежали наши. Поземка с Ладоги заметала черную воду в воронках от снарядов и окоченевшие трупы. Искромсанные деревья на том и другом берегу чернели в белых, с грязными подпалинами от разрывов сугробах. Стоял декабрь, и мороз каждую ночь наращивал на Неве лед. На этот раз мы были благодарны морозу. Между берегами шла непрерывающаяся перестрелка из всех видов оружия. Пули состригали прибрежный ивняк, и мины визжали не переставая. И на том, и на другом берегу из-под прокопченных накатов укрытий через стекла биноклей и стереотруб днем и ночью велось наблюдение. Темные метельные ночи освещались сполохами ракет.

Наша бригада растянулась от Шлиссельбурга к Невской Дубровке. Мы углубили окопы и ходы сообщений до полного профиля, построили дополнительные блиндажи и капониры. Мы наблюдали за левым берегом, каждый намечая для себя ориентир. Нам надо было перескочить через Неву, взять штурмом левый берег и пойти дальше — на соединение с Волховским фронтом. Мы ждали.

Шесть орудий нашей батареи были рассредоточены по батальонам. В поддержку бригаде выделены две артиллерийские дивизии, минометные и саперные батальоны

и части специального назначения. На каждый метр наступления — два артиллерийских ствола. Все это подходило и сосредоточивалось на правом берегу. Указательный палец лежал на спусковом крючке. Боевая пружина была сжата до отказа.

Фотография левого берега и карты с отметками огневых точек немцев, по мнению капитана Червякова, не давали полной картины огневой системы обороны немцев. Попробуй разберись на фотографии — дот это или холм.

Капитан Червяков сидел в блиндаже разведчиков и рассматривал с лейтенантом Пушковым карту левого берега.

Кукушкин смотрел, не отрываясь, в окуляры стереотрубы. Он видел песчаные осыпи с обнаженными корнями деревьев, колючую проволоку, бруствер окопа, приблизительно угадывая амбразуры пулеметов; он видел вмерзших в лед у самой кромки левого берега наших разведчиков.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться,— сказал Кукушкин.

— Что там такое?— не отрываясь от карты, тихо спросил капитан.

— Я могу нарисовать левый берег. Ночью надо перебраться к левому берегу и вытащить сюда к нам хотя бы одного нашего мертвого, а я лягу на его место и весь день буду смотреть, потом вернусь и нарисую.

— Немцы заметят следы и откроют по тебе огонь.

— Каждую ночь метет метель. Не заметят.

— Готовься!— сказал капитан.

Три ночи провожали разведчики Кукушкина к левому берегу. Три ночи ветер с Ладоги заметал его снегом. Три дня, не отрывая глаз, он смотрел за левым берегом. Три раза, возвращаясь обратно, прозябший до мозга костей, отогреваясь у печки и растираясь спиртом, он садился за дощатый стол капитана Червякова и рисовал все, что видел.

Три километра левого берега с каждой ложбинкой и кустиком, с каждой выемкой и бугорком были нанесены на лист ватмана. Рисунок не блистал мастерством, но он был предельно точен, а войне, как известно, нужна точность, а не импрессионизм.

Кукушкина вызвал к себе в блиндаж командир бригады генерал Симоняк.

У стола вместе с нашим генералом рассматривал кукушкинскую схему инспектор артиллерии Игнатий Иванович и комиссар Щеглов-Щеголихин.

— Орел!— сказал Кукушкину генерал Симоняк.

— Он далеко полетит,— подтвердил инспектор артиллерии.

— Как думаешь, комиссар,— сказал Симоняк, обращаясь к Щеглову-Щеголихину,— эта картина стоит ордена Отечественной войны первой степени?

— Стоит!— подтвердил комиссар.

— Пиши представление. А ты, орел, иди отоспись, утром много дела будет.

Я тоже три дня мотался по правому берегу Невы из блиндажа в блиндаж, из роты в роту, и за три дня мне не удалось сомкнуть глаз. Я брел по ходу сообщения на командный пункт батареи, спотыкаясь от усталости. Сон наваливался на плечи каменной тяжестью. Я пробовал оттирать щеки снегом, но это мало помогало. Навстречу мне попался Кукушкин, и мы пошли километра за три от берега в санчасть полка чуть-чуть поспать и отогреться.

Яша Гибель занял под санчасть двухэтажное каменное здание школы. В школе было чисто и тепло. По всему полу стояли брезентовые носилки ряд к ряду. Яша нам обрадовался. Мы вымылись в походной бане, сменили белье, съели по котелку горячих щей, а перед щами пропустили по стаканчику медицинского спирта. Нас окончательно развезло.

Яша предложил нам отдохнуть на расставленных носилках.

Мы легли, укрылись полушубками и заснули как миленькие.

Мы спали и не видели, как, разрезая темную ночь, взвились над Невой три сигнальные красные ракеты.

Мы не слышали, как ударила по всему фронту наша артиллерия и левый берег вздрогнул под обвальным грохотом обстрела, как полтора часа не переставая бушевала эта стихия огня и грома, как потом этот гром сменился раскатами «ура» и трескотней автоматов, как наша пехота всей неисчислимой прорвой свалилась с правого берега на лед и двинулась и потекла к левому берегу, захлестывая на своем пути все.

Мы не видели, как Федотов первым спустил с откоса «Смэрть Гитлеру!» и расчет потащил ее за стапивы,

как выронил можжевелевую палку из рук капитан Червяков и, споткнувшись о пулю, свалился под ноги бегущим.

Мы ничего этого не видели и не слышали. Мы спали каменным сном. И милый наш Яша Гибель позабыл нас разбудить. Ему некогда было нас будить. Стали поступать раненые. Санитары вытаскивали носилки из операционной и подвешивали их в кузова санитарных машин.

Я очнулся от приятной теплой волны, обдавшей все тело, и открыл глаза.

В нос мне ударил запах йодоформа и пота. Прямо передо мной стоял командир третьей роты лейтенант Салтан с окровавленной отвисшей челюстью, рядом со мной в ванне сидел Кукушкин и удивленно смотрел на пожилую женщину, которая намыливала ему голову. Рядом с ванной Кукушкина я увидел его окровавленный полусубок.

Я взглянул через борт своей ванны на пол и увидел свой полусубок, черный от подтеков крови. «Что же с нами произошло?» — подумал я и тут же услышал усталый внимательный голос и почувствовал прикосновение к своему плечу чьей-то руки. Меня тоже, как и Кукушкина, мыла пожилая женщина.

— Милый, куда ты ранен?

Я ощущал и оглядел себя всего. На моем теле не было ни одной царапины.

— Ты контужен, милый? — опять спросила женщина.

Я пожал плечами, потряс головой. Чувствовал я себя великолепно.

— Оказывается, я здоров!

И вдруг лицо женщины преобразилось, и глаза стали злыми.

— Что же ты мне голову морочишь, ты что, дезертир, что ли? А ну одеваться, живо!

И я выскочил из ванны как ошпаренный, словно передо мной стоял сам генерал Симовяк.

Кукушкин тоже был цел и невредим. Мы оделись, и пожилая женщина, забрав наши ремни с пистолетами, вывела нас из обмывочной и пошла по бесконечному коридору и всю дорогу приговаривала:

— Люди воюют, Ленинград освобождают, через Неву перешли, а вы — в госпитале укрываться! Хороши молодчики, ничего не скажешь.

Нам в конце концов надоели эти причитания. Что мы, виноваты, если нас Яша Гибель в спешке позабыл раз-

будить, а санитары погрузили в машину, но возражать было напрасно, и мы шли за этой пожилой измученной женщиной, покорные, как волы.

Мы вошли в просторный кабинет комиссара госпиталя. За столом сидел лохматобровый человек с тщательно зачесанной лысиной. Это была удивительная прическа. О ее хозяине можно было бы сказать стихами, что он

Зачесывает горячо  
И бодро из-под мышки  
На лысину через плечо  
Последние излишки.

Пока наш конвоир докладывал комиссару, положив ему на стол наши пистолеты и ремни, Кукушкин начал пристально присматриваться сначала к необыкновенно укрытой лысине, потом к бровям комиссара, потом взглянул на стену, где под громадным портретом Верховного Главнокомандующего, в тени его рамки, висела небольшая фотография совсем молодой девушки. И Кукушкин вспомнил Лидию Васильевну из клюкинской школы, и не успел комиссар встать и ударить кулаком по столу, как Кукушкин сказал:

— Петр Иванович Филин, товарищ старший батальонный комиссар, я ваш бывший ученик из клюкинской школы Кукушкин...

Дальше все пошло как по маслу. Разговаривать нам было некогда. Санитарных машин из-под Шлиссельбурга приходило много, и мы еще засветло добрались до переправы.

Через разбитый лед по деревянным настилам на левый берег перебрались танки. Регулировщицы с красными повязками на рукавах размахивали флажками, указывая дорогу подходившему подкреплению. Из-за низких туч прямо на голову с визгом сваливались «хейнкели» и, скользя на брющем, сбрасывали бомбы и взмывали вверх. Оглушительно лаяли наши зенитки, и дико ржали раненые кони, земля дымилась в рыжеватых подпалинах тола и в черных прогалинах пороха.

— Торопитесь! — кричали нам встречные раненые. — Торопитесь, а то не успеете, еще немного осталось!

И мы бежали по раскромсанному льду через Неву, туда, на левый берег, за кромку в щелы разнесенного перелеска, туда, где багровело низкое небо, где резко и глухо перекатывалась громовая стихия наступления.

Мы нагнали нашу батарею километрах в четырех от берега, за Марьиной рощей. Говорят, что тут раньше был лес и поселок. Сейчас была видна только горелая торфяная земля, перемешанная со снегом. Ни пня, ни дерева — все искромсано и перекорено. Мы стали с ходу помогать Добромувечеру разгружать снарядные ящики с подоспевшего тягача и подтаскивать их к орудиям. Наблюдательный пункт был где-то впереди. Батарея вела беглый огонь. Федотов сбросил полшубок и шапку, его гимнастерка дымилась.

Лейтенант Пушкив с наблюдательного требовал огня. Видимо, немцы шли в контратаку, сосредоточив свои подкрепления на втором рубеже своих укреплений. К ночи наше наступление застопорилось. Неразборчивый гул затихал, можно было слышать отдельные разрывы.

Мы поползли с Кукушкиным на наблюдательный к лейтенанту Пушкиву, пригибаясь под трассирующими очередями, беззвучно стегавшими откуда-то слева.

— Пошла! — сказал Кукушкин.

— Что пошла?

— Победа пошла!

Следующие двое суток мы торчали перед этой разбитой высоткой за Марьиной рощей, где засели немцы. Мы били по ней, не жалея снарядов, но она огрызалась пулеметами и пушками и не давала нам подняться. Осколками начисто соскоблило надпись «Смэрть Гитлеру!» со ствола федотовской пушки, искривило прицельную рамку и погнуло щит.

Немцы держались за эту высотку изо всех сил.

Но им не удержаться — это мы знаем.

Пришел третий день, и мы не сдвинулись с места ни на шаг. Ночью мы подтянули пушки ближе к высоте. Кукушкин подошел к лейтенанту Пушкиву. О чем они говорили и советовались, я не слышал.

— Я пойду один, — сказал Кукушкин, — у кого есть теплый жилет под фуфайку и меховые рукавицы? Я обойду их справа.

И он ушел в ночь, и трассирующие очереди пулеметов перекрестили его дорогу.

На правом фланге занятой немцами высоты был дот. Он стоял за валунами. Наши снаряды были ему нипочем. Авиация его не успела обработать. Кукушкин опять вспомнил малуевский лес, вспомнил Порфишу Атюнова, забрал гранаты и парабеллум и уполз.

Мы не спали всю ночь. Мы вглядывались в темноту не смыкая глаз.

На рассвете Пушков первым в бинокль заметил Кукушкина. Бинокль переходил из рук в руки, от глаз к глазам. Мы все видели Кукушкина. Он лежал за камнем в пяти шагах от дота. Его не видели только немцы, он лежал в мертвой полосе, в пяти шагах от их мороженого немецкого носа.

Немцы заметили, что мы переменили позицию, и первыми открыли огонь. Фонтанчики снега и мерзлой земли вспыхнули перед пушкой Федотова.

Кукушкин встал в полный рост. Это нам было видно без бинокля, через прицелы карабинов и автоматов, готовых выстрелить. Он прыгнул на крышу дота. Мне даже показалось, что он сказал сквозь зубы: «Чик — и нету!»

Сколько он опустил гранат в трубу этой берлоги, я не знаю. Как он успел спрыгнуть с этого горба и снова укрыться за валуном, я не видел.

Я только видел столб дыма и огня, слышал трескотню справа и слева. Я увидел отрывающиеся от земли, бегущие фигуры с перекошенными ртами и над брустверами немецких окопов дрожащие ладони, устремленные к небу.

За высоткой было поле, за полем торчали обгорелые трубы бывшего Пятого поселка. Люди бежали туда, где закипала земля черными клубами дыма, ветер сносил этот дым в сторону Ленинграда и обнажал пламя; и через это пламя, через визг и грохот я увидел бегущее нам навстречу красное знамя; яркое и трепетное, оно росло в наших глазах во весь горизонт, и наши глотки наполнялись криком радости и жизни, криком торжества и победы, криком ликования, граничащим с безумием.

Навстречу нам шли волховчане.

Мы обнимались и целовали друг друга в небритые щеки.

Мы не обращали внимания на выползавших из-под земли немцев. Они ждали, что мы будем делать с ними, и поднимали руки.

Мы разожгли костры и угощали друг друга всем, чем могли угостить.

Каждое событие на войне оставшиеся в живых после этого события восстанавливают в памяти по своим погибшим друзьям. В этом есть самая естественная правда

человеческой души, нерушимая связь живых и мертвых, незримый поток вечного движения жизни к победе.

К вечеру батарейцы, собравшись у костра, отпылав радостью победы и пережив ее хмель, сидели молча.

Костер потрескивал и сыпал искры. Спать не хотелось. Хотелось молчать. И к нам подошел молча наш генерал Симоняк. Он рукой показал, чтобы мы не вставали, а, подогнув полу шинели, присел с нами на какой-то чурбан, снял шапку, поставил между колен суковатую можжевелевую палку, вырезанную капитаном Червяковым из песта нашей палатки, и протянул к огню озябшие руки.

С генералом пришел полковой писарь Половнев.

Половнева мы звали Калининим.

Он всегда ходил после каждого боя за нашим генералом по всем подразделениям. В его руках был мешок с медалями. Генерал награждал отличившихся героев, а Половнев выдавал медали и записывал номера, чтобы потом выдать удостоверения.

Половнев тоже присел около костра.

У генерала кроме нашего горя было собственное горе. Два года он не видел свою семью. Военный совет фронта решил порадовать нашего генерала: видя, что дело идет на успех, командование послало за его семьей в тыл через линию фронта специальный самолет. Вместо самолета обратно пришла телеграмма о том, что самолет сбит.

Награждение на этот раз не состоялось.

Генерал просто пришел посидеть с нами. Вместе горе переживать легче.

Красные языки пламени играли на его квадратных скулах, и тяжелые монгольские веки, набухшие от бессонницы, упрямой тяжестью прикрывали глаза. Он молча чокнулся с нами крышкой котелка, наполненной трофейным ромом, сплюнул, вытер небритый подбородок рукавом шинели и встал. Он пошел к другим кострам, опираясь на палку. След в след за ним пошел Половнев, закинув позвякивающий медалями мешок за спину.

Ночь была тихой. И где-то рядом, буравя эту тишину, усилители с драндулета наших распропагандистов огласили ее диким, несуразным, бесшабашно-лихим голосом:

Сады, садочки,

Цветы, цветочки,

Над землей проносится военный ураган!



## Глава тридцать третья, С НОВЫМ РАССВЕТОМ ВСТАЕТ ТИШИНА

Кукушкин не думал о смерти.

Ему некогда было думать о смерти. Война для него была трудом, делом тяжелым, опасным и необходимым. Опасность была везде; ее было так много, что она теряла свою остроту и казалась обычной, естественной. Это было защитным панцирем, выработанным самим характером, незаметно от разума и воли. Чувство опасности притушилось, но не исчезло. Взамен его появилось смешанное чувство: фатализм и какое-то безразличие к смерти. «Все равно со мной ничего не может случиться, — думал про себя Кукушкин, — я должен пройти невредимым до конца войны, до победного нашего дня, иначе не должно быть, иначе не может быть». И это упрямство помогало сохранять силы, принимать мгновенные решения в самой сложной обстановке и находить единственно правильный выход.

К упрямству надо еще прибавить долю везения. Кукушкину действительно везло. Он был как заколдованный. Вся адская механика войны не задела его ни разу.

— Победа будет за нами! — говорил народ.

«Победа будет за мной!» — думал Кукушкин.

Энергия океана передавалась капле, и капля, в свою очередь, чувствуя энергию океана, считала, что океан без нее неполный. Тут была железная взаимосвязь человека и народа. Общее горе заставляло забывать личное горе, так как личному горю не было возможности расти до общего горя.

У него ни разу в душу не закрадывалось сомнение, даже в самые тяжелые минуты, что победят они, а не мы. Они начали первыми, и их волна на спаде даже дохлестнула до Ленинграда и до Москвы, но у этой волны не хватило сил идти дальше. Она была остановлена. Инерция мгновенности была потеряна.

После прорыва блокадного кольца под Шлиссельбургом нашу бригаду переформировали в гвардейскую дивизию. Нас не зря выдерживали. Мы оправдали ожидания. Мы стали ленинградцами. Мы кровно породнились с этим городом.

По топкому берегу Ладоги в Ленинград с Большой земли пошли поезда. Город оживал. Капусту и картошку можно было сажать не только на Марсовом поле.

Летом корпус перебросили под Сиявинские болота. По горло в торфяной жиже дралась ленинградская гвардия. Она мало подвинулась вперед, но она сдвинула с места немцев. Главное было — сдвинуть. В немцах было что-то механическое, и в этом механизме была сломана самая главная пружина. Механизм шел только по инерции. Правда, у механизма была большая масса и его нельзя было остановить сразу.

Когда в январе сорок четвертого года по осыпям щебня и мерзлой, развороченной снарядами и бомбами глине ленинградская гвардия скатилась на немецкие траншеи с Пулковских высот, Кукушкин понял, что начинается окончательное. Поэтому он и прислал мне из-под Кингисеппа всего два слова «Наша пошла!» — и они были выразительней оперативной сводки. В них была душа солдатского наступления, душа самого народа.

Колонны немецких пленных вели по ленинградским улицам. Они были униженно жалки и в этой своей жалкости приобретали нечто человеческое.

Теперь с нашей земли, разворачиваясь как пружина, шла наша волна, наращая силу в разбеге. У этой силы был не механизм, а разгневанная душа несправедливо обиженного океана.

— За Сталина! — орал Кукушкин, поднимаясь в штyki перед горящей Гатчиной. И в это «За Сталина» он вкладывал всю свою душу, все свое представление о мире, весь свой мир, как будто Сталин был его собственным «я», его присягой и совестью, верой и надеждой. Он не имел каких-то реальных очертаний, у него не было границ, как у мысли, как у любви, как у ненависти.

— Когда ты будешь вступать в партию? — спросил Кукушкина начальник политотдела корпуса полковник Щеглов-Щеголихин.

— Сейчас это сделать очень просто, — ответил Кукушкин. — Я приду к вам за рекомендацией после войны, я не хочу делать святое дело в спешке.

Первый салют осветил январское небо Ленинграда. Вдоль Невского загорелись огни. Медный всадник стряхнул со своих плеч опалубку и защитную землю, грозный

конь поднял передние копыта, и рука страшного всадника простерлась в сторону заката. История тоже вступила в строй и пошла в наступление. Разноцветные ракеты, как цветные водоросли, переплелись над Дворцовым мостом. Народ толпился у парапетов, и раненые вылезали на подоконники и крыши госпиталей, чтобы увидеть давно ожидаемое чудо. У меня появились новые друзья, и, пожалуй, никто из них не любил стихи так, как их любил и понимал гвардии старший лейтенант Георгий Суворов.

Он был родом из Хакасии, лихой и подвижный, с хитроватым прищуром узких глаз, с редкими, но щеголеватыми усиками на загорелом круглом лице.

Он был обаятельным и бесшабашно-храбрым парнем. В наш корпус он попал после госпиталя из-под Москвы, из Панфиловской дивизии. Во время атаки противопехотная мина попала Гоше в грудь и застряла между ребер. Застряла, но не разорвалась. Раздумывать было некогда. Гоша сам вытащил ее и отбросил в сторону. Из атаки он не вышел и только потом попал в госпиталь от потери крови.

Мы встречались с ним в полку или в редакции, а чаще всего — на шестом этаже в доме номер два по Зверинской улице, на квартире у Николая Семеновича Тихонова. У Суворова был необычный выговор. Когда он читал стихи, создавалось впечатление, будто он грызет кедровые орехи. Николай Семенович, бывший кавалерист и альпинист, продубленный ветром, худой и костистый, как будто в нем были только одни сухожилия да кости, поседевший до белизны, с голубыми, как небо над Казбеком, глазами, всегда смотрел на Суворова восхищенно, видимо угадывая в нем и талант, и характер.

Суворов писал много. Он мыслил стихами. Он не печатал стихов. Он записывал их в самодельные тетради карандашом на случайных привалах. Почти каждое стихотворение он от щедрой души посвящал кому-нибудь из товарищей. А в товарищах у него была вся дивизия.

Ему предлагали пойти работать в газету. Он отказался. Он хотел драться в строю с оружием в руках. Это была его стихия. Из-под Кингисеппа он на денек заскочил в Ленинград. Он зашел за мной, и мы, прихватив полковую бабушку, пошли в филармонию на концерт Марии Вениаминовны Юдиной, высокой худой женщины, в черно-белом одеянии похожей на пингвина.

— Больше всех я завидую композиторам и музыкантам,— сказал Гоша.

— Почему?

— Их не надо переводить на другой язык. Они понятны всем без перевода. Хочешь, я тебе подарю? — и протянул мне вчетверо сложенный лист бумаги.

В этот же вечер он отправился под Нарву в свой взвод противотанковых ружей.

Через день мне из штаба принесли телефонограмму:

«Суворов погиб. Его полевая сумка у Черноуса в редакции».

Я развернул вчетверо сложенный лист бумаги и прочел подаренные мне стихи:

Еще утрами черный дым клубится  
Над развороченным твоим жильем,  
И падает обугленная птица,  
Застигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,  
Как вестники потерянной любви,  
Живые горы голубых акаций  
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,  
Что будет день, мы выйдем боль до дна,  
Широкий мир нам вновь раскроет двери,  
С рассветом новым встанет тишина...

В полевой сумке Суворова я нашел три тетради. Четыре раза выходила потом его книга «Слово солдата», из которой сам Гоша не видел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде. Он не заботился об этом, он торопился сказать. И то, что он сказал, звучит как реквием всем погибшим и как напутствие всем живым.

Прости меня, друг читатель, за то, что я опять отвлекся в сторону, но ведь в судьбе Гоши Суворова, в его стихах, лежит моя судьба, судьба нашего Кукушкина и, может быть, твоя собственная.

Весенняя распутица. Разлив Плюссы и Наробы не дал возможности двинуться ленинградской гвардии дальше в Эстонию. Но мы припомним другое: покидая Ханко, мы обещали вернуться обратно. И Кукушкину снова пришлось, только на этот раз не по мерзлому вереску, а по зеленой траве, через березовые перелески и сосновые леса, мимо старых забытых могил, пройти от Белоострова до

Выборга. На этот раз старая лиса Маннергейм быстро поднял руки. Мы сдержали свое слово.

Из-под Выборга я опять получил письмо от Кукушкина.

«К нам в полк приехал подполковник Ищев. Он был на курсах, и его назначили к нам начальником штаба. В первый же день он выехал на рекогносцировку на белом коне. Финны попали в коня первым снарядом».

Так и не удалось увидеть подполковнику Ищеву «пронизывающий ветер боя».

Пронизывающий ветер боя повернул на Запад, и остановить его не могла никакая сила.

И наступила последняя весна войны. Весна наступления, весна Победы, весна очищения земли. Весна торжества добра и света.

Можно было считать, что мы победили, что справедливость существует, но чем дальше мы шли на Запад, тем больше было тупой жестокости в немцах. Из Эстонии Кукушкин снова написал мне.

«Знаешь, я видел многое. Вчера я увидел чудовищно-незабываемое. Они хотели туда, к себе в Германию, угнать скот, но скотина движется медленнее нашего наступления. И они живым коровам, чтобы только не оставить их нам, отрубали ноги. Лежат эти буренки в кюветах, сколько их лежит. Канавы полны коровьей крови. Она течет по канавам, как вода, а коровы мычат, как люди».

Для свиньи весь мир — стойло, и она жрет и топчет все, что ей попадает под рыло. Они думают нам насолить в последний раз. Но жестокость обреченных только подхлестывает нас. В плену немцы преображаются. Они все сваливают на Гитлера. Они робко и радостно поднимают руки, когда их прижимают к стенке, и кричат «капут», как нищие поют лазаря.

Трудно понять эту животную жестокость. Жестокость во имя жестокости. Это и есть фашизм. Может ли быть на свете что-либо отвратительнее?

«Вчера мы захватили лагерь Клоога,— писал Кукушкин. — Он дымил едким дымом смерти. Вонь горелого мяса и бензина не давала дышать, хоть противогаз надевай. Горели бараки. Горели сложенные в аккуратные штабеля запасы старой обуви. Горели человеческие трупы, тоже сложенные в поленницы. И вот из одной поленницы выползли на четвереньках живые человеческие мощи, заросшие свалывшейся седой шерстью. На костях

дымилось, дотлевая, какое-то тряпье. В батарее был Щеглов-Щеголихин. Он стоял вместе с нами, задыхаясь от зловония. Мощи ползли к нам. Мы помогли этим мощам подняться и усадили их на лафет пушки. Мощи не могли говорить. Они только скалили беззубый, запекшийся кровью рот. И когда я вливал в эти черные губы глоток спирту, я увидел глаза этих мощей и узнал лейтенанта Липецкого.

Он не узнавал нас. Он не мог говорить. Его беспомощные руки тянулись к рубашке, силясь содрать ее. Он так и умер на наших глазах. Пока копали могилу, Добрыйвечер решил обмыть и переодеть покойника. Вокруг пояса под рубашкой было намотано что-то красное. Добрыйвечер снял повязку и расправил. Это оказалось знаменем нашего полка».

Как удалось лейтенанту Липецкому пронести и сохранить его через лагерь, через четыре года пыток и медленной смерти, так и осталось для нас тайной.

Он выполнил долг как солдат — свято и беззаветно. И мы похоронили его как героя в сыпучем песке Прибалтийского побережья. Мы дали залп и пошли дальше, потому что нам некогда было останавливаться.

Последние дни войны застали наш корпус в Курляндии, в торфяных болотах, которые развезло от половодья. Маленькие ручейки превращались в стремительные реки. Батарея вязла в грязи. Пушки приходилось перетаскивать на руках. Стариков гангутцев в батарее можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Нам уже было видно море. На горизонте дымили корабли. Немцы собирались выскочить из этого мешка безнаказанно. Они все еще отстреливались, на что-то надеясь. Наша пехота, форсировав речку, прижимала немцев к берегу. Пехоте было трудно без артиллерии. Надо было переправить пушки к пехоте. Переправить немедленно. Немцы могли уйти.

На берегу речки стоял сарай. Федотов крикнул Кукушкина, и они сняли первое бревно из-под крыши. Положили его на плечи и пошли в воду. За ними молча пошли другие. Они вставали в ледяную быструю воду, держа на плечах бревна. По этой живой переправе, колеблющейся под ногами, но надежной, огневики стали перекатывать пушки.

Рядом с Кукушкиным держал бревно погруженный до подбородка в воду Щеглов-Щеголихин.

— Идите отсюда, мы справимся сами,— сказал Кукушкин.

— Были бы солдаты — генералы найдутся! — спокойно сказал Щеглов-Щеголихин и простоял до конца.

Ненужные больше бревна подхватило течение. Батарейцы вылезли на берег, и Федотов, крихтя, потянулся и стал разворачивать пушку.

— Поработай, старушка! В последний раз поработай! — сказал Федотов и ласково похлопал по стволу «Смэрт Гитлеру!».

Немецкие корабли не успели сняться с якоря.

Спустя суток пять после Дня Победы я получил от Кукушкина последнее письмо. В нем не было ни одного слова. Я беру копирку и осторожно перевожу его на бумагу, стараясь быть точным. Рисунок изображал победный тост.

### Глава тридцать четвертая, ТЕЛЕГА С ВЫШКОЙ

Кукушкину трудно было ошибиться в последнем письме. Я действительно выпил за Победу.

В середине дня восьмого мая мне позвонили из радиокомитета и попросили срочно зайти.

Приказ ожидали с часу на час, и надо было подготовить радиопередачу.

Мы приготовили эту передачу и, записав ее на трофейный магнитофон, стали дожидаться приказа об окончании войны. Его передали ночью, часа в два. Откуда-то появилось по этому случаю шампанское, и мы чокнулись и улыбнулись, как новорожденные. Мы пели песни и плясали, как дети, кружили хороводом вокруг редакционных столов и не вытирали слез, счастливых слез радости и светлой печали.

Нам захотелось на улицу, на народ. Поэтому мы спустились вниз с моим другом, художником Борисом Семеновым, и у самого входа в радиокомитет, на Малой Садовой улице, заметили телегу на резиновом ходу. На этой телеге была вышка для ремонта троллейбусных и трамвайных проводов. Не сговариваясь, мы впряглись в оглобли и довольно легко выкатили телегу на Невский проспект против памятника Екатерине.

На Невском толпился народ.

Никому, как и нам, не сиделось дома. Мы остановили свою трибуну на колесах, и Боря первым залез на вышку. Нас сразу окружила толпа.

Я не помню, как Боря поздравлял всех с Победой и что говорил. Я помню, что все хлопали в ладоши до иступления.

Потом мы впряглись в телегу снова и повезли ее к Адмиралтейству. Мы останавливались через каждые десять шагов, и забирались на вышку, и поздравляли Ленинград с Победой. Мы читали стихи и запевали песни, и все подтягивали нам. Мы не умели петь и дирижировать, но все-таки дирижировали до тех пор, пока из праздничной толпы не присоединился к нам настоящий дирижер.

Мы пели «Интернационал» и «Варшавянку», «Катюшу» и «Коробочку», мы спели даже «Шумел камыш», и все это было очень здорово.

Мы докатили нашу трибуну до Дворцовой площади, потом повернули по набережной к Марсову полю. За нами шла толпа. Перед нами раскрывались окна, а люди из окон слушали нас, и милиционеры подпевали нам. По Неве шныряли катера и гудели от удовольствия. Я заметил, как остановился у парапета прокопченный буксиршлюк, прислушиваясь к нашим песням. Я прочел на его борту «Камил Демулен» и поздоровался с ним, как старый знакомый, и буксир в ответ прогудел троекратно.

Занимался рассвет. Первый мирный рассвет сорок пятого года.

Из-за каменной ограды Петропавловской крепости кто-то выпустил серию осветительных разноцветных ракет, и они на бледном светящем небе показались нам красочнее северного сияния.

Никогда — ни до, ни после этого — я не встречал в своей жизни такого стихийного единства, такой согласованности человеческих душ и глаз, слившихся в одну песню радости.

С тех пор я уже не выпрыгнул из этой телеги с вышкой.

Она приросла ко мне навечно. Каждый день мне надо было вытаскивать ее на народ и рассказывать о Победе, потому что у Победы нет конца. Это стало моей обязанностью, моей судьбой, моим делом.

Иногда вокруг моей телеги собиралось много народу, и я радовался тому, что заставлял радоваться других.



Иногда вокруг телеги собиралось два-три человека, и мы разговаривали о грустных вещах доверительно и тихо. Потому что у Победы есть своя печаль, свои горести и потери, и говорить о них надо шепотом.

Однажды я обратился со своей телеги к потомкам.

Истории трагедия и драма  
Без слова роли раздавали нам.  
Спектакль окончен. Слишком много хлама.  
Валяясь, догнивает по углам.

И нам, конечно, этот вид не сладок,  
Просторных стен, заложённых в дыму.  
Мы не успели навести порядок  
В построенном для будущих дому.

Ты десять раз разрушишь это зданье  
И сорок раз перечеркнешь чертеж,  
Но все-таки уменьем и стараньем  
Все до конца, как надо, доведешь.

Припомни о распластанных солдатах  
На переправах, на разбитом льду,  
И сделай жизнь, которой в медсанбатах  
Они в последнем грезили бреду.

Их подвиг был суров, и необыден,  
И молчалив, и не пошел им впрок.  
Так пусть тебе и будет необиден  
Их зависти заслуженный упрек.

Чтоб ты был смел, и храбр, и телом крепок,  
Со всеми прям и ненавидел ложь,  
Чтоб ты своим характером на слепок  
С моих друзей был чуточку похож.

Чтоб ты прошел, со всем на свете споря,  
Уверенною твердою стопой.  
А нам навек по горло хватит горя  
И радости нечаянно скупой.

Но всегда в эту беседу втирался некто третий, не имеющий определенного лица.

Третий служил у раковой опухоли, засевшей в самом мозгу, в самой Москве, и распутившей по всей доброй и доверчивой стране свои щупальца и метастазы. Раковая опухоль была жестока и труслива, потому что жестокость — обратная сторона трусости. Раковая опухоль пробралась к власти и стала диктовать.

Ленин утверждал всей жизнью своей, всем делом своим, что партия существует для народа.

Раковая опухоль в партии считала, что народ существует для нее.

Она очень мешала — эта самая раковая опухоль — с лицом палача, с пергаментной лысиной и мутными стеклами пенсне, за которыми была пустота и жестокость.

Раковая опухоль была подла по своей сути и, боясь разоблачения подлости, ставила между двух — третьего. Третьему казалось все подозрительным, и он мешал всем. Он, сам того не понимая, делал самое страшное: он замыкал души, а мне мешал говорить правду.

От раковой опухоли пахло фашизмом, но об этом мы узнали позже.

Сейчас я пишу об этом с открытой душой, зная, что раковая опухоль вырезана и операция прошла успешно. Дай бог, говорю я, чтобы никогда в жизни в здоровом теле моей Родины бактерии этого рака не появились снова!

Но я вез свою телегу и рассказывал о Победе, потому что победу не могла остановить раковая опухоль.

Третий шпионил за мной и передергивал мои слова. Третий был вездесущ. Он заставлял жену доносить на мужа, а сына — на отца, и вся эта мерзость прикрывалась высокими словами о бдительности.

Во время войны океанский размах усилий всего народа и грандиозность ответственности оттеснили третьего. Он стал незаметен. После войны он снова выплыл наружу.

Раковая опухоль, видимо, устраивала Сталина, не тот безошибочный образ, который жил в наших душах, а живого Сталина, который вершил нашими судьбами и диктовал нашим судьбам свою волю.

. . . . .

Месяца через полтора после праздника Победы ленинградская гвардия возвращалась в свой город из Курляндии.

Солнце и тепло. Музыка и радость.

Мы стояли с полковой бабушкой на углу Невского и Фонтанки. Бронзовые кони, выскочив из-под земли, встали на свои пьедесталы.

В стройных рядах победителей мы узнали Яшу Гибеля, Доброговечера и Ваню Федотова. Остальные были

похожи на наших старых друзей, но это были не они. Тех старых друзей взяла к себе на вечную службу беспощадная мать-Победа.

Дня через три к полковой бабушке зашел попроситься Ваня Федотов. Он был в гражданском костюме, которым снабдил его Добрыйвечер. Ваня жаловался на боль в спине. Он собирался к себе в Сибирь отдохнуть и поправиться.

Я спросил у Федотова, почему не видно Кукушкина.

— Кукушкин демобилизовался еще в Курляндии! — сказал Федотов.

Щеглов-Щеголихин, как сообщил Ваня, на третий день после Победы подорвался на mine. Он поймал осколки пятнадцать и получил контузию. Он все-таки очнулся во время перевязки и успел сказать Яше Гибелю: «Все пройдет, доктор. Я поправлюсь. Мне даже умирать не страшно. Только очень хочется посмотреть, чем все это кончится».

Нашего комиссара отправили, по словам Яши Гибеля, в Москву самолетом. Сопровождать его вызвалась Галя Мельникова, наша санитарка.

Кукушкин исчез.

Я знал его. Он мог делиться сочувствием чужому горю и своей радостью, но не умел и не хотел делиться своим горем. Он не писал мне — значит, у него было свое горе. Я попробовал его разыскать, но напрасно. Тетя Поля ответила мне, что он заехал к ней на недельку, помог тете Поле вскопать огород и уехал искать свое место.

С Кукушкиным опять что-то произошло. Выяснил я это совершенно случайно.

В большом зале Выборгского Дворца культуры был литературный вечер московских и ленинградских поэтов. Зал был набит битком. Люди тянулись к поэзии, ища в ней откровения и сочувствия. Во время второго отделения мне передали записку:

«Если Вам не трудно, после окончания подойдите к третьей колонне. Мне очень надо с Вами поговорить».

Передо мной стояла стройная девушка в беличьей шубке. Из-под черной бархатной шапочки, отороченной беличьим мехом, смотрели на меня грустные серые глаза, освещающая милое лицо задумчивым светом.

— Вы не узнаете меня, конечно?

— Нет,— сказал я.

— Меня зовут Зина Скворцова...

— Не помню... — сказал я, перебирая в памяти знакомых.

— И все-таки вы вспомните меня, если я вас попрошу помочь мне разыскать Кукушкина. Вы же с ним друзья. Он сам мне об этом писал.

И я вспомнил весну сорок второго года. Я вспомнил Токсово. Заросший щавелем кювет и полуживую девочку, лежащую на припеке. Ее потрескавшиеся губы и зеленую щавелинку, прилипшую к губе. И то, как мы несли это легкое, как пушинка, тело до санчасти Яши Гибеля по очереди с Кукушкиным.

— Значит, вы живы! — обрадовался я.

— Как видите, и мне очень надо объясниться с Кукушкиным.

По-разному люди сходятся на земле, и пути любви воистину неисповедимы.

Яша Гибель выходил Зину Скворцову. Выходил и рассказал, как она попала в санчасть, и дал ей адрес Кукушкина. И Кукушкин отвечал на ее письма, и раза три заходил к ней в гости, и ни слова мне об этом не говорил. Он собрался после войны оставить свой вещевой мешок в ее комнате и начать настоящую жизнь. Он так и сделал. Демобилизовавшись в Курляндии, он пришел прямо к Зине. Он пришел и положил свой вещевой мешок на пол. Вынул из него гражданский костюм, подаренный Добрымвечером, и попросил Зину выйти, чтобы дать ему возможность переодеться.

— Я пошла в магазин,— говорит Зина,— а когда вернулась, его уже не было.

Зина жила одна. Все родные вымерли во время блокады. Она работала в госпитале и училась в медицинском институте. У Зины была подружка, с которой Зина делилась всем. Подружка училась вместе с Зиной и работала регистраторшей в венерической клинике. Зине надо было уезжать на все лето на торфоразработки. Но ей хотелось встретить Кукушкина. Она влюбилась в него. Зина поделилась своим горем с подружкой. Зинина подружка, не спрашивая Зину, решила помочь ей. Она написала сама на бланке своей клиники бумажку и, не застав Зины дома, оставила ее на комод, позабыв сказать Зине о ней.

— Мне вовсе и не нужна была эта бумажка. Меня декан оставил при факультете на все лето.

Кукушкин переоделся в новый костюм и подошел к зеркалу. Он подвязал галстук и подмигнул себе. Зина задерживалась. Кукушкин стал рассматривать всякие безделушки на комод. Потом в его руки попала бумажка, и он прочел:

«Гражданка Скворцова З. И. не может сейчас выехать из Ленинграда, так как ей надо закончить курс лечения в нашей клинике».

И на бумажке были штамп и печать. И на штампе, и на печати синими чернилами било в глаза слово «венерический». Кукушкин, прочитав это и не дожидаясь ничего не ведающую хозяйку, не попрощавшись с полковой бабушкой и не забежав ко мне, отправился на вокзал.

— Мне обязательно надо с ним объясниться. Помогите мне найти его. Вы же друзья.... — И на глазах ее накипают слезы непоправимой обиды.

Я не люблю сидеть на месте. Ветер странствий тянул меня из города в город. Я видел новые города и обожженную землю, на которой колосилось молодое жито. Я видел слезы вдов и невест, вечную печаль напрасного ожидания. И я залезал на свою вышку и рассказывал о победе жизни. Мне только житья не давала колючая проволока. Ее было слишком много, и ее шипы кровянили мою душу.

Из Москвы до Ростова-на-Дону, от легких причалов Химкинского порта отчаливал флагман речного флота «Иосиф Сталин». Стояло ясное июньское утро. Флагман шел на открытие Волго-Донского канала. Нас была целая бригада. Нам предстояло по пути рассказывать о всенародном празднике.

Мы не жалели усилий. Мы распелись перед микрофоном как соловьи. И наши голоса не умолкали в эфире с утра до вечера. Мы шли через всю Россию, по матушке-Волге, как по судьбе России. И души наши пели от радости, и солнце улыбалось нам всю дорогу до Сталинграда.

Перед самым входом в канал наш теплоход прошел мимо металлической колокольни с головой Сталина и вошел в первый шлюз. Гремела музыка, и по обеим сторо-

нам канала плотной стеной стоял ликующий народ. На нашем теплоходе бог весть откуда появилось очень много людей в габардиновых плащах и полотняных фуражках. Они следили за нами. Они думали, что мы бог весть чего можем сказать в микрофон, как будто мы все были врагами Советской власти и готовили бунт. Это было унизи-тельно.

Наш пароход медленно вошел в шестой шлюз. При-бывающая вода подняла его на упругих ладонях вровень с парапетом. И я через стекла радиорубки увидел Ку-кушкина. Я не мог ошибиться. Он стоял у самого пара-пета против меня в каких-нибудь пяти шагах. Мне нель-зя было выбежать, потому что я вел передачу. Кукушкин стоял в новом коричневом костюме, и его белесый чуб трепетал на ветру, как золотой вымпел. Я видел, как он, не дожидаясь схода, прыгнул в воду и вплавь добрался до теплохода, взобрался на палубу и начал плясать. К нему подошел габардиновый плащ, и Кукушкин нехо-тя сошел на берег. Он был очень весел. Наверно, выпил порядком. Кончив передачу, я вышел на берег, но разве можно было среди толпы разыскать Кукушкина. Я ре-шил сойти в Калаче и разыскать его.

В Калаче мне сойти не пришлось.

Какой-то, видимо, очень усердный поклонник наших передач на одиннадцатом шлюзе в свою ракетницу вме-сто осветительной ракеты случайно засунул зажигатель-ную и вместо неба выстрелил в радиорубку теплохода. Я в это время спал на второй полке в каюте напротив радиорубки. Я проснулся от удушливой горечи во рту и открыл глаза. Прежде всего я заметил дым. Он был та-ким плотным, что нельзя было различить лампочки на потолке. От нее шел только слабый свет. Спросонья я подумал, что дверь моей каюты выходит на палубу, и, на-кинув на себя простыню, распахнул дверь и с разбегу влетел прямо в радиорубку. Я не помню, как выбрался с кормы на нос. Вся корма горела, и ее тушили команда и наши ребята. Габардиновых плащей не было видно. Они смотались. Теплоход чудом удалось отстоять. Я вы-скочил в одних трусах и босиком. От моей каюты ничего не осталось. В Калаче мы пересели на «Сталинскую кон-ституцию» и тронулись на Ростов. Флагман «Иосиф Ста-лин» пошел в док на капитальный ремонт. На корме ему сделали для камуфляжа какую-то надстройку из фанеры. Спина и руки у меня ныли от ожогов, и мой дружок поэт

Сергей Орлов — большой специалист по ожогам, потому что дважды горел в танке, — заливал мне спину марганцовкой.

До Москвы я долетел в брюках Долматовского, в носках Полевого и в рубашке Шпанова. Когда я рассказал об этом секретарю райкома, получая новый партбилет взамен обгоревшего, он мне коротко сказал:

— Только не муссируй.

Я не муссировал.

Я жил и упрямо рассказывал о Победе.

Когда умер Сталин, я сквозь горькие слезы писал слова сочувствия и говорил их перед микрофоном. Я видел горе. Народное горе, захлестнувшее площади столицы. Я был своим со всеми в этом горе. Но откуда мне было знать тогда, что кроме его Сталина есть настоящий Сталин, на глазах которого смердела раковая опухоль и творила свои гнусные дела не без его согласия.

Об этом мы узнали после. У нас зашевелились волосы. Мучительная операция по удалению раковой опухоли из Кремля на какое-то время опустошила наши сердца. Я ходил как оплеванный. Моя душа, вся моя жизнь были обмануты жестоко и низко.

Но революция шла, и сердце народа, навсегда открытое ленинской правде, не могло замкнуться снова, так сильна была эта правда, так глубоко она вошла в народную душу.

У моей телеги закрипели оси.

Оставаться одному с самим собой было сумасшествием. Поэтому я так обрадовался письму Щеглова-Щеголихина, который приглашал меня в Сибирь на целину.

Галя Мельникова выходила нашего комиссара. Они поженились. О дальнейшей службе в армии не могло быть и речи. Они вместе окончили Институт механизации сельского хозяйства, и их направили в конструкторское бюро завода. У них появилась отдельная квартира в городе. Родился сын.

И вот, как мне сообщил Сергей Львович, его вызвали на бюро райкома.

— Ваш отец работал в Сибири ветеринаром? — спросил секретарь. — Может быть, и сыну хочется поработать в деревне?

И Щеглов-Щеголихин согласился поехать в степь директором совхоза.

Он обрубил концы сразу. Сдал квартиру. Забрал семью и на двух полуторках приехал в Новые Тырышки. Совхоз размещался в березовом перелеске, в кирпичном здании бывшей сельскохозяйственной коммуны. Вокруг лежали необозримые поля и редкие деревни, словно по этим деревням, перехлестнув Уральский хребет, прокатилась огнем и железом война, оставив колдобины и обгорелые, заросшие бурьяном фундаменты. Снежная поземка была в окна. Из-под пола дуло.

— Дьявольски холодно! — ежился пятилетний сын Шурка, на манер отца потирая руки перед раскаленной времянкой.

— Подожди, — говорил отец, — вот ласточки прилетят — и тепло будет.

И Шурка ждал.

Нового директора встретили не то чтобы недоверчиво, но с долей иронической выжидательности: посмотрим, что из тебя выйдет и что ты за птица.

С осени по всему участку совхоза в поисках корма бродил годовалый бычишка Кузя. От скуки трактористы, стоящие на ремонте, выучили его, по их мнению, одной забавной штуке. Если человек нагибался, бычишка подкрадывался к нему сзади и запрыгивал на спину.

Надо было случиться так, что когда Щеглов-Щеголихин вошел в тракторный парк, прикуривая, он обронил зажигалку и нагнулся, чтобы поднять ее. Этого момента Кузя только и ждал. Он неслышно выскочил из-за угла и прыгнул на нового директора. От неожиданности Сергей Львович чуть не свалился. Но тут же повернулся, поймал бычишку за рога и резким движением рук опрокинул его на спину. Трактористы не смеялись. Кузя после этого позорного для него случая при виде кожаного пальто директора отходил подальше.

Когда я приехал в Тырышки, Кузя попытался произвести эту операцию и надо мной, но, видимо, испугался, заметив мое кожаное пальто в розвальнях.

Я поселился на квартире у директора. А больше жить было негде. Щеглов-Щеголихин занимал две комнаты и кухню в пятистенном деревянном доме. Русская печь дымилась, а поэтому была в бездействии. Для обогрева и приготовления пищи директор сам соорудил времянку особой конструкции с конденсатором для сохранения тепла.



Галина Ивановна работала в тракторном парке бригадиром ремонтников.

... Я целыми днями мотался с директором по полевым бригадам. Все хозяйство совхоза было запущено и растащено. Не хватало всего: и людей, и машин, и запасных частей. Директорский шофер Покусаев, недавно приехавший на целину с молодой женой, — после того как от него сбежала жена, запил горькую. В магазине водки не хватало, но трактористы в степи нашли вороха неубранного прошлогоднего жита и варили из него самогон. Покусаев пил напрапалую, и директору часто приходилось садиться за руль вездехода самому. В лица нам бил ветер и мелкая снежная пыль. Мы продубели на степном зимнем солнце.

Иногда я оставался дома и играл с Шуркой. К нам заходил Санька, семиклассник местной школы. Он все свободное время толкался в тракторном парке, помогая трактористам. Ему самому очень хотелось сесть за руль трактора. Его мать работала на почте. Отец погиб в первый день войны под Ленинградом, и Санька не видел его ни разу.

Я отправляюсь на почту, чтобы отослать письмо и посмотреть газеты.

— Колывань, Колывань!.. Вы слышите меня? — кричит женщина в трубку, потом поворачивает ко мне голову и говорит: — Просто наказание какое-то! Опять замыкание.

Я смотрю на нее сочувственно и узнаю Тоню Магрычеву.

Как летит время! Как оно разбрасывает людей и как земля становится все меньше и меньше. «Наверно, это от возраста», — думаю я.

Товя после гибели мужа ни жива ни мертва, с грудным Санькой эвакуировалась в Сибирь, да так и застряла в Новых Тырышках. Она и живет в заднем приделке при почте вместе со своей сменщицей и Санькой.

По вечерам при свете керосиновой лампы мы садимся с Сергеем Львовичем за стол. Галина Ивановна подает нам хлеба и молока. Потом мы начинаем разговоры.

— То, что происходит у нас сейчас, можно назвать революцией. Но эта революция идет не снизу, а сверху.

— Когда революция идет сверху,— говорю я,— она идет медленно.

— Боюсь, что так,— соглашается Сергей Львович: — Главная раковая опухоль удалена, но метастазы будут гнить долго. — И добавляет: — В нашем веке колючая проволока пахнет фашизмом, вне зависимости от того, по какую сторону фашизм находится: или сам догнивает за проволокой, или гноит за проволокой справедливое.

— Не пора ли спать, политики? — спрашивает Галина Ивановна.

Сергей Львович идет в переднюю. Я забираю тулуп и залезаю на печку.

Утром Сергей Львович затемно уезжает на станцию за новым оборудованием. Я иду в степь.

### Глава тридцать пятая, МЫ ПРОСЫПАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Поезд шел с востока на запад по бесконечной первозданности Сибири. В вагоне, как всегда, пахло дорожной неустроенностью. Ничего определенного Кукушкину не хотелось. Казалось, сердце его опустошено ощущением радости вновь для него свободного мира. Он не отрываясь смотрел в окно вагона, но не видел ни мелькавших перелесков, ни полосатых плагбаумов, ни встречных поездов. Он думал.

— Чаю? — спросил проводник.

Кукушкин взял чаю и, не глядя, стал размешивать ложечкой сахар. Он был, как это ни странно, именно сейчас, как никогда, одинок и сосредоточен в своем одиночестве.

Была ли у него в жизни любовь? Да, была! Но он сам отпустил ее, глупо и нелепо. Зачем он ее отпустил? Найдет ли он ее снова? Будет ли у него свет своего домашнего очага? Он уже далеко не мальчик! Он испытал все, что человеку положено, а может быть, больше. Жизнь — счастье. Это Кукушкин знал очень хорошо. Несчастливые уходят из жизни. Она не терпит их. А счастлив ли он сам? Конечно, счастлив, если едет в вагоне живой и целый и рассуждает об этом, может быть, ненужном деле.

А за окном вагона шла весна.

Над головой Кукушкина на второй полке девушки на

два голоса пели длинную и грустную песню о боевой жизни партизана Евдохи, о жизни, прекрасной и стремительной, и о смерти, мгновенной, как щелк затвора.

Партизан Евдоха  
Неживой лежит.  
Шелковые кудри  
Ветер шевелит.

Он представил себе, как лежит этот Евдоха в высокой зеленой траве, лицом кверху, и белая ромашка заглядывает ему в остановившийся голубой глаз, а около него стоит оседланный конь и ржет, надрывно и беспощадно, понимая, что хозяин не поднимется больше. С гибели партизана мысли Кукушкина почему-то перенеслись на гибель Порфиши Атюнова, того самого Порфиши, который при любом случае говорил: «Чик — и нету!»

А девушки завели песню о любви. О том, как дочь богача влюбилась в бандита, как беззаветно отдала ему свою душу и тело ангела. Этого бандита на ее глазах убили, и она:

С тоской в затуманенном взгляде,  
Туда, где шумели валы,  
В богатом, роскошном наряде  
Упала с ближайшей скалы.

Допев эту песню, они рассмеялись. Потом завели новую песню, грустную и трогательную.

Скажи, ветка бедная,  
Да куда ты плывешь? —

запевала одна из девушек, задумчиво и тихо ее поддерживала другая, как бы предупреждая первую:

Берегись сердитого  
Да моря, ветка, пропадешь.

А зачем бояться мне, —  
Да веткин был ответ, —  
Я уже иссохшая,  
Да во мне жизни нет.

От родного деревца  
Да ветер оторвал.  
Пусть же, пусть несет меня  
Да куда хочет вал.

Песня навела Кукушкина на грустные размышления, проясняя и подчеркивая их. «Настоящее счастье всегда

вперед!» — слышал он чьи-то стихи по радио. Чьи — он не запомнил, да и о чем стихи — он тоже не помнил, а вот эта строчка врезалась в память и жила в душе как свое собственное убеждение.

С некоторых пор он стал задавать себе старый вопрос: почему? Почему я еду один? И куда я еду, и зачем? Что я ищу в жизни? Жить надо для других, и в этом найдешь свое счастье! А он всю свою жизнь жил для других. Значит, он, черт возьми, счастлив!

Он еще не чувствовал себя иссохшей веткой. В нем была сила. В нем была жизнь. Он чуял ее соки, набирался ее живого трепета и волнения, может быть еще не сознавая этого. Он привыкал к обычному в необычном пока еще для него мире. Он осознал себя заново и понимал, что для этого не надо много усилий. Он становился прежним Кукушкиным.

Он провел ладонью по щекам и подбородку: «Зачем мне усы и борода?» Он достал из мешка безопаску и помазок с мылом, перекинул через плечо полотенце и вышел в тамбур.

— Закрыто. Сейчас станция, — сказал проводник.

— Мне только побриться.

— Возьми ключ. Воды много не лей. Потом закроешь.

Вымывшись после бритья, он бегло взглянул на себя в зеркало. Право же, он не так постарел. Только огонек лукавства в голубых глазах сменился сосредоточенной умудренностью знающего цену жизни человека и на прежних складках добродушной улыбки легла сеть маленьких морщинок иронии. Особенно много лучиков было вокруг глаз, научившихся прищуриваться и быть жесткими. Лоб все так же был чист и высок, и его все так же пересекали две характерные бороздки от переносицы кверху. Слов нет, они углубились. Белесый чуб, не тронутый сединой, все так же спадал на правую выгоревшую бровь.

Девушки на вторых полках, когда он вошел в купе, о чем-то перешихикнулись, и тут же до Кукушкина донесли их голоса:

Если дедушке Федоту  
Ночью бороду обрить,—  
Как же дедушке Федоту  
Неженатому ходить!

В другой раз Кукушкин ответил бы им, что нужно делать дедушке Федоту в подобном случае. Сейчас ему

было не до этого. Он поднял голову, улыбнулся девушкам уголками губ и повернулся к окну.

Он бесцельно посмотрел на столик, будто впервые увидев свои руки. О, как они были сейчас похожи на руки дяди Саши. Руки с крепкими, узловатыми в суставах пальцами, с твердыми, как слоновая кость, ногтями, руки, оплетенные сетью голубоватых бугристых вен, руки с железной системой сухожилий, руки с каменными мозолями, в которые вьелись железо и известь, мазут и смола. Руки самого труда, все умеющие делать руки.

Без таких рук мир действительно как без рук.

Но Кукушкин не думал об этом. Он даже сожалел, что их нельзя ни отмыть, ни отпарить.

Он смотрел в окно. Поезд, перестукивая колесами на стрелках, на замедленной скорости подходил к станции. Колеса разговаривали, сбавляя темп: «Чик — и нету! Чик — и нету! Чик — и нету! Чик... чик... чик...»

Поезд остановился, и Кукушкин увидел через стекло прямо перед собой одноэтажное здание продыmlенного и обдутого, покрытого мельчайшей угольной пылью вокзала.

«Станция Чик» — прочел он на вывеске и не удивился. Он опять припомнил Порфишу Атюнова. А так как решения в нем созревали сразу, то он накинул фуфайку на плечи, шапку — в охапку, мешок — под мышку и, не успели девушки повернуть головы, вышел в тамбур и спустился мимо проводника на перрон.

— Получите за чай. Билет можете оставить у себя.

Кукушкин давно вырос из того возраста, когда люди в трудную минуту говорят: «Я один на целом свете — никого у меня нет». Он знал: там, где есть люди, можно найти все.

А на станции Чик людей было много. Все они спешили куда-то со своим скарбом. С чемоданами и баулами, с узлами и сундучками. Ребятишки держались за материнские подола и выглядывали из-под нахлобученных шапок. За вокзалом в непролазной весенней распутице пыхтели безнадежно застрявшие грузовики. Два гусеничных трактора волокли тракторные сани.

«Привет освоителям целинных земель!»

Ветер, резкий, как наждак, трепал и, раскачивая, надувал это полотнище.

Кирзовые, а чаще резиновые сапоги, ватные брюки,

стеганая фуфайка и шапка-ушанка были в то время спец-одеждой целинников. На Кукушкине тоже были кирзовые сапоги, стиранные, военного образца, брюки и гимнастерка, неизменная стеганая фуфайка и подержанная ушанка со следом пятиконечной звезды на выцветшей цигейке.

Прямо перед ним с бесконечных платформ сгружали тракторы, громоздкие бороны и плуги, сеялки и комбайны. И все это вязло в весенней распутице, ожидая, когда его возьмут и увезут на место и пустят в работу. Вокруг этих завалов спорили и чертыхались люди.

По магистрали с паровозами и электровозами в четыре линии гремели составы с запада на восток и с востока на запад. Белый пар и серый дым стлались по земле, обволакивая провода и шлагбаумы. Ветер забивался под рубахи, насквозь продувая фуфайки и кожанки.

Разные ветры знал Кукушкин: и палящий астраханец сталинградских степей, и ледяной ветер Баренцева моря, и легкий бриз Каспия, и влажный ветер Балтики,— а здесь поежился, смахнул с носа каплю и вошел в буфет. В буфете было тихо и пусто, если не считать долговязого парня в драгом кожухе, накинутом на тельняшку подозрительной чистоты. Он распинался, не обращая ни к кому:

— И кто у нас не пьет в Сибири? Не пьют только телеграфные столбы! А почему они не пьют? Да потому, что у них чашечки книзу опрокинуты! А у меня кверху стоит... А как у нас пьют на целине? Очень просто: тремя способами! И первый способ... Ты знаешь, целинник, первый способ? — обратился он в сторону Кукушкина.

Тот молча продолжал доедать яичницу с колбасой.

— Значит, не знаешь. Первый способ... Получил ты, скажем, подъемные. Приехал сюда, а здесь холод и ветер. Погреться надо. Вот ты их и — фьюить! Утром встал, заправка требуется, так ведь? И тут начинается второй способ. Идешь к нашему директору и говоришь,— а его на кривой кобыле даже артист не объедет,— и говоришь ему: «Как же я, Сергей Львович, здесь без семьи жить буду? Без семьи мне нельзя. Семья выезжает, а у меня даже койки нет!» Ну, если он поверит, даст аванс под койку, и ты, конечно, опять заправишься. Вот это и есть второй способ, целинник!

И он налил стакан и чокнулся с воображаемым собеседником.

— Утром встал, голова гудит. Заправка требуется, так ведь? И тут начинается третий способ. Идешь в сельпо и говоришь: «Феня! Послушайте, Феня! А вы знаете, Феня, какой к осени мы соберем урожай? Такой, что любой тракторист все ваше заведение на прицепе увезет за свои денюжки. Феня, мы все — будущие герои. Так поверь героям, Феня! Дай пол-литра до завтра. Ей-богу, отдам!» Вот это и есть третий способ — под «ей-богу».

Он допил остатки, откуда-то из-за спины вынул гитару и, ударив по струнам, промычал:

Земля имеет форму чемодана,  
А милая моя наоборот... Тар-рам! —

и поник.

Людей, для которых земля действительно имела форму чемодана, Кукушкин знал еще до войны. В погоне за длинным рублем они, как перекасти-поле, кочевали с новостройки на новостройку.

Кукушкин шел, перескакивая через ямы и рытвины, среди завалов арматуры, досок и кирпича, по будущим улицам нового поселка, опытным глазом строителя угадывая их очертания. Снег на припеке таял, как в кипятке сахар.

Арматурщики заканчивали каркас элеватора, монтеры подводили последние провода к подстанции, на восток и на запад гигантскими шагами шли марсианские конструкции высоковольтных передач. Из-под поздраватого снега красной кровью цвели кирпичи. И все это было в земле, в глине, жило и копошилось человеческой жадностью: поскорее привести этот хаос в надлежащий порядок.

В поисках конторы строительного участка Кукушкин вышел на единственную сухую улицу Чика, уводящую прямо в степь.

Детский сад стоял на пригорке в конце улицы, просохший двор его был чист и выметен. Через вымытые стекла широких окон просвечивали фикусы и герани. Сзади дома на привязи около сарая паслись три козы,

Остаться в Чике он решил безоговорочно. Бывают такие движения человеческой души, объяснить которые немислимо, хотя они и закономерны, и прожить без них человек не может потому, что они единственно правильные.

Двери детского сада отворились, и из них боком, еле протискивая свое тучное тело, вышел человек в ослепительно белом халате. За ним, как цыплята за клушей, желтенькие и красненькие, синие, зеленые и голубые, в аккуратных пальтишках, и пуховых шапочках, и резиновых ботиках, выкатывались ребятишки. Громадный человек выстроил их во дворе по двое, они его слушались и не сбивали строя, потом подошел к первой паре, взял за руку правофлангового, скомандовал: «Ать! Два!» — и они пошли по двору, потом, перестроившись в хоровод и взявшись за руки, запели:

Берия, Берия  
Потерял доверие.  
Не жалея каблуков,  
Надаем ему пинков.

Кукушкин загляделся на это бесподобное зрелище, подумал про себя: «Смелые растут!» — и крикнул:

— Федотов!

Громадный человек неуклюже оглянулся, повернувшись всем телом, улыбнулся во все свое великодушное мясистое лицо добряка и силача, оставил ребят и направился к калитке.

— Кукушкин!

Они обнялись через забор. Кукушкин ребрами почувствовал, что силы его друга не иссякли.

— Откуда, гвардия?

— Оттуда... — многозначительно сказал Кукушкин.

Они вошли во двор и сели на низенькую скамейку. Вокруг них играли дети. Федотов не расспрашивал Кукушкина, как будто сам знал, что с ним было.

— Ну, а как ты? — спросил Кукушкин.

— А что я... Вот видишь. Если бы не переправа в Курляндии, мое место было бы не здесь. У меня внутри чего-то случилось. Ослабело у меня внутри. Вот я и нарядился сюда поваром.

— Я думал, воспитателем.

— Нет. Это я два дня по совместительству. Заведующую вызвали в область на инструктаж. А я, как видишь, остался.



К Федотову подошел карапуз и потянул его за руку.

— А!..— понимающе сказал Федотов. Отвел малыша в сторонку и ловко сдернул с него штанишки. Тот сделал свое нехитрое дело.

— С этими я справлюсь легко. Они меня слушаются. Вон образины,— указал Федотов на привязанных коз,— никак доить не даются. Прямо беда!.. Мне ребятшек кормить, ты уж извини меня. Ты ко мне вечером заходи,— и Федотов указал на трехконную мазанку в конце улицы.

В гостях у Федотова в этот вечер Кукушкину побывать не удалось. Он снова направился на вокзал. В буфете парень в драном кожухе спал, облокотившись о стол. Спутанные волосы падали на потный лоб. Гитара лежала на коленях.

Кукушкин сел напротив парня и заказал чаю.

Дверь открылась, и в буфет вошел мужчина в высоких охотничьих сапогах, в кожаном полупальто, в меховой барашковой кубанке, заломленной на затылок. Лицо его было покрыто здоровым загаром человека, знающего степь и ветер. Кукушкин узнал Щеглова-Щеголихина сразу. Вошедший сказал только одно слово:

— Покусаев!

Парень в драном кожухе что-то промышчал и попытался приподнять голову.

— Покусаев!— повторил вошедший.

Парень в драном кожухе встал, и гитара, дребезжа, упала к ногам.

— Опять готов! Не оправдывайся и сиди!

Парень послушно сел, Щеглов-Щеголихин взглянул на Кукушкина и, узнав его, обрадованно воскликнул:

— Гвардия! Выпьешь!

— Не хочу!

— Какие машины водить умеешь?

— Все!

— Откуда сейчас?

— Оттуда!

— Ищешь где получше?

— Где нужней!

— Тогда порядок!

Так Кукушкин стал шофером директора совхоза.

Около вокзала стоял новый гусеничный трактор с волокушей, нагруженный запасными частями и мешковиной. Они выволокли Покусаева и водрузили его поверх

всего вместе с гитарой. Кукушкин сел за рычаги. Директор — рядом.

— Трогай!

Смеркалось. Подмораживало. Трактор, отфыркиваясь как бегемот, по радиатор забираясь в грязь, скорее плыл, нежели ехал, волоча за собой тяжелую ношу. Мотор ревел на пределе, надсадно и угрожающе. Кукушкин переключал скорости и ловко лавировал на размытом и раскатанном большаке. Директор дремал, ежеминутно просыпаясь, чтобы показать дорогу. Они брали тараном овраги и снежные завалы, всю эту клейкую ледяную смесь воды, снега и грязи. Свет фар выхватывал из темноты березовые рощицы, стену чернойбыла, кривые ивы и далеко голубыми ножницами врезался в степь, растворяясь в пространстве. Иногда в эти ножницы попадал заяц и, смешно вскидывая зад, улепетывал по лучу к горизонту. Через пять часов они прибыли на место.

Покусаев, протрезвев на холоде, сам слез с волокуши и виновато стоял перед директором, придерживая у ног гитару.

— Ты мне только прямо скажи, можешь ты совсем бросить пить?

Покусаев мялся, не зная, что сказать.

— Если тебя, скажем, отправить на год на необитаемый остров, где есть все, кроме водки, выживешь ты или умрешь?

— Проживу...

— Завтра пойдешь работать в мастерские.

Печка в доме директора была единственной для всех прибывающих в поселок гостиницей, поэтому я не удивился тому, что среди ночи кто-то лег со мною рядом.

Первый луч солнца скользнул по стене и остановился на закрытых ресницах Шурки. Шурке стало щекотно, и он повернулся на другой бок. Солнечный зайчик скользнул по щеке и остановился на Шуркином глазу. Шурка потянулся, сбросив одеяло, протер кулачками глаза и спросил:

— Mam, ласточки прилетели?

Я проснулся вместе с Кукушкиным.

## Глава тридцать шестая, РАЗГОВОР НА ПЕЧКЕ

Весна задерживалась, и ласточки не летели. Железный щуп в руках директора на оттаявших пригорках туго входил в промерзшую землю. Пахать было еще рано, и директор с Кукушкиным на вездеходе колесили из бригады в бригаду.

Не хватало людей и семян, не хватало машин и запасных частей, зато с избытком было неоглядной земли, ветра, и солнца, и уверенности, похожей на удачу. Этим и жил директор, заражая своим настроением других. В его характере уживался фантазер с практиком и трезвый реалист с романтиком.

Иногда директор садился за баранку сам, а Кукушкин отправлялся в тракторный парк помогать бригаде Галины Ивановны. Там он встретил Саньку. Они стали друзьями и принялись из ржавого барахла собирать трактор. Санька расцветал от восторга и заражал этим восторгом Кукушкина.

Днем нам некогда было встречаться. Вечером мы все собирались за столом, рассаживались вокруг чугуна с картошкой, заедали картошку посоленным хлебом и запивали молоком. Хозяева уходили в переднюю, а мы с Кукушкиным залезали на печку.

— Теперь ты лучше меня знаешь, почему я не остался в Ленинграде и не зашел к тебе. В Иванове мне тоже не захотелось оставаться, там слишком многое напоминало о Тоне. И я поехал в Сталинград. Я поступил в автобусный парк и гонял свою машину от тракторного завода до Красноармейска. Мне нравилась и работа, и люди, и сам город, разбитый и оживающий под руками этих людей, в работе забывающих свое горе, по сравнению с которым мое горе казалось мне мелким.

Я проработал года полтора, и меня премировали путевкой в Гагры.

Всего мне в санатории хватало, но иногда перед обедом я заходил в «Уточку», — маленький ресторанчик у самого морского берега. Ресторанчик был построен в тени старых чинар на быстрой горной речке. Она текла под полом ресторанчика, образуя вокруг веранды неглубокую запруду. Я садился поближе к воде, выпивал стаканчик цинандали и кормил лавашем уток, плавающих в запруде, и смотрел на гуляющих. Однажды я заметил Вику Вик-

торовну. Я встал из-за столика и пошел за ней к вокзалу. Мне ничего не хотелось. Мне просто хотелось ее окликнуть. Она удивилась и обрадовалась. И я больше не вернулся в санаторий. Я пошел в гости к Вике Викторовне. Она жила в особняке, обнесенном высоким забором, около самого моря. Ковровая дорожка спускалась на пляж и доходила до самой воды. Сначала мы выкупались, потом, повалившись на солнце, пошли обедать. Мы пили на веранде вино и закусывали перепелками. Я — ей-богу — на этот раз не хотел ничего такого, но, видимо, хмель ударил в мою голову, и мы пошли изучать подколенную линию. Когда я на рассвете выходил из особняка, ко мне с двух сторон подошли два габардиновых плаща, и один из них, взяв меня за локоть, сказал:

— Пройдемте с нами.

Откуда тогда было знать Кукушкину, что раковая опухоль, кроме того что она было жестока и труслива, была еще блудлива, что у нее была целая записная книжка с адресами любовниц и Вике Викторовне в этой книжке была отведена особая страница.

— Понимаешь, если бы передо мной была стена, — говорил Кукушкин, — можно было бы расшибить голову о стену или пробить головой стену. Нет! Передо мной не было стены. Вокруг меня была вата. И чем больше я сопротивлялся, тем плотнее становилась эта вата. Она закрывала глаза и уши, набивалась в рот и в нос, и сопротивляться ей было невозможно.

Меня обвинили во всех смертных грехах, кроме последнего, за который, как я считал, тюремное заключение не предусмотрено законом. Короче говоря, мне дали на всякий случай десять лет и в вагоне с окнами в клеточку отправили на строительство Волго-Донского канала. Меня отделяли от мира колючая проволока, штык часового и овчарка. Больше я ничем тогда от тебя не отличался. Я работал. Работа была единственным спасением. Она выматывала меня так, что не оставалось времени на раздумье. Сначала я работал землекопом и без конца кидал красную глину снизу вверх. Мне даже и снились только лопата и глина. Потом я сел за руль и возил эту глину из котлована, зимой и летом, под метелью и в суховей.

На стройке я встретил Тоську Стабровского. Он жил в соседнем бараке. Иногда мы с ним встречались около кухни. Он окончил академию и стал архитектором, и его

послали на работу в Ашхабад. Он выстроил там два дома, но умудрился перерасходовать смету на дополнительное укрепление фундамента против землетрясения. Стабровского осудили, и он стал работать землекопом. Потом, когда в Ашхабаде случилось это несчастье и после землетрясения во всем Ашхабаде остались целыми мечеть да четыре дома, в том числе и дома, выстроенные Стабровским, Тосю немедленно освободили и послали восстанавливать Ашхабад.

А я опять возил землю и бетон, железную арматуру и бревна. Я работал как вол, думая про себя, что дело, которое я делаю, не пропадет, оно будет служить людям, и опи, не зная меня, скажут обо мне доброе слово. Дело останется. К окончанию строительства мне даже пообещали амнистию. Я взял со своей сберкнижки деньги и приоделся. Я пришел на праздник открытия канала почти свободным, мне не хватало только документов об освобождении. Мне было весело, я даже вышел с этой радости. Я тебя не видел на пароходе, но я действительно заплыл на него и поплясал на палубе, а когда габардиновый плащ пристал ко мне, мне стало грустно — как никак все-таки я, а не он строил этот канал, но я сошел на берег и пошел по берегу канала к Волге.

Я присел на ступеньки около памятника Сталину. Памятник блестел на солнце полированной сталью, как зеркало, доставая головой небо. Над Волгой кружились чайки. Я смотрел на чаек и думал о том, что завтра и я, получив документы, полечу куда захочу. Потом я вспомнил одну историю. Когда памятник только что смонтировали, на него стали садиться чайки и по несознательности начали пачкать его. Тогда нашелся какой-то умник и пустил по корпусу памятника ток высокого напряжения. Чайки стали замертво валиться с памятника. Мне стало жаль чаек. Я взял какой-то камешек и написал на фундаменте:

И зверь это место обходит,  
И птица сюда не летит.

Я заснул тут же на ступеньках. Меня разбудил габардиновый плащ и спросил, указывая на надпись:

- Это ты сделал?
- Точно! — ответил я.

За это я получил еще добавку и опять в вагоне с окнами в клеточку поехал далеко на восток.

— Может быть, на сегодня хватит?— сказал Щеголихин. И мы заснули.

Ласточки и в это утро не прилетели, но к нам на кухню, запыхавшись, влетел Санька:

— Покусаев утонул!

И мы побежали за Санькой к тракторному парку. Покусаев набрался с вечера и утром, добавив, побрел в парк. Он остановился около березы, обхватив ее как якорь спасения, и нагнулся. Этого только и ждал Кузя. На Покусаеве были надеты кожаная куртка и лыжные штаны на резинке. Копыта Кузи, когда он заскочил на Покусаева, скользнули по коже, попали под резинку в штаны и запутались там. И Покусаев, и Кузя упали в лужу и стали там барахтаться, не в силах освободиться друг от друга. Мы прибежали поздно. Покусаев был мертв. Но умер он не из-за того, что нахлебался воды в луже, а от того, что перешил и отравился. Это была самая страшная по своей нелепости смерть.

— Бедняга, ему не хватило характера,— тихо сказал Кукушкин, когда мы вечером возвращались с первой могилы на целине.

Мы опять после ужина забрались на печку, и Кукушкин продолжал рассказывать.

— В Сибири мы строили дорогу через тайгу и горы. Я опять возил землю и камень. Если бы у меня не было работы, я бы сошел с ума. С ума сходить было некогда. Начальником нашего лагеря был Венька Кузин. Он дослужился. Он не узнал меня. А может, и узнал, да виду не подал. Он потолстел и облысел, стал похож на бульдога, с которым расхаживал по баракам. Только у бульдога были глаза, а у Кузина глаз не было — он их прикрыл защитными очками.

Но не Кузин был хозяином лагеря. Хозяином лагеря был Балабан. Он жил в отгороженном цветными занавесками углу барака. Там была его резиденция. В общей сложности за мокрые дела и побегі он имел срок семьдесят три года. Это был матерый шакал. Он поседел и обрюзг. Левый глаз у него вытек, и он носил черную повязку. Он жил в своем углу как царь, и уголовная братия делала все, что он прикажет. Иногда он занимался музыкой. В его углу были часы с боем. И он посреди ночи трижды переводил стрелки по циферблату и, слушая бой часов, хохотал. Иногда, перепившись, он устраивал спектакли. Через дыру в шелковом занавесе высовывал свой

зад с наколотыми мышкой и кошкой и дрыгал ляжками, так что кошка ловила лапой мышку и не могла поймать. Уголовная братия надрывала животы.

Иногда туда заходил Кузин и пил с Балабаном спирт.

Однажды, перепившись, Балабан грохнул кулаком по столу и уставился единственным глазом на Кузина.

«Сними очки!» — приказал Балабан.

Кузин снял очки.

«Отведи собаку домой и принеси бритву и мыло!»

Кузин отвел собаку и вернулся.

«А теперь садись, начальник, и сбивай пену. Ты будешь брить мне излишнюю растительность на груди и под пазухой. Ты сделаешь это, начальник, и аккуратно делаешь. Порезать меня нельзя. Ты проигран, начальник. Спасти тебя могу только я. Ты только побреешь мне лишнюю растительность, начальник, и будешь жить. Начинай».

И Кузин брил седую волосню под мышками Балабана. И вышел из его угла туча тучей, не зная, на ком выместить свою злобу.

Моим соседом справа по нарам был Иван Иванович Баландин. Он отсиживал семнадцатый год. Его осудили, как японского шпиона, на десять лет, а еще десять прибавили «за дискредитацию памяти Ленина», за то, что он рассказывал, как ему приходилось служить в личной охране Владимира Ильича. Он работал на карьере учетчиком. Он еле двигался и мало что понимал. Он был тощ и запущен. От старого Ивана Ивановича чудом сохранились очки в железной оправе да синие добрые глаза. У него болели отбитые почки. Ему очень часто приходилось бегать до ветру. Он вышел из барака и поплелся к отхожей яме в тот момент, когда Кузин выходил из барака.

«Кой черт тут справляется!» — заорал Кузин.

«Я не справляюсь, я только иду...»

«В карцер!»

Через два дня Ивана Ивановича вынесли из карцера холодным.

В личной карточке заключенного Баландина Кузин своей собственной рукой написал: «Четырнадцать суток карцера за членовынимание в неполюженном месте».

Только работа спасала меня. А когда мне было совсем невмочь, меня спасал сосед слева, мой напарник, балкарский поэт Мурат. Это был мой ровесник, крепкий парень. Он был лыс и усат, горбонос и кареглаз. Все

войну он служил, до сорок четвертого года, в парашютных войсках. Грудь его была в орденах и медалях. Он только что вышел из госпиталя и узнал, что всех балкарцев как предателей высылают с Кавказа в Казахстан. Друзья Мурата в Москве стали хлопотать за него. И ему было разрешено жить в своем Нальчике.

«Что я мог делать один, без своего народа, без своего языка,— говорил мне Мурат,— и я поехал за ним. Я жил во Фрунзе и работал на текстильной фабрике. Моя сестра жила в ауле километров за сорок. Чтобы попасть к ней, нужно было за две недели подать в комендатуру заявление и получить пропуск. Сестра моя заболела. Мне некогда было выправлять пропуск. Я пошел самовольно. Меня поймали на выходе из города. Мне дали десять лет. Сестра умерла без меня».

По ночам он что-то все время шептал. Я спросил его: «Ты молишься Магомету?»

«Магомет не поможет!— сказал Мурат.— Я перевожу на балкарский язык лермонтовского «Демона». Я хочу, чтоб мой народ читал Лермонтова на своем языке. Он будет читать его на своем языке, клянусь своей жизнью! Мой народ вернется на Кавказ! Подлецы могут быть среди каждого народа, но народа-подлеца быть не может!»

Вот какой он был, этот Мурат. Я был мелок против него. И мое горе было каплей против его горя. И я дивился на него и ждал, как и он, справедливости.

...После смерти Сталина была амнистия, но первым на волю ушел Балабан. Откуда было знать тогда Кукушкину, что раковая опухоль готовила мятеж и выпустила на волю своих подопечных — бандюг.

— Что ты ищешь теперь?— спрашиваю я.

— Тоню,— отвечает Кукушкин.— Она моя первая ошибка, а лучше первой ошибки не найдешь.

Я чуть не проговариваюсь, что она здесь, но чудом удерживаюсь от этого. Мне хочется, чтобы Кукушкин сам нашел ее.

## Глава тридцать седьмая, ЗЕМЛЯ ОТТАЯЛА

— Тебе очень нравится Санька?— спрашиваю я Кукушкина.

— У меня мог быть свой такой Санька!



— Но в этом ты не виноват. По крайней мере, хочешь, я тебя познакомлю с его матерью?

— А что от этого изменится?

После дикой смерти Покусаева Кукушкин снова замкнулся. Он возил Щеглова-Щеголихина на вертком везе-ходе с такой скоростью, что директор, любивший больше всего на свете скорость, просил:

— Потише...

Однажды, возвращаясь из третьей бригады, откуда сбежал бригадир Халявин обратно в свой Арзамас, Кукушкин сказал озабоченному Щеглову-Щеголихину:

— Вот что, директор, садись за баранку сам. Зачем тебе шофер, когда ты лучше моего водишь. Садись! А мне давай третью бригаду.

— Идея!— произнес Щеглов-Щеголихин и повеселел.

Сейчас мы сидим в кухне директора и разговариваем про Саньку.

— Я его возьму в свою бригаду,— говорит Кукушкин.— Он парень старательный, пусть привыкает к делу.

В передней Галина Ивановна укладывает Шурку спать. Шурка капризничает и не хочет ложиться. Мать шлепает его, и Шурка, всхлипывая, выкатывается к нам на кухню и забирается на колени Кукушкину. Между ними взрослые мужские отношения.

— Почему ты не хочешь спать?— спрашивает Кукушкин.

— Да, там фашисты... — мычит Шурка.

— Какие фашисты?

— Какие,— мычит Шурка,— настоящие, вот какие. Пришли и повели меня расстреливать. А я хитрый. Как только они нацелились, я взял и проснулся. Как я опять засну, они придут в сон и расстреляют.

Кукушкин внимательно смотрит на Шурку, гладит его по голове и прижимает ближе. Потом беретя рукой за щеку. У него начинают ныть зубы. Когда что-нибудь не так, у него всегда начинают ныть зубы, вернее не зубы,— после блокадной цинги, после мест не столь отдаленных их осталось меньше половины, и начинает ныть то место, где были зубы. Боль бывает очень острой и переходит куда-то глубоко-глубоко в сердце.

— Иди и спи,— говорит Кукушкин,— я приду в твой сон с автоматом и расстреляю всех фашистов.

Шурка смотрит слипающимися глазами в глаза Ку-

кушкина, кивает головой, медленно сползает с колен и идет к своей кровати в переднюю.

— Настоящий мужчина сам раздевается!— говорит вслед Кукушкин.

Шурка пыхтит, развязывая шнурки, потом затихает.

Мы выходим на улицу и идем вдоль посада Новых Тырышек. В тракторном парке при свете фар бригада Галины Ивановны заканчивает последний осмотр сеялок.

Воздух влажен и густ. Не сегодня, так завтра железный щуп Щеглова-Щеголихина войдет в парную землю как в масло.

Мы проходим мимо редких домишек на самую окраину, к почте. Я нарочно веду туда Кукушкина. Темнеет быстро. Загораются звезды, далекие и яркие. Чем дальше звезды, тем лучше, думаю я. У каждого человека есть своя звезда, и чем она дальше, тем человек вернее выбирает направление. Пахнет сыростью и отогретой землей. В степи томительно свистят чибисы. Они не свистят, а плачут целую ночь напролет с какой-то невыразимой страстью.

Мы садимся на завалинку под окнами почты. Я начинаю ждать. Мне хочется, чтобы на линии опять было замыкание.

И вот оно начинается.

— Колывань!.. Колывань!.. Говорит Тырышка!.. Вы слышите меня? Передаю посевную..

Сердце мое начинает биться быстро-быстро. Я смотрю на Кукушкина. Он встает, вынимает папиросу изо рта, бросает ее на землю и растаптывает каблуком. Он вытирает руки о фуфайку и тыльной стороной ладони сбивает шапку на затылок. При свете звезд я вижу слезы на его глазах. Или, может быть, это только мне кажется, потому что у меня у самого подкатывает комок к горлу.

— Это она?— шепчет Кукушкин.

Я киваю головой.

— Может быть, тебе надо послать телеграмму?

— Мне никуда не надо больше посылать телеграммы!— говорит Кукушкин шепотом и, резко повернувшись, направляется к двери и заходит на почту.

Я иду к Щеглову-Щеголихину на печку. А что мне остается делать! Я могу только вообразить. А что стоит мое воображение? Для любви есть ночи и молчание. И я молчу.

Я шел медленно по знакомой тропинке мимо завалинок и тусклых огоньков в окнах. Влажная ночь наполнялась свистом невидимых крыльев, тонким и густым, легким и мощным. Весна входила в полную силу и звала своих крылатых друзей далеко на север. И они летели высоко вверху и у самой земли. Летели стремительно и неудержимо, вкладывая всю силу в неотвратимый полет. Была влажная ночь. Были далекие звезды. И крылья свистели на всем протяжении между звездами и землей. И не было им конца. Это была музыка жизни, музыка весны, нескончаемая, как сама жизнь. И мне дышалось легко и глубоко.

И мысли мои были чистыми и простыми, как свист крыльев.

Я долго сидел на крыльце, пока сам хозяин не подкатил на своем заляпанном грязью вездеходе к воротам. Свет фар раскрыл ночь. В полосе света заметались бесчисленные тени крыльев.

— Пошла! — сказал Щеглов-Щеголихин.

А что «пошла», я так и не понял: то ли весна, то ли птица. А в общем, пошла жизнь во всей своей весенней ярости и силе.

Мы зашли на кухню. Галина Ивановна уже спала. Шурка тоже спал, сладко и спокойно посапывая. Мы сняли сапоги, съели по куску хлеба и запили молоком.

— А где Кукушкин? — спросил директор.

— Он сегодня не придет, — ответил я и полез на печку.

Я долго не мог заснуть и думал о Кукушкине.

Наверно, он увел Тоню в степь к старым, прошлогодним стогам соломы. Наверно, Кукушкин сбросил с плеч на солому фуфайку и усадил Тоню. Наверно, она положила его голову к себе на колени и звезды увидели их глаза, полные слез и восторга. И всю ночь над ними металась со стонами чибисы, и перелетная птица валом валила на север, разрезая со свистом миллионами крыльев влажный воздух.

Утром я крикнул Шурку, и мы пошли на Чик.

— Настоящий мужчина должен каждое утро обтираться холодной водой до пояса!

— Правильно! — подтвердил Шурка и побежал к мосткам.

Мы плескались, как моржи, в ледяной воде. Огромное

-солнце раздвигало розовый туман, и ласточки сновали у каждого карниза. Их щебет был неумолкаем.

Когда мы шли обратно, навстречу нам из ворот тракторного парка на своем драгдулете выехал, как молодой бог, Санька. Его «Путиловец», вдвое старше своего хозяина, гремел, звенел и пыхтел, выпуская из выхлопной трубы клубы сизого дыма. Санька был горд. Это был его, Санькин, трактор. Он его собирал вместе с дядей Кукушкиным. Собирали из какого-то ржавого лома. А теперь этот ржавый лом двигается, да еще как! Этого трактора на пять лет хватит. Он даст пять очков вперед любому гусеничному. Вот только жаль — краски нету, а то Санька выкрасил бы его и он заблестел бы как новенький.

— До свидания,— кричит Санька.— Директор зачислил меня в третью бригаду. Завтра начнем пахать!

Куры и гуси рассыпаются перед Санькиным трактором в стороны. Озорник и хулиган Кузя, задрав хвост, скачет в проулок и робко выглядывает из-за красной стены сарая на дорогу.

Мы машем вслед Саньке руками и идем завтракать.

Кукушкин снова не пришел на печку.

Мы едем с Щегловым-Щеголихиным в третью бригаду к Кукушкину.

Над землей стоит влажный пар, пронизанный солнцем. Где-то высоко в поднебесье гогочут гуси. Стая чирков под самым носом нашей машины пересекает нам дорогу. Посреди белого дня в березовом колке напропалую токуют тетерева,— очевидно, им ночи мало.

Мы переезжаем схлынувший Чик, и за взгорьем нам открывается степь. Дымная черная степь в испарине и солнце. Двухметровый чернобыл, подожженный с подветренной стороны, горит по всему горизонту. Пламя стелется по самой земле, и клубы черного дыма застыт солнце.

Горит земля. Все старое и пожухлое осыпается пеплом. И по этому горячему пеплу, как танки, идут трактора: первый, второй, третий. Сбоку от мочажины, около полевого стана пыхтит и отдувается сизым дымом Санькин трактор. Он с трудом тянет двухлемешный плуг, ~~но~~ все-таки тянет! Черная вывернутая земля ложится за ним двумя ровными бороздами. По бороздам важно, как агрономы, расхаживают грачи.

Пепел векового чернобыла ложится в землю как удобрение. На этом пепле взойдет и вызреет новая нива.

«Так и должно быть!»

На пепле старого должно расти новое. Кукушкин здорово придумал, что поджег степь.

Мы подъезжаем к полевому стану. У костра на корточках сидит Тоня и чистит картошку.

Она поднимается навстречу и вытирает о фуфайку руки. Все в ней поет, и в каждом глазу светится по десять тысяч звезд. Только теперь я замечаю, как она красива и молода, даже в этой нелепой фуфайке и в резиновых сапогах явно не по своей ноге.

— Записывай меня прицепщицей и кухаркой, директор! — говорит Тоня.

— Идет! — отвечает Щеглов-Щеголихин.

Мы смотрим на первую удаляющуюся к горизонту борозду, на скрывающиеся за бугром тракторы. Первый трактор ведет Кукушкин. Ведет и поет — уж это я точно знаю.

Он добывает хлеб.

Много-много хлеба.

Немного — себе, и много-много — другим.

Он щедр, как сама земля.

Он ведет свой трактор по горячему пеплу чернобыла, а высоко над ним, около самого солнца, маленькая птичка жаворонок на серебряной ниточке песенки держит огромную влажную землю. И это ему легко удается. Потому что на земле весна!

И какие бы грозы ни были летом, все равно на этой земле вырастет урожай, потому что она оттаяла, как душа нашего Кукушкина.

### Глава тридцать восьмая, ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР СОВЕСТИ

Эта глава вроде бы не имеет прямого отношения к Кукушкину, но без нее у меня не получится книга, вернее — будет неполной. Собственно, характер человека тоже раскрывается через характер его друзей.

Многих друзей Кукушкина с полуострова Ханко взяла Победа и навечно зачислила в свои списки.

Их нельзя демобилизовать.

Они на вечной службе у Победы.

Вскоре после войны умерла Глафира Алексеевна. Она дождалась возвращения в Ленинград швейной артели и

сдала всю свою блокадную продукцию. Ее распахонки брали нарасхват, потому что у победителей рождались дети. Меня не было в Ленинграде, когда она умерла, и я не успел проститься с ней. Я и не хочу с ней прощаться. Для меня она жива, как мать всего живого и справедливого.

Живым героям выдали награды.

Мертвым героям — над могильными холмиками поставили столбики с фанерными звездами.

Награды живых героев лежат, завернутые в тряпочку, в укромных уголках комодов.

Могилы павших героев осыпались и заросли цветами иван-чая. Деревянные столбики подгнили от дождя и ветра, фанерные звезды истлели.

Но есть в Ленинграде, на окраине Охты, Пискаревское кладбище, печально-торжественный памятник героям — воинам Ленинградского фронта и ленинградцам, погибшим в героические дни блокады.

Высоко на гранитном пьедестале возвышается бронзовая фигура строгой и задумчивой женщины, олицетворяющей собой Мать-Родину. Иногда она мне кажется похожей на Глафиру Алексеevну.

Здесь лежат Ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети,  
Рядом с ними — солдаты-красноармейцы.

Всю жизнь свою

Они защищали тебя, Ленинград,  
Кольбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,  
Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням —  
Никто не забыт и ничто не забыто.

Эти гордые слова, выбитые стальным резцом времени на гранитной стене памятника, написала сквозь горькие слезы невозвратных потерь перестрадавшая всю блокаду женщина, вмерзшая душой своей в ее неповторимый лед, — Ольга Берггольц.

Она имела право написать эти слова.

И если уж говорить об эпопее обороны Ленинграда в минувшую войну, то ради исторической справедливости к слову нужно заметить: всю тяжесть фронта несли на своих плечах по траншеям и окопам мужчины; вся тяжесть блокированного города, вся его гражданская жизнь, естественно, легли на хрупкие плечи ленинградских женщин...

В День Победы сюда стекается много народу. Трубы захлебываются медной грустью, и на гранитных поста-ментах тихо увядают живые цветы. Я люблю приходить сюда под вечер, когда музыка умолкает и народ раско-дится по домам. Я прихожу сюда один и кладу около Вечного огня скромную лилово-фиолетовую ветку иван-чая. Я почему-то очень люблю эти неприхотливые цветы, растущие на развалинах и пепелищах.

Я стою в этой задумчивости долго и смотрю, как па-рень и девушка целуются, присев за цветущей сиренью на гранитную стенку могилы. Я впервые поцеловался тоже на кладбище, но это не имеет к рассказанному ни-какого отношения. Они молоды, очень молоды, эти двое. Они могли быть моими детьми. У меня нет своих детей, поэтому я, наверно, и смотрю на них.

Воспоминания обступают меня. От воспоминаний мне никуда не деться.

Я закрываю глаза и вижу ночь и метель. Штормовое ревущее море без единого огонька на небе и на горизон-те. Я вижу промозглое утро, стальную, с багровой окали-ной полосу рассвета, уходящий по белым гребням быст-роходный тральщик и серый, как горе, накренившийся левым бортом турбоэлектроход «Сталин». Я вижу на па-лубе растерянное лицо Васи Бубнова. Наш тральщик уходит. Последний тральщик. Больше к беспомощной железной машине никто на помощь не подойдет. Там остались друзья. Много друзей. Сильных и беззаветных. Что будет с ними? Что стало с ними? Об этом я узнал после победы.

«Я все-таки остался жив! — пишет мне Вася Бубнов. — Не дай бог каждому испытать то, что досталось на долю нам, оставшимся на корабле.

Мы все ждали, что за нами придут и снимут с тону-щего корабля. Но шли часы, шторм не утихал, и помощи не было. Корабль креноло с борта на борт. Когда палуба поднималась почти отвесно, мы ложились на палубу и цеплялись за что придется, чтобы не свалиться за борт.

Прошел день, и настала ночь. Финны, видимо, нащу-пали нас — снаряды рвались на палубе. Вода за бортом была бурой, даже коричневой от крови. На рассвете на горизонте показались катера немцев. Какая-то продаж-ная шкура вывесила белый флаг. Со всех палуб по белой простыне застрочили автоматы, и рваная тряпка вместе с

этой сволочью, которая ее вывесила, полетела за борт.

Волна била слева. Крупная ледяная волпа. Корабль сносило, раскачивая с боку на бок. Вторая палуба была залита водой, через корму перекачивались волны.

Куда нас несло? Неизвестно.

Некоторые стрелялись. Но этот выход был не для меня. В моих руках еще был автомат. Я решил из него стрелять по врагу до последней пули, а уж если мне суждено погибнуть, то пусть это будет за счет немецких боеприпасов.

Мы разбирали перегородки и двери, мы делали плоты и спускали на воду. Впереди виднелись смутные очертания берега. Впереди был Таллин. Мы могли погибнуть или продрасться, но наш плот разнесло и мы вернулись.

Кольцо немецких катеров вокруг корабля сужалось. Они стреляли по нашему кораблю в упор. Они ожидали белого флага. Его не было. Прошел еще один день, и снова — кто на чем, на бревнах и на дверях — в ледяной воде, мы пытались пробраться на берег. Немцы вылавливали нас кошками и баграми. К вечеру они взошли на корабль и забрали командиров. За остальными подошел транспорт. Нас перегнали в Таллин, а затем на станцию Нема в лагерь.

В сарае, где мы находились, кто-то из наших запел «Интернационал». Мы подхватили. Нам устроили варфоломеевскую ночь. Нас гоняли бегом, заставляли ползать, выводили из строя и ставили к стенке, но не расстреливали, потому что, как нам стало известно потом, финны просили, чтобы мы были переданы им для разминирования Ханко.

Мы сами, уходя с Ханко, клялись: «Мы еще вернемся!» — и вот вернулись, но как!

От нас отделили командиров и рассортировали на два лагеря: на русский и украинский. Кто-то донес финнам, что командиры готовят побег через залив. Командиров от нас угнали, и мы опять остались сиротами. Нашелся у нас один предатель — Давидченко, стукач и доносчик. Мы его прикончили, нас повели на расстрел, но стреляли холостыми.

Меня сослали в штрафной лагерь. А потом гоняли из Финляндии в Эстонию, из Эстонии в Польшу, из Польши в Норвегию.

Нас били. Били на сланцевой шахте за невыполнение плана. Били на сланцеперегонном заводе за неосторож-



но пролитый бензин. На сахарном заводе — за курение в сушилке. На Эзеле нас травили откормленными жирными собаками за то, что мы отказались грузиться на баржу.

Нас морили голодом. Эрзац-хлеб с опилками и черпак баланды с мерзлой брюквой — и все! Откуда они только брали столько мерзлой брюквы? Специально, что ли, морозили? В этапных вагонах и трюмах кораблей нам по пять суток не давали воды и хлеба.

На нас охотились. Часовые с вышек состязались в меткости по живым мишеням. Через проволоку бросали кусок хлеба, а потом стреляли в каждого, кто пытался к нему подойти.

К нам приходили власовцы, откормленные и гладкие, как псы на Эзеле. Мы их забрасывали вшами. Они нам подносили свои газетки. Мы читали их наперебой, потому что между строк можно было увидеть правду. Мы верили в победу.

Главное было — выжить самому и спасти товарища.

Весной 1942 года мы бежали из лагеря Валга. Мы устроили подкоп и туманной ночью вышли из лагеря. Нас заметили и открыли огонь с вышек. Мы бросились кто куда, по три-четыре человека. Немцы на машинах с собаками погнались за нами. Деваться было некуда, и нас поймали во ржи. Я получил двадцать пять палок. Меня бил продажная шкура Мещеряков, по кличке «дядя Яша». Если он не сгнил где-нибудь, я ему желаю собачьей смерти и могилы. Он был беспощаден к военнопленным.

В 1944 году меня отправили в Норвегию. Я побывал в лагерях Лигмар и Кракмон, Луна и Нарвик. Здесь умирали тысячи наших солдат на подземных скальных работах.

Я убежал в горы, но спустя месяц был пойман. Меня избили немцы и бросили в карцер на четырнадцать суток и отрубили два пальца на ноге, чтобы я бегал потише. Мне не давали девять дней ни хлеба, ни воды.

После освобождения никто не хотел верить, как я попал в плен и почему остался жив. Мы просились на фронт, мы хотели мстить. Нам сказали: «Работать на шахтах и давать больше угля — это тоже фронт». Так мы стали шахтерами. Я кончил заочно институт. Теперь работаю учителем. Иногда встречаюсь с товарищами по

несчастью. Их осталось не много, и нам бывает очень обидно даже и сейчас от наших воспоминаний, которые связаны с полуостровом Ханко. Наши воинские билеты пусты. В билетах записано, что мы в армии не служили и в войне не участвовали.

Я был как-то в Ленинграде. Прошел по улице Пестеля, где во всю стену дома четко и ясно написано:

«Слава героическим защитникам полуострова Ханко!»

Это для живых. А ниже — для мертвых:

«Вечная слава павшим в боях за оборону Ханко!»

И вот я постоял у этой стены и не мог решить, куда себя причислить: в павшие — я же живой! — а защитником меня не считают».

У Васи Бубнова нет в душе обиды и раздражения, он остается прежним гангутцем. Он делает свое дело в жизни. Он учит детей. Учит тому, чтобы они были справедливы и мужественны до конца. У Васи есть семья: дети и жена, первая поверившая в его искреннюю и благородную душу, в то, что он сам себя, многострадальной жизнью своей, наградил самой высокой наградой — полного кавалера своей совести.

## Глава тридцать девятая, ПОСЛЕДНЯЯ

Дорогой мой друг!

Я чистосердечно признаюсь тебе, что сам не знаю, что я написал: роман или повесть? Я очень неопытный прозаик и плохо разбираюсь в специфике прозы. Но уж я точно знаю, что я написал мою книгу. Не напиши я этой книги, я бы умер от тоски и недоумения. Можешь поверить, что это — чистейшая правда.

Мне пора сказать тебе — до свидания.

Но прежде мне надо зайти к моему директору и сказать ему «спасибо» за валенки и за мелкокалиберную винтовку.

Валенки спасали меня не только от сырого холода, идущего на веранду из подвала каменной кладовой, они еще удерживали меня за столом. Для того чтобы писать стихи, можно ходить по лесу или удить рыбу. Движение не мешает поэзии. Для прозы нужна усидчивость, я это

понял только здесь. Для усидчивости нужен свинец в противоположном голове месте. А так как я мясов не отрастил, то директорские валенки были для меня своеобразной порцией свинца.

В заповеднике всегда толпится народ. Очень много народа. И все бесчисленные экскурсанты приезжают на свидание с Александром Сергеевичем Пушкиным как на праздник. В валенках неудобно выходить на народ, а переобуваться долго, поэтому я и сидел за столом, не выбегая со своей веранды.

Мелкокалиберная винтовка мне тоже пригодилась.

Я выследил галку, разорившую гнездо иволги. Галку, у которой не доставало одного махового пера в правом крыле. Я ее выслеживал долго. Мне пришлось в доске с правой стенки веранды выковырять один сучок. Через дырку мне стала видна старая береза. Сухой сук этой березы был особенно приятным местом для галки. Она каждое утро садилась на него. Я раза четыре по ней стрелял. Стрелял и мазал. Но она не видела, откуда я в нее стрелял, и опять прилетала. Я не попадал потому, что мне не видно было мушки. Пришлось расширить дырку от сучка. И галка упала замертво.

И что бы вы думали — иволга опять прилетела, и я увидел ее на вершине черемухи в лучах скользнувшего первыми лучами по сонной Сороти солнца и услышал трехколенную серебряную флейту в трех шагах от моего окна.

— Пой! — сказал я иволге. — Торопись, если думаешь выводить птенцов снова, тебе так мало осталось времени: в начале сентября придется уже улетать.

Мне тоже пора улетать.

Тишина так же надоедает, как и суетолака.

И мне захотелось снова толкаться локтями и звонить по телефону, захотелось человеческой толчеи, потому что нет для человека вечности — есть только дело.

Дорогой мой друг!

Моя книга окончена, но на прощанье я не хочу тебе говорить: «Хочешь — верь, хочешь — не верь!» — у меня для этого не хватает смелости. У тебя есть свой опыт жизни и своя голова на плечах, поэтому ты сам разрешишься, что к чему.

Я обязан сказать тебе только одно, что на душе у меня стало легче. Я теперь уже начинаю жить заново. Новый ветер дует мне в лицо. Новая иволга начинает вить

гнездо в моей душе. Новые заботы заставляют биться мое сердце.

Перелистывая последние страницы, я спрашиваю Кукушкина:

— Где наша не пропадала?

— Везде наша пропадала! — отвечает Кукушкин.

— Где наша пропала? — спрашиваю я.

— Нигде наша не пропала! — отвечает Кукушкин.

— И не пропадет!

Это мы говорим вместе.



РАССКАЗЫ  
ОЧЕРКИ

## ТВОИ, ГАНГУТ, КАВАЛЕРЫ

Свет от фонаря бьет через окно и наискось, из угла в угол, перечеркивает потолок. В этом прямоугольнике зыбкое, роящееся движение, как колыхание зноя над созревшей рожью,— значит, на улице идет снег. Подушка становится жесткой, одеяло — тяжелым.

Сейчас дворник сделает первый скребок лопатой по тротуару, к этому скрежещущему звуку прибавится скрип шагов по снегу, неясные, как под водой, голоса первых прохожих, рокот моторов выходящих из парка автомашин. В доме напротив начнут вспыхивать окна: из-за угла, заполняя улицу, ворвется обвальнный грохот каблучков и звонкий голос старшины:

— Раз-два-а. Ножку! Бегом! Ар-рш!

Так и начинается мой день с зарядки караульной роты, которую выводит старшина каждое утро на улицу. Иногда рота, возвращаясь в казарму, поет сочиненную когда-то мной песню:

А для тебя, родная,  
Есть почта полевая...

И это опять напоминает мне о том, что мир тревожен и в мире есть надежные солдаты, мои преемники, продолжение моей солдатской службы.

Сейчас рота поворачивает за угол, а мне уже видится моя казарма, и я слышу команду старшины нашей батареи Александра Батурина: «Батарея! Запевай!» А когда это было? Четверть века назад! Нет, больше! Что может быть выше, нежней и суровой солдатского братства! И воспоминания обрушиваются на меня, как обвальнный грохот каблучков караульной роты на утренней зарядке, наполняют наступающий день особым смыслом...

Если идти от Летнего сада по улице Пестеля к Липтейному, сразу же, на углу Соляного переуллка, за липа-

ми, откроется глазу старинная церковь, построенная в честь знаменитой победы Петра в 1714 году над шведским флотом в каменных шхерах у полуострова Гангут. На гранитных досках по стенам церкви можно прочесть названия частей, участвовавших в этой битве.

Напротив церкви — глухой брандмауэр восстановленного после бомбежки дома, и среди незамысловатого орнамента — выпуклые позолоченные слова: «Слава героическим защитникам Гангута!». Это уже не о петровских солдатах, а о нас, продолживших их доблесть в минувшей — Великой Отечественной — войне. Иногда мы, уцелевшие, собираемся у подножия этой стены на площадке около бетонной чаши, чтобы молча почтить своих павших друзей, и времена над нами сплетаются в один тугой узел.

Это было накануне войны. Наше правительство, разумно заглядывая вперед, арендовало по мирному договору у Финляндии полуостров Гангут, чтобы вместе с оборонительными гарнизонами на островах Эзель и Даго запереть выход в Финский залив на дальних подступах к Ленинграду. Вот тогда и была сформирована 8-я особая бригада, а в апреле сорокового года мы стали заселять и обживать полуостров.

Велик ли наш полуостров? Да, от порта, от города до сухопутной границы в Лапвике, где когда-то проходила Петровская просека, по которой Петр собирался перетащить посуху свои галеры в тыл шведскому флоту, километров двадцать с лишним. Ширина полуострова в среднем километров пять, не больше. К полуострову примыкает несколько островов и с восточной, и с западной стороны. Вот и все наше стратегическое пространство. Дикая каменья. Песок. Голенастые сосны. Вереск и брусничник. Да седые волны Балтики в шхерах. И синее небо с редкими облаками.

Мы встаем до восхода. Батарея наша — на конной тяге, и мы прежде всего драим наших коней, задаем им корм. Потом зарядка, умывание, завтрак и — лопату в руки, копай. Мы строим капониры и блиндажи, ходы сообщения и окопы полного профиля, конюшни, сарай, аэродромы и укрытия. Мы ходим на стрельбище и занимаемся огневой подготовкой. И достается же от нашей

солдатской братвы и командующему базой, и командиру бригады Симоняку за то, что у нас ни секунды передышки. Наши гимнастерки коробятся от смолы и соленого пота. Мы выматываемся каждый день, как миленькие, но, что поделаешь, нам надо укрепиться, врасти в землю и камень. Вот мы и укрепляемся.

К зиме мы переводим наших коней в новенькую конюшню, крытую дранкой, а сами переселяемся в построенные нами казармы. У нас есть теплая столовая и клуб, солдатское хозяйство налажено.

Письма домой становятся длиннее. У Володи Изюменко, заменяющего нам теперешних Штепселя и Тарапуньку вместе взятых, больше остается времени после вечерней поверки «потрепаться» о текущих событиях в батарее. Саше Мазуру приказом командира полка разрешено отрастить волосы, потому что он артист, и первый спектакль «На бойком месте», поставленный его драмкружком, прошел с успехом. Боря Волков и Боря Утков устроили выставку своих этюдов. Мне прислали из Иванова первую мою книжку стихов, и я, сам не понимая когда, написал новую книгу и только что получил письмо не от кого-нибудь, а от самого Тихонова, о том, что он ее печатает в «Звезде». Меня перевели работать в библиотеку.

Но вместе с проблеском белых ночей появляется какая-то смутная тревога, и вскоре после Майских праздников с полной боевой выкладкой мы занимаем свои огневые позиции. Мы ждем бури, не зная, с какой стороны она нагрянет. Около библиотеки дымит лиловая сирень. Дни наполнены спокойной весенней голубизной, промытой первым ливнем, ночи прозрачны и призрачны. И в этой призрачности есть что-то опасное, чужое...

Командир второго батальона капитан Сукач ночует на командном пункте. Командир взвода разведки нашей батареи — лейтенант Давиденко на всех наблюдательных пунктах проверяет маскировку и уточняет ориентиры. Мы готовы к любой неожиданности.

С какой благодарностью и уважением мы смотрим на своих командиров после первого боя. Он был жестоким, этот бой. Врагу даже удалось прорваться через передний край, но редким солдатам посчастливилось вернуться обратно, на свою сторону. Мы не зря потрудились, не зря полили своим потом каждый клочок земли. Оборона оказалась на редкость основательной, и у нас не было





мужества. И забывать нашей кровью оплаченный опыт — преступление перед будущим.

Вот почему мы, ветераны, и стали ежегодно собираться, организовали гангутское землячество.

Зачем, почему мы собираемся? Да потому что нет ничего выше солдатской дружбы, солдатской верности. Я попробую объяснить это на примере.

Однажды осенью я побывал у себя на родине в Иванове. Там проходила Неделя ленинградского искусства и литературы. На городском вечере в только что отстроенном Доме политпросвещения я всматривался в лысины моих старинных ивановских друзей, мысленно дорисовывая к их лицам пышные шевелюры комсомольской юности. И вдруг среди них я замечаю знакомый взгляд, чуть вьющиеся волосы, тронутые сединой, гладкое сухое лицо, невысокую подтянутую фигуру. Конечно же, это он! Коля Осин, солдат хозяйственного взвода нашего полка, лучший портной. Мы вместе на одном турбоэлектрободе возвращались с Гангута в Ленинград последним транспортом.

И вот он ведет всех участников вечера к себе домой на Демидовскую улицу, к своей жене и дочке, рассаживает нас за стол, на котором, кроме всяких разносолов, даже стоит бутылка ликера «Амурская волна». Где он только отыскал! Мы сидим и вспоминаем до полуночи. Оказывается, мне-то удалось спастись с подорвавшегося на минах корабля, а Коля попал в плен. Два раза бежал он из лагерей, но его ловили, возвращали обратно. И все-таки он выжил и после освобождения снова воевал и завершил войну в Будапеште. Недавно он окончил вечерний швейный техникум. Вот он, диплом, смотрите! Осин — известный в Иванове портной. Когда мы собрались уходить, он говорит мне:

— А ну-ка, сними пиджак.

Отказаться — значит обидеть.

— От нашей встречи, — говорит Коля, — я помолодел на двадцать лет. Ты по заграницам ездишь. Я тебе из нашей камвольной ткани без примерки костюм сошью.

Я держу в руках небольшую книжечку «Храни традиции Гангута». Мы ее сделали за месяц до эвакуации по предложению художника Бориса Ивановича Пророкова, который потом стал знаменитым и за серию рисунков «Это не должно повториться...» получил Ленинскую

премию. И вот я смотрю на пожелтевшие страницы, вглядываюсь в портреты наших героев, нарисованные Пророковым и вырезанные на линолеуме Ваней Шпульниковым. На меня смотрят молодые глаза десантника Гравина, летчика Семенова, артиллериста Сорина, катерника Афанасьева, разведчика Щербановского. А вот сапер Анатолий Репня, он теперь живет в Харькове. За портретом Репни шли портреты политрука Гончаренко и сапера Исакова. И под каждым портретом были стихи, прославляющие героев. Я не без волнения перечитываю эти строчки:

Здесь мужество крепчало и росло..  
Пока сердца горячей кровью бьются.  
Куда бы нас оно ни занесло,  
Военное крутое ремесло,  
Мы сохраним традиции Гангута.

И вот прошло, пролетело четверть века. И Коля Кутузов, разведчик нашей батареи, кончивший после войны Академию художеств, сделал рисунок почетного гангутского знака. Нам отчеканили его на Монетном дворе. Наш Совет ветеранов уже отыскал более 1200 гангутцев и вручил им эти знаки. И у Коли Кутузова рядом с пятью медалями «За отвагу» красуется на груди соединенная ушком с красной пластинкой металлическая пластина, на которой рельефно проступают профили пехотинца, моряка и летчика и под ними светятся буквы: «Гангут, 1941». А осталось нас — гангутцев — в живых тысячи три, не больше.

И все-таки племя гангутцев неистребимо. В Ашхабаде я встретил бывшего командира полка Никанорова и штабиста Жемкова-Костяева. Жемков-Костяев директорствует в интернате. В Черновцах объявился парикмахер нашего полка — Дима Вайсман. Правда, у него нет обих ног, но он молодец, держится, работает, даже приезжал в Ленинград на нашу встречу.

Я знаю, что жив командир полка Александр Иванович Шерстнев. Жив и Алеша Бровкин, герой Вороньей горы, — это он сменил смертельно раненного Владимира Масальского, и под его командой гвардейцы водрузили на Вороньей горе исключанное пулями красное знамя. Вероятно, приедут на встречу командир батальона Яков Сукач и лейтенант Хорьков, редактор нашей газеты Аркадий Эдельштейн и секретарь Леня Шалимов, приедут Сергей Иванович Кабанов и начальник артиллерии

нашего полка Бондаренко, приедет комсорг Алеша Баранов и, может быть, нагрянет из Москвы командир роты Николай Колесов. Может быть, откликнется из Челябинска металлист Плеханов, бывший заряжающий нашей батареи. Может быть, приедет и Петр Сокур, первый получивший на Гангуте звание Героя Советского Союза. Может быть, я снова увижу чудо-человека Леонида Белоусова. Он на Гангуте был командиром эскадрильи истребителей. У него не было ступней ног и лицо было обожжено так, что веки не могли закрываться. Он так и спит до сих пор с раскрытыми глазами, прикрывая их полотенцем.

Я снова припомню с друзьями и Гришу Санбура, и Володю Изуменко, и Диму Науменко, и Колю Жукова, кинемеханика Ваню Поздеева, который крутил нам на полуострове «Большой вальс», и мы смотрели его раз по двадцать, не меньше, потому что другой картины не было. И, конечно, вспомню водителя его машины, рыжего, как огонь, Митю Момотова и ангела нашего здоровья — нашего солдатского доктора Яшу Гибеля. Он сейчас работает участковым врачом Дзержинского района в Ленинграде. Может быть, приедут из Москвы Степан Зольников и Яша Иванов, может быть, откликнется из Тейкова начальник котельной Виктор Петров, бывший радист батальона связи. Может быть...

Я знаю, что такое мужские слезы. Они будут при каждой встрече. Я не боюсь их. Они благородны. Твои кавалеры, Гангут, остаются гангутцами и после войны. Они не могут быть нахлебниками. Это не в их натуре.

Многих и не упомянул. Обо всем сразу не скажешь. Но ведь, кроме меня, у гангутцев есть свои сочинители. Например, Владимир Рудный, автор доброй и обстоятельной книги «Гангутцы». Он написал также книгу о героическом гарнизоне Осмуссара. Может быть, закончат свои книги и Женя Войскунский (хватит ему заниматься одной фантастикой), и Коля Черноус. Недавно я прочел книгу нашего командующего Сергея Ивановича Кабанова «На дальних подступах». И мне думается, что она будет подарком не только нам, живым гангутцам...

Слава Гангута должна жить! Вот о чем думается и вспоминается мне ранним утром каждого дня, когда караульная рота под обвальный грохот подкованных каблучков проходит на зарядку по улице...

## ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ЗНАВШИЕ

Опять над Невой морок белых ночей, сказка нашего северного лета. Опять по вечерам вдоль разогретых за день гранитных парапетов от ажурной арки Литейного моста до моста Лейтенанта Шмидта, повисших над гяшайшим перламутром теплой воды, идет, поет, смеется молодость нашего города. У нее тоже, как и во всем июньском мире, пора равноденствия. Пора ощущения полноты жизни, пора солнцеворота.

Кажется, счастливо все. И липы Летнего сада с их густой отлакированной зеленью, и гроздья сирени на Марсовом поле, и цветущие яблони, посаженные в самом начале Кировского проспекта по обеим его сторонам, и тот рыбак, поскрипывающий протезом, поймавший за три часа единственного ерша, и голенастая десятиклассница, впервые надевшая туфли на высоком каблуке и тайком от матери укоротившая юбку.

Белые свечи каштанов на Кленовой аллее за Михайловским замком не помнят прошлогодней листвы. Но они — каштаны. А мы — люди, и у нас есть память — наше торжество и наше мучение.

Я иду, а навстречу мне идут, смеются, поют. Школьники, студенты. Они выходят классами, школами, курсами сюда на Неву в эти белые тревожные ночи.

Что их сюда влечет? Переполненность радостью, жажда общения — таинственная тяга перелетных птиц, возвращающихся по весне к оставленным осенью гнездам. Вечные пути жизни.

Белые свечи каштанов, вспомнившие прошлогоднюю листву? Поэзия?!

«Как у тебя дома? Может, заглянешь ко мне? После нашей встречи я провалялся два с половиной месяца в госпитале. А теперь — снова в халате».

Эту записку я получил от Яши Гибеля. У него плохо с венами.

А сколько я знаю Яшу?

Тридцать лет.

Время!!! Его не остановить.

И я начинаю искать глазами среди праздничной молодости его сына, его дочку. Я знаю, что они здесь, на набережной, но как их найдешь, они все в радости одинаковы.

Я знаю одно, душа человеческая черствеет в одиночестве, ей непременно нужно общение, ей обязательно надо ломать стену отчуждения, отыскивать схожесть в других людях.

Однажды мы собрались. Это у нас стало традицией — собираться каждый год в ленинградском Доме офицеров. Съехались ветераны со всего Советского Союза. Из Москвы и Таганрога, из Одессы, с Украины и из Сибири. Зал на тысячу мест был набит битком пожилыми, лысеющими людьми, украшенными шрамами и наградами Родины. И когда почетный председатель нашего солдатского братства, бывший командующий нашим гангутским гарнизоном генерал-лейтенант Сергей Иванович Кабанов поднялся в президиуме во весь свой богатырский рост и скомандовал: «Смирно!» — зал встал и я увидел свою военную юность во всей ее подтянутости и стройности.

За плечами каждого, стоящего в зале, стояло тридцать человек. Где они?

В безымянной могиле на полуострове Гангут. Под свинцовой водой Балтийского моря. На левом берегу Невы под Марьиной Рощей, где мы встретились во время прорыва блокады с Волховским фронтом.

На Синявинских высотах. Под Красным Бором. На Вороньей горе. Под Нарвой. На Карельском перешейке. В топкой земле Курляндии.

— Почтить память павших за Родину минутой молчания!

И в зале возникла такая тишина, что было слышно, как в руках Сергея Ивановича армейский секундомер отсчитал ровно шестьдесят секунд вечности.

А что было потом?

Мы вглядывались друг другу в глаза и спрашивали о ком-то третьем, которого нет и не будет. Потом сели за столики, разбившись по батальонам, по ротам, по

батареям, по катерам и эскадрильям. Потом Коля Осип рассказывал мне об этом пире ветеранов коротко и выразительно.

— Сидят. Лысынами блестят, стаканами стучат, медалями бренчат. И — ни одного патрона.

Не скажу, чтобы нам было очень весело на этой встрече. Мы разошлись, разъехались, и каждый стал светлее, благороднее. Ради этого мы и собираемся, чтобы вновь почувствовать могучую силу человеческой взаимности, свою собственную необходимость для жизни других.

Вот на этой встрече меня и поймал ангел нашего здоровья, наш полковой доктор Яша Гибель — тощий, стремительный Яша, с залысынами в рыжей шевелюре, с запавшими беспокойными глазами, с быстрой сбивчивой речью.

— Слушай, — спросил меня Яша, теребя нервными пальцами борт моего пиджака, — а ты помнишь Зою Коваленко, почему ты о ней не написал?..

Я иду по набережной вдоль Невы, вглядываясь в глаза юности, в сверкающие красотой лица человеческой весны и вспоминаю слова Ибсена: «Юность — это возмездие». Только ли возмездие, думаю я, может, что-нибудь и другое, продолжение лучшего в нас, новый, более широкий виток вечной орбиты к совершенству человеческой жизни, к гармонии. Как бы мне хотелось им всем, вот этим длинноногим девчонкам с челочками, этим мальчишкам с тургеневскими шевелюрами, забавно и неумело фрондирующим от своей внутренней стеснительности, щеголяющим пиджаками с разрезами и расклепанными брюками, как бы мне хотелось им всем рассказать о Зое Коваленко то, что я знаю о ней сам, то, что мне рассказал о ней Яша Гибель.

Она, наверное, в нашем полку была первой женщиной, приехавшей на полуостров. Невысокого роста, со вздернутым носиком, с короткой мальчишеской прической, с крепким румянцем во всю щеку, с пухлыми губами над широким подбородком, плотно сбитая, веселая. Она работала у нас прачкой и уборщицей в клубе. Жила Зоя на верхнем этаже домика на курьих ножках, стоящего около железнодорожной ветки. В нижнем этаже домика жил начальник артиллерии полка майор Бондаренко.

Язычок у нее был острый, и нашей братве при случае спуску не давал.

Знали ее в полку все. Она была нашей.

Как началась война, Зоя ушла в санитарный взвод к Яше Гибелю. Во время эвакуации наш теплоход подо-рвался на трех минах, и я увидел сам, как Зоя обихаживала раненых, забыв о своем перевязанном носике, кото-рый на все время изрядно попортил осколок.

Сколько она вынесла с поля боя!

Сколько закрыла глаза на веки вечные!

Сколько перевязала ран, разрывая свою рубашку, когда в санитарной сумке не оставалось бинтов. И всегда она была на месте и не увывала, никогда не жалуясь ни на усталость, ни на судьбу.

— Помнишь,— говорит Яша Гибель. — Зимой сорок четвертого, после снятия блокады, после того как заняли Кингисепп и я с медсанбатом перебрался на левый берег Наровы и раскинул походные палатки. Знаешь, я не отличаюсь храбростью, я доктор, а не командир. И я никогда не думал, что буду стрелять из своего пистолета. А тут пришлось. Мое хозяйство окружил немецкий де-сант и, что поделаешь,— бросил я скальпель и взялся за огнестрельное. Впервые взялся. Не помню, кто-то из раненных в обе руки лежал рядом со мной за пулеметом и учил меня, как надо стрелять. И, кажется, у меня это получалось. А Зоя? Она тоже отстреливалась и сносила, стаскивала раненных в воронку, а ее окружали, и нам было не пробиться к ней на помощь. Она брала винтовку у раненных и отстреливалась. А немцы ползли и ползли.

Потом нас выручили.

Я нашел Зою в воронке. Она лежала, раскинув руки, прикрыв собой семь человек, которых она затащила в свою воронку. Немцы били по Зое в упор из автоматов. Очередь за очередью. По Зое и по раненым. На ней не осталось живого места. На раненных тоже. И все-таки как-ким-то чудом один из солдат, прикрытый ее телом, остался жив. Я в спешке не успел его запомнить, но твердо знаю, я его сам оперировал и перевязывал, он наверняка остался жив. Знает ли он, как его спасла Зоя, почему он живет сейчас?

Я иду по набережной Невы и думаю об этом. И мне хочется, чтобы сегодняшние длинноногие девчонки знали о Зое Коваленко.



Как бы мне хотелось положить на обвалившийся край воронки на левом берегу Наровы самые прекрасные розы, какие только могут расти на земле.

Я знаю, что мир тревожен и чреват катастрофами, которые люди способны предотвратить. Я верю в это.

Я также знаю, что горе на всей земле пахнет одинаково.

Мне немало пришлось поездить по земному шару.

Несколько лет назад я побывал в одной латиноамериканской стране. Мы жили в самом роскошном городе этой страны, расположенном на обрывисто-холмистом побережье Тихого океана. Он бьет в набережную, дробя на волнах отражение отелей и особняков. Курортный сезон кончился. Город был пуст. Величественные пеликаши медлительно взмахивали крыльями, цепочкой летали у самого берега, выискивая рыбу.

Гуляя по городу, мы заметили вывеску ресторана «Берлин». И не знаю почему, зашли туда. То, что я увидел, меня ошеломило. За столиками сидели в мышинового цвета мундирах при всех регалиях и знаках различия настоящие фашисты. Сидели, раскачиваясь, и слаженно пели «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес», пристукивая в такт песне пивными кружками по столикам.

Вот они, палачи Клооги и Освенцима, серые, как человеческий пепел. Они удрали от расплаты и готовы к реваншу. И это омрачило и насторожило меня. Я реально увидел ту слепую животную силу, которая жаждет поставить человека на четвереньки.

Потом мы попали в шахтерский городок. Я видывал нищету и каторжный труд, а то, что я увидел в этом городе, вообразить трудно. Представьте себе семью шахтера — семь, восемь человек детей, мал мала меньше. Шестнадцатичасовой рабочий день в шахте, уходящей под океан, где нет ни подъемника, ни света и весь инструмент — старинный обушок, а месячной зарплаты шахтера едва хватает для того, чтобы расплатиться за скромный обед на двоих в ресторане. Но когда я увидел в пропитанном угольной пылью шахтерском помещении подобие нашей стенной газеты, где эти голодные, нищие люди обязались внести свой недельный заработок в фонд помощи Вьетнаму, — я с новой силой поверил в то, что справедливость в конце концов победит на нашей страдавшей земле, что человека нельзя поставить на колени, потому что вера в трудовое братство неистребима.

...Поскрипывающий протезом рыбак, вытащив второго ерша, положил его в полиэтиленовый мешок с водой и стал сматывать свои редкостные снасти. Компания школьников расселась на ступеньках спуска, и кто-то неокрепшим голосом запел дурашливую песню. Чайки парили у самого парапета. Запоздавшие голуби слетались под арку Кировского моста. В мире была тревога и был покой.

И я опять вспомнил друзей-гангутцев.

Мне домой пришло от моих друзей писем триста. И ни в одном из них нет ни жалобы, ни просьбы. Сколько раз я перебирал и перечитывал эти письма, вспоминая лица своих друзей, их судьбы.

Вот одно письмо:

«Пару слов о себе, — пишет Ваня Поздеев. — Живу в Перми. Работаю на заводе по ремонту электротехнического оборудования. Имею шестой разряд, то есть самый высокий. Жена учительствует в школе. Старшая дочь уже 4 года как закончила фармацевтический институт и сейчас работает в Саратове. Средняя — на третьем курсе, младшая — на втором Пермского политехнического института. Здоровье — вроде ничего, но не то, что было раньше, на Гангуте. Уже годы. Мне пошел 51-й. Пожалуйста, приезжай в гости к нам всей своей семьей в любое время, узнаешь, что за Пермь наша. Если город не понравится, то на Каму обязательно заглядишься».

Вот еще одно письмо из Бугуруслана от Михаила Ивановича Максимова, бывшего секретаря партбюро нашего полка. Он был в числе 70 коммунистов, прикрывавших отход с сухопутной границы. Демобилизовался после тяжелой контузии в 1947 году. Десять лет проработал на партийной работе. Сейчас работает мастером на нефтяных промыслах.

Есть в жизни каждого человека взлет его духовных сил, подтверждение его человеческого назначения, и об этом очень хорошо сказал бывший сапер 219-го полка Александр Павлович Железняк, ныне живущий в Грозном.

«Как бы то ни было, мы с вами больше чем однополчане, ибо на Гангуте мы не просто воевали, а жили дружной семьей, и это никогда не забудется».

Писем много. Добрых, сердечных писем. За каждым письмом героическая судьба беззаветного солдата, спасшего и свою родину, и Европу от самого гнусного порождения двадцатого века — фашизма.

Я благодарен этим письмам. Они лишний раз подтверждают, что у солдатского братства высокие и требовательные принципы. Ими и живут ветераны по сей день.

И, может быть, тот рыбак с поскрипывающим протезом, только что ушедший с набережной, тоже герой солдатского братства. Наверное так! Как это важно для человека, чтобы о том, что он сделал, люди не забывали!

Может быть, вам придется увидеть человека с оригинальным знаком на правом отвороте пиджака. Если вы прочтете на этом знаке «Гангут, 1941» — знайте, что это добрый солдат Великой Отечественной войны, не знавший отступления.

Плывет над Невой морок белых ночей. Пора влюбленности, вечной юности.

Ленинград тих и прекрасен.

И сквозь перестук острых каблучков спешащей на первое свидание девчонки слышно, как трудно, с переборами, бьется тревожное сердце мира.

Прислушайтесь к нему.

Помните!

## ЖИВ, СОЛДАТ!

«Легкой жизни мне не обещают телеграммы утренних газет». Эти слова написала Маргарита Алигер. И очень правильно написала. Они почти стали моими, эти слова, оттого, наверное, что я их очень часто вспоминаю.

Недавно я побывал в гостях у своего однополчанина Лени Осияна. Я дивился этой земле, о которой говорят, что ее можно вместо масла на хлеб намазывать, этим ровным покатым полям, аккуратной бороздкой к бороздке, взбороненного чернозема, этим дружно зеленеющим побегам озимой пшеницы, сливающимся на горизонте Осияновой горы с чистейшим лазурным небом благословенного мартовского дня.

Я давно собирался к Осияну в гости; с того самого дня, когда, спустя лет десять после войны, получил от него первое письмо, из которого и узнал, что он жив, а по четкому красивому почерку, по той твердости руки, которая чувствовалась в начертании каждой буквы, понял, что характер моего однополчанина остался прежним.

Потом мы стали переписываться и поняли взаимную необходимость.

А познакомились мы сразу же после Финской кампании, как теперь называют историки ту войну 1939—1940 года, когда нас в составе Восьмой особой бригады отправили служить на полуостров Гангут. Наш полк занимал сухопутную границу у поселка Лапшвик. Осиян служил рядовым в батальоне капитана Сукача, в первой роте, которой командовал рыжий, как молодой бог, лейтенант Хорьков, уверенный и в себе, и в своих солдатах, с пронзительным легким голосом, который, наверное, было слышно за четыреста пятьдесят километров в Ленинграде, по крайней мере так говорил о Хорькове его лучший друг командир саперного взвода красавец лейтенант Репня.

Я помню, как Осиян в первый раз пришел ко мне в

полковую библиотеку, куда меня только что перевели из батареи и где я, кроме выдачи книг, занимался составлением краткой истории нашего полка. Он тихо отворил дверь, снял шапку, поздоровался вполголоса и встал у стойки, ожидая своей очереди, невозмутимо разглядывая своими синими, родниковой чистоты глазами разложенные на стенде журналы. И мне почему-то очень захотелось тогда, чтобы он взял первый и третий номера журнала «Звезда», потому что там была напечатана Николаем Семеновичем Тихоновым моя тетрадка стихов под названием «Жесткий снег», написанная мной о моих друзьях солдатах, оставшихся навсегда на Карельском перешейке, среди расщепленных сосен и опаленных валунов на седом снегу и в мерзлом вереске.

Но он так и не притронулся к «Звезде». А когда подошла его очередь и он назвал себя, я приветствовал его застрывшими в моей памяти стихами:

Я не читал рассказов Оссиана,  
Не пробовал старинного вина...

— К сожалению, я к тому Оссиану никакого отношения не имею, — прервал он меня, — а моя фамилия пишется через «я» и с одним «с».

После этого я взглянул на него с удовольствием и с полной доверительностью и, заполнив карточку, не стал ему предлагать Клаузевица, а выдал «Алмазные копии царя Соломона» Хаггарта как знак моего высшего признания, потому что Клаузевица у меня в библиотеке было хоть завались, экземпляров пятьдесят, а собрание сочинений Хаггарта в сойкинском издании, неведомо каким чудом попавшее в библиотеку нашего полка, читалось парасхват. На него у меня даже была очередь.

Потом началась война. Сто шестьдесят четыре дня обороны Гангута. Тут уж было не до преимущества Хаггарта перед Клаузевицем. Будь он проклят, этот Клаузевиц! Фашисты, пользуясь его стратегией и тактикой, жали на всех фронтах. И среди защитников Гангута все больше появлялось ребят, которым неоткуда было получать писем.

Меня перевели работать в базовую газету «Красный Гангут», и с Оссианом я виделся только один раз, да и то мельком, когда мне поручили конвоировать пленного из Лаппвика в штаб базы. Естественно, что мне было не до беседы, и мы обменялись незначительными фразами.

Я понял только одно из этой встречи, что Осияну тоже неоткуда получать писем.

Потом мы по приказу Верховной ставки были эвакуированы в Ленинград. И голодный город вместе с полуголодными войсками пять суток жил на привезенном нами пайке. Нас стали называть гангутцами. И на нашу долю достались самые сложные бои и по прорыву блокады, и по окончательному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Но Лене Осияну не пришлось пройти по Дворцовой площади в блеске славы и орденов, в день возвращения Ленинградской гвардии в Ленинград, в тот самый Ленинград, где его дядя, кавалер Георгиевского креста солдат Тихон Васильевич Осиян, стоял на часах у дверей кабинета Владимира Ильича Ленина в Смольном.

Леонид Осиян был ранен в первой же операции под Арбузовым, около Ивановских порогов, на левом берегу Невы, в сентябре 1942 года, где наши гангутцы, под командованием батьки Симоняка, пытались соединиться с гарнизоном Невского пятачка, и, в случае успеха, выйти на соединение с Волховским фронтом.

Этого, к сожалению, сделать не удалось. Но наши солдаты в этой операции поняли одно, что фашистов бить можно, что они не выдерживают наших атак и откатываются, как миленькие.

Это понял и сам Леня Осиян, когда вместе с другими перебежал от дерева к дереву на дымном холодном расвете расстрелянного орудиями и прошитого пулеметными очередями дня и плюхался в болотистую, покрытую жухлой травой почву, чтобы прицелиться и выстрелить вслед убегающим в маскировочных халатах фигурам.

Ему даже было весело от этих перебежек, словно они в самом деле приближали его к Осияновой горе, за которой вот-вот должна показаться речка Высь и тропинка через майдан к школе. Ему даже казалось, что он бежит по этой тропинке, боясь опоздать на урок.

Первая пуля скользнула ему по левой руке. Сначала она обожгла запястье, потом ударила в предплечье, и он упал к подножию чахлой березки, чтобы перевести дух и осмотреться.

Ветер дул с Ладоги, резкий и порывистый, и сносил к Неве черную гриву дыма от горящего газойля.

Рядом слева и справа, пронзительно взывая, над-

сально рвались мины, и из нашего тыла глухо ухали тяжелые калибры.

Кругом было пусто в этом болотистом, низком лесу, прелая земля, вывороченная танковыми траками, пахла горечью гнилой листвы и тротила.

Он перевернулся с боку на бок и лег в танковый след, за бугор, как за бруствер окопа. Руку жгло, и кровь, вытекающая из рукава, щекотала в локте кожу и противно склеивала пальцы, темнея и сгущаясь.

Миномет фашистов был где-то совсем рядом, потому что он слышал выстрелы, четкие и резкие хлопки и нарастающий вой мин.

Фашисты действовали методично, квадрат за квадратом прочесывая этот низкорослый, болотистый лес, как бы прощупывая его, они подбирались к танковому следу, где лежал Осиян и пытался вытащить из противогАЗа индивидуальный пакет, чтобы перевязать левую руку. Ремень, как нарочно, затвердел и разбух и пряжка сумки не поддавалась пальцам правой руки, тогда он попробовал открыть ее зубами.

Он не услышал своей мины. Она оглушила его, сразу бросив в темноту небытия, и он даже не успел почувствовать боли ни в раздробленной по щиколотку ноге, ни в спине и ни в затылке от впившихся раскаленных осколков.

Его не было. Мгновение... День... Два... Три... Не все ли равно сколько. Ведь у небытия нет времени.

Он лежал на земле за коричневым торфяным бугром, лежал, как сама земля, темный и неподвижный, и утро третьего дня боя местного значения (как об этом будет сказано в сообщении Совинформбюро) пыталось заглянуть под его плотно сомкнутые ресницы. Оно обронило ему на губы осиновый листок. Оно железно прошелестело над ним дальнобойным снарядом. Оно пахнуло ему в ноздри запахом пороха и дыма. Оно пыталось войти в его ушные раковины ревом мин и трескотней автоматов.

Он был неподвижен; казалось, утро бессильно было что-либо сделать с ним.

Тогда оно пошло на хитрость.

Разогнало ладожским ветром низкие дымные облака, и скорбное солнце боя через рваный просвет заглянуло в бледное лицо Осияна. И снова скрылось, и снова выглянуло. Скольжение света и тени как бы оживило солдатское лицо. Свет солнца был скуп, но его хватило для того, чтобы разбудить муравья, забравшегося на ворот-

ник осияновской шинели от холодного одоления ночи. И муравей приподнялся на тонких пружинистых ножках, повертел в стороны головкой и пошевелил усиками. Потом он вполз на щетинистый подбородок Осияна и скрылся в левой ноздре.

Осиян чихнул, и открыл глаза, и застонал от невыносимой боли. И эта боль сработала, как укол адреналина в сердце, — она заставила его биться сильнее, и кровь, еще оставшаяся в артериях и капиллярах, понесла жизнь онемевшим членам. Осиян прислушался и, собрав силы, выглянул из своего укрытия.

Он увидел две мышинного цвета шинели и миномет метрах в сорока от себя. Они сидели к нему спиной, видимо, у них был перерыв. Осиян пригнув голову и, нащупав автомат, долго и тщательно прилаживал его между вывороченными корнями. Теперь он держал их на прицеле. У него все было готово. Стоило только нажать на спусковой крючок. Это занятие отогнало боль. Ему не хотелось стрелять в спины. Он стал дожидаться и, когда увидел повернувшееся к нему лицо немца, дал длинную очередь и, еще не оторвавшись от прицела, понял, что попал, что они больше не поднимутся, и речка Высь блеснула перед глазами солнечным перекатом. Но он не заметил третьего немца, который лежал метрах в двадцати правее минометного расчета. И фашист, почти одновременно с очередью Осияна, дал очередь по нему.

И солнце, нестерпимо жгучее и яркое, вспыхнуло в самой голове Осияна, и мир опять померк.

Его вытащила Зоя Коваленко, по каким-то только ей одной понятным признакам определив, что он живой. И Яша Гибель, ангел здоровья нашего полка, осмотрев и перевязав Осияна, направляя его в тыл, сказал шоферу санитарной машины, чтобы вез поосторожнее, а сам про себя подумал, что с этим солдатом ему уже никогда не придется встретиться. Так решили и в штабе полка.

Но Осиян выжил. Наш Леня Осиян выжил вопреки всему. Вопреки медицине и здравому смыслу. Насчет медицины я, конечно, с разгону сказал лишнее. Она-то и сделала чудо, вырвав Осияна из безнадежности, из дикой пустыни страдания. Она и поставила его на ноги, вернее на одну ногу и один протез, она вернула ему зрение и слух. И его глаза опять засверкали из-под ресниц блестящим вечного праздника. И только сжатый рот, вытяну-



тый узкой полоской, говорил о том нечеловеческом упорстве, которое вынесло это, по сути беспомощное, искромсанное сталью тело.

Яша Гибель ошибся, к счастью, на этот раз в своих прогнозах. Если бы он так почаще ошибался, ангел нашего здоровья, Яша Гибель! Нет, это был один-единственный раз!

И я получил письмо из села Потоки от Лени Осияна. И он писал своим четким, слегка округлым красивым почерком:

«Ты прав, гангутцы не сдаются никогда и никогда не будут нахлебниками. Я вынес пять операций, чтобы не быть нахлебником. Оказывается, я был ранен шесть раз. Шесть ран и одна пулевая сквозная — в голову. У меня удалили семь кубиков мозга. И я жив, и чувствую себя нормальным. Я только ничего не помню с той поры, как мне пуля в голову попала. Вместе с семью кубиками мозга начисто ушли все воспоминания о страданиях. Как ни странно, но эта пуля оказалась милостивой для меня. А чтобы не быть нахлебником, я, вернувшись в свой колхоз, пошел на курсы бухгалтеров и окончил их не хуже своих молодых товарищей по курсам. Я стал работать бухгалтером колхоза. Потом меня замучили цифры. И я пошел на курсы библиотекарей, и теперь заведу библиотекой. Я научился ездить на велосипеде и целые дни петляю по полевым тропинкам из одного полевого стана в другой, развожу газеты, устраиваю громкие читки. И никто меня нахлебником не считает».

Он переписывался не только со мной. Его письмам, полным света и юмора, был рад и командир полка Александр Иванович Шерстнев, и разведчик Алеша Бровкин, и сам дядя Яша Сукач, и рыжий, как бог, подполковник Хорьков, бывший командир первой роты нашего полка. Осиян звал нас в гости в свое село Потоки, обещая рыбалку, вареники и еще кое-что посерьезнее. И мы обещали к нему приехать. Я рассказал об Осияне и его судьбе генерал-лейтенанту Сергею Ивановичу Кабанову, бывшему командующему гарнизоном на полуострове Гангут, и он послал ему свою книгу «На дальних подступах». Потом Осиян приехал в Ленинград на встречу земляков-гангутцев.

Я посылал ему свои книги. А он однажды прислал мне посылку с яблоками из своего сада, с той самой яблони, которую он вырастил сам после войны и назвал

«Гангутовка». И я плакал над этими яблоками слезами умиления и восторга.

А потом я получил письмо без подписи, написанное, судя по почерку, женской рукой, написанное с тем чувством глубокой заинтересованности в судьбе Леонида Петровича, которая яснее ясного говорила о том, что мой однополчанин одиночеством не страдает, что есть на свете женская душа, причастная к его судьбе.

Михаил Михайлович Литвинцев, начальник отдела юстиции Черкасского облисполкома, с которым я вместе добрался из Киева в Черкассы, оказался любезным человеком и утром дал мне свою машину, и шофер Миша, заехав за мной в гостиницу за два часа ясным утром мартовского дня, еще по морозцу, сковавшему лужицы, доставил меня в Потоки. И Леня Осиян встретил меня на майдане около правления колхоза. И мы, обнявшись, вошли в просторную хату его сестры Натальи Петровны, и хозяин хаты, тракторист Владимир Павлович, пригласил нас к столу. Потом мы зашли в клуб, и я увидел рядом со входом в библиотеку портреты односельчан Осияна, погибших в Великой Отечественной войне. И добрая треть из этих, как бы на вечные времена застывших в своей молодости лиц, были Осиянами, родственниками нашего однополчанина Леонида Петровича Осияна. А потом Леня рассказал мне о том, что его дед Иван Иванович Осиян, полный Георгиевский кавалер, выпив горилки, любил напевать:

Ще не вмерла слава Осияна  
Вод Петра Великого до Хмельницького Богдана.

Да. Род Осиянов — род солдат, вечных защитников этой благословенной земли, политой их благородной кровью. А на улице сверкало солнце и льдистый воздух зимы уже не мог с ним справиться. Весна коричневатозеленым туманом уже гнездилась в голых ветках пирамидальных тополей и яблонь. И речка Вись сверкала на перекатах, смеялась и пела свою нехитрую песенку.

Много видела речка Вись за свою жизнь. Когда-то по ней проходила граница между Запорожцами и турецкими постами. Теперь она разделяет Черкасскую и Кировоградскую области. И мы стояли на ее берегу и любовались ее игрой, светлой и неумирающей. Потом мы пошли

в школу, где когда-то учился мой однополчанин Осиян. Потом мы, перейдя майдан, вошли в новую хату Осияна, и мне было приятно смотреть на хозяина хаты, на то, с какой радостью он говорил мне о том, что вот эту печь он сложил сам, вот этими самыми руками, и Леня показывал мне свои руки, вытягивая их перед собой, как бы дивясь им, дивясь тому, что они снова ему подчиняются и могут делать доброе дело.

А вечером была встреча в колхозном клубе, где духовой оркестр колхозников играл «На сопках Маньчжурии» и «Дунайские волны», и крупные звезды спускались пониже, чтобы заглянуть в окна человеческой радости. И Леонид Петрович Осиян обращался к пионерам, повязавшим нам на шею галстуки: «Берите в союзники себе мужество, ведь мужество в беде это всегда половина беды». И так-то у него все это красиво и ладно звучало, что я заслушивался его словами. Значит, жив солдат!

Значит, он необходим здесь на своей земле, своим милым людям.

А сцену уже заняли школьники, и я полтора часа слушал свои собственные стихи, и мне казалось, что будто бы их написал не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. А когда ведущий звонким голосом объявил, что он хочет прочитать «Мой походный котелок», Леня улыбнулся мне и прижал палец к губам, как бы предупреждая меня, чтобы я слушал внимательнее:

Поднималась пыль густая  
Вдоль проселочных дорог.  
И стучал, не уставая,  
Мой походный котелок.

И я ушел душой в те времена, когда мы познакомились с Леной в нашей полковой библиотеке на полуострове Гангут. Значит, Леня все-таки прочел тогда журнал «Звезда», где эти стихи впервые были напечатаны. И мы опять с Леной стали мальчишками и, беззвучно шевеля губами, читали каждый про себя:

...И опять пошел в дорогу,  
Дует ветер, путь далек.  
И подсчитывает ногу  
Мой походный котелок.

Значит, наша жизнь и наша судьба, наша солдатская страда были не напрасными.

Утром я уехал, пообещав Лене вернуться, чтобы посадить яблоню возле хаты старого солдата Леснида Петровича Осияна.

Машина шла ходко, и деревья в белых чулках, еще наполовину сонные, деревья набегали и расступались перед ветровым стеклом, а сзади пропадала в сизой дымке наступающего дня зеленеющая озимью Осиянова гора.

*1975*

Бориса Волкова я встретил в мае сорокового года на полуострове Ханко. И он, и я уже отведали пороха финской войны и вдосталь надышались сорокаградусным ветром Карельского перешейка и спертым воздухом теплушек и землянок. Он был молод и добр добротой рабочего человека, не избалованного жизнью. Он был в семье старшим, рос без отца. Он пробовал беспризорничать, но из этого ничего не вышло. Где-то на Каме его подобрали рыбаки. Подарили ему двухпудовую стерлядь и санки. И он около ста километров вез эту стерлядь на санках домой к матери, к родным Каслям. Больше он не бегал из дому. Ему некогда было учиться, и он с грехом пополам дотянул только до пятого класса. Он всегда увлекался рисованием и ходил к старым мастерам на завод чугунного литья.

Мы с ним сошлись быстро и навсегда. У него были краски и этюдник. Его устроили работать в клуб. И он не расставался с кистями и грунтованным картоном.

В Доме офицеров он устроил выставку этюдов и картин. Он бредил Серовым и Фешиным. Он работал с упоением и страстью ребенка, которому впервые дали цветные карандаши. Кого бы он ни рисовал, он всегда рисовал сам себя, немного неуклюжего, голубоглазого и доброго. Он не любил писать автопортреты. Но у него получались всегда автопортреты. Началась война, и он стал работать в газете. В это время к нам на полуостров приехал замечательный художник Борис Пророков, и наш Волков влюбился в него, как красная девица. Это была первая любовь начинающего таланта к опытному мастеру.

Он перерисовал всю Восьмую особую бригаду. Он пошел вместе с этой бригадой, потом преобразованной в гвардейский корпус, через прорыв ленинградской блокады. Он был участником боев под Пулковом, под Нарвой. Он закончил войну в болотах Курляндии. Он стал воином и художником. Он знал солдатскую жизнь. Он любил и жил этим солдатским братством. И его тоже любили побратски.

Дело прошлое. Теперь об этом рассказать можно. Да по совести, в этом и не было состава преступления.

Был сорок пятый год. Ленинградская гвардия с победой вернулась домой. Многие думали о доме, об устройстве своей мирной жизни. Борис Волков мечтал об Академии художеств. Он робко пришел в академию и показал свои работы Орешникову и Мыльникову. Они увидели в нем настоящего художника и поверили ему безоговорочно. Да ему и нельзя было не поверить. Но с пятилетним образованием в академию поступить трудно. Волкову пришел на помощь мудрейший писарь нашего полка Теслюк. Он с ведома генерала Симоняка выдал Волкову справку, в которой черным по белому было написано, что он, Борис Васильевич Волков, по спискам личного состава энского полка имеет среднее образование. Это была ложь во спасение. Волков за два месяца подготовился к экзаменам. И сдал их, в том числе, к великому удивлению, сдал даже экзамен по французскому языку. Это был подвиг, небывалый в истории академии.

И он учился самозабвенно. Пять лет не отрывался он от мольберта и окончил академию на «отлично».

Он уехал к себе на родину, в Свердловск. И вот прошло десять лет. Я встречал его работы на выставках. Я видел репродукции с его картин. Его полотна висят во дворцах культуры и музеях. Его картину «Казнь Фучика» наше правительство подарило Чехословакии.

И вот он опять вернулся в академию вместе с выставкой «Советская Россия», вернулся мастером, умеющим искусной рукой передавать на полотне душу своего современника.

Вот я сейчас стою перед его картиной «Сорок первый год». Я не вижу картины. Я вижу уставших бойцов, спящих тревожным сном, я вижу дневального и молча разговариваю с ним. В «буржуйке» потрескивают дрова. За раскрытой дверью плывет тревожная ночь, и вагон, покачиваясь на стыках, идет к победе.

У картины пропадает рамка. Картина становится самой жизнью.

Картина написана сердцем.

У сердца не может быть рамок.

У Бориса Волкова доброе сердце и умелая рука мастера.

## ТОВАРИЩИ МОИ...

Я очень люблю смотреть на Неву, особенно летом. Она всегда в работе. Катит свои волны, спешит, раскачивает буксиры и катера, дробит мелкой волной отражения облаков и набережных, упруго шлепается о днища «Метеоров» и «Ракет», слегка подбрасывая их, а они, как белые киты, скользят над водой, оставляя сзади буруны пены, и расходящиеся углом волны набегают, закручиваясь, на гранитные парапеты и обдают разогретый камень брызгами, потом «Метеоры» ныряют под пролеты мостов, как под ажурные радуги, и скрываются из глаз. Можно следить часами за этим вечным движением рабочей воды. Смотреть, и думать, и замечать, что твои раздумья обретают какой-то особый, успокаивающий ритм, сходный с этим волнообразным, непрекращающимся движением.

Я жил тогда около Охтинского моста, на улице Красных текстильщиков, и летом все свободное время пропал на набережной, ходил от причала к причалу или забирался на дебаркадер. На дебаркадере было похоже на что-то среднее между рестораном и буфетом небольшое заведение столиков на десять, где можно было заказать кружку пива или рюмку коньяка, горячие сосиски, бифштекс и яичницу с ветчиной, сесть около раскрытого окна, откинуть занавеску, следить за движением зайчиков на белых скатертях, на потолке и посуде. Смотреть на Неву, сидеть, вспоминать и думать, дышать этим влажным, пропахшим водорослями и мокрой древесной корой воздухом.

Я был там своим человеком и у буфетчицы Лиды пользовался полным доверием вплоть до небольшого кредита.

В будние дни ресторанчик был почти пустой, и мне никто не мешал оставаться наедине со своим блокнотом. В воскресные дни я туда не ходил, потому что там было

очень шумно от бесконечных экскурсий и коллективных вылазок на природу, от разноголосицы усилителей на катерах и «Метеорах», старающихся перекричать друг друга, запущенных на полную мощность.

Вот там я и познакомился с этой компанией, вернее, с этим своеобразным кругом товарищества из Дома инвалидов Великой Отечественной войны.

Вот у них-то действительно не было никого, кроме Родины, которой они отдали все — и душу, и тело. Они жили воспоминаниями, разжигавшими и одновременно успокаивавшими их шрамы. Их было человек двенадцать, и они каждый месяц два раза на своих катках, колясках и костылях, поддерживая и помогая друг другу, являлись на дебаркадер. Они тоже были здесь своими.

Лида сдвигала по уже заведенному обычаю три столика вместе, расставляла стулья и помогала им рассаживаться.

Они являлись на эти своеобразные празднества при всех регалиях, вымытыми и выбритыми, и Лида, рассадив их по своим местам, обыкновенно спрашивала:

— Как всегда?

— Как всегда! — отвечал за всех сидящий во главе сдвинутых столиков человек с обручком вместо левой руки и безногий. Он подъезжал к дебаркадеру на трехколесной коляске с мотоциклетным мотором на малой скорости, стараясь не обогнать своих товарищей. Покалечило его на Невском «пяточке», но об этом, как и все его друзья, он рассказывать не любил. На его синем морском кителе поблескивали ордена Ленина, две Красные Звезды, гвардейский знак и медали. Иногда я встречал его на улицах Ленинграда, и он останавливал коляску, здоровался со мной, как со старым знакомым. А однажды я его встретил в Зеленогорске, и он довез меня до Ленинграда.

Он останавливал свой драндулет около дебаркадера, подвязывал ремнем свои бедра к катку на роликах и сам по отлогой лестнице спускался в ресторанчик. Лида помогала забираться ему на стул. Он был у них за старшего.

Напротив него, около двери, садился бывший разведчик, подорвавшийся на mine под Колпином, у него не было кисти на левой руке, ноги были парализованы, и слепое лицо синело от въевшегося в кожу пороха.

Разведчик привозил с собой баян.





русский язык, тоже, видимо, ощутили всю трагическую нелепость ситуации.

Наступила тишина. В воздухе повисла шаровая молния, готовая разорваться каждую секунду. Напряжение ожидания развязки росло.

И в этой тишине я опять услышал голос старшего:

— Лида, придвинь еще столик и достань из холодильника три с тремя звездочками.

Стол был накрыт. Закуска и коньяк поставлены. Стулья пододвинуты.

— Садитесь,— обратился старший к лейтенантам.— Чем богаты, тем и рады. Лида, налей-ка им по штрафной. Ваше здоровье.

Лейтенанты чокнулись со всеми полными стаканами коньяка, недоуменно вглядываясь в глаза каждого.

— До дна, до дна! — не то командовал, не то подбадривал старший. Никто ничего не вспоминал. Никто никого не уговаривал.

Шаровая молния, раздвинув занавески, выскользнула в окно и растворилась в солнечных зайчиках, в завитках волн, разбивающихся о парашют. Дебаркадер слегка покачивало. Слепой разведчик скользнул по басам культей левой руки, и над столом возникли опять «Осенний сон» и «Волховская застольная». После третьего стакана у лейтенантов округлились глаза, и они начали подпевать. Песня была ладной, согласной, как и положено хорошей песне в хорошей компании.

Вспомним о тех, кто командовал  
ротами,  
Кто умирал на снегу,  
Кто в Ленинград пробирался  
болотами,  
Горло ломая врагу.

— Нам надо было обязательно познакомиться, — сказал старший лейтенантам и, обращаясь к Лиде, добавил: — Расплачиваемся мы. С гостей не получать!

Потом они встали из-за стола. Старший сполз со стула, привязал свои бедра ремнем к доске с шарикоподшипниками, поблагодарил Лиду.

— Проводим гостей, — сказал старший.

Народ останавливался и смотрел на эту странную процессию. Двенадцать инвалидов на колясках и катках, подпираясь костылями и палками, довели пошатывающихся лейтенантов до троллейбусной остановки и

попрощались с ними. Потом откуда-то появились вездесущие мальчишки и повезли инвалидов, подталкивая их коляски сзади, к Дому хроников, через площадь мимо Смольного, и стоящий на посту милиционер улыбнулся им и отдал честь.

В сквере у Смольного цвели липы, и нефтяной запах разогретого асфальта смешивался с запахом свежего меда.

1972

## ТРИЖДЫ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МЕНЯ!

Сегодня ночью выпал снег, и, видимо, надолго, потому что он плотно прикрыл серое полотно асфальта на проезжих набережных Невы и белые змейки поземки уже не в силах его слуть. Нева, контрастируя с белым снегом, потемнела, и ее отяжелевшие волны медленно раскачивают заякоренные бочки. Завтра-послезавтра в Неву войдут на праздник корабли и встанут у этих причальных бочек носами против течения: здесь, ниже Литейного моста, разместятся подводные лодки, от Кировского до Дворцового — тральщики, ниже Дворцового — эсминцы, а за мостом Лейтенанта Шмидта встанет красавец крейсер, замыкая своей грозной громадой праздничный горизонт неподвижных порталных кранов.

Море никогда не бывает скучным, потому что оно все время в движении, даже в самый тишайший штитель, оно изменчиво и движется куда-то, как мысль в своей меняющейся неподвижности. А что говорить о Неве, ее судьба и назначение — в этой вечной стремительности зыбкого движения к океану.

Я люблю море и люблю Неву.

Мне нравится ритм движения волн. Он, наверное, под стать ритму моей крови, моего дыхания.

Я только что прошел пешком от Дома писателя имени Маяковского к себе на Кировский. Я шел по набережной мимо Летнего сада и думал о Маяковском. Вернее, я сначала вспомнил не Маяковского, а серый осенний день в сером осеннем городе Ньюкасле на восточном побережье Англии. Там я побывал несколько лет назад вместе с Виолеттой Пальчинскайте, по приглашению славянского факультета Ньюкаслского университета и местных поэтов.

Местные поэты располагались в круглой сторожевой башне среди развалин римской крепостной стены. В комнате с зарешеченными окнами кроме стола и железной печки было несколько стульев и шкаф, набитый

остатками от тиража журнала «Железо», через который они, по их словам, своими стихами боролись с современным фашизмом в Англии. Когда мы познакомились, я сказал им о том, что самые прекрасные книги в мире написаны на чердаках или в подвалах, а так как их башня похожа на то и на другое одновременно, значит, здесь должно возникнуть что-то прекрасное. Это им понравилось, и в башне потеплело. Потом мы читали стихи. Мы — по-русски и по-литовски, они — по-английски свои стихи и переводы наших стихов. А я во время этого согласного общения заметил на стене плакат-афишу, размером в газетный лист, с изображением Маяковского. Этот плакат был выразителем, скуп и дерзок, он, очевидно, прибавил дружелюбия и взаимности в наш разговор, и я, вспомнив сотрудников музея Маяковского в Москве, влюбленных в свое дело и в Маяковского, подумал о том, как они обрадуются плакату, если я привезу его в Москву, и, недолго думая, сказал об этом своим новым друзьям и, конечно, тут же получил плакат.

Я шел, вспоминая об этой встрече, вдоль парапета Кутузовской набережной к Кировскому мосту, и белые змейки поземки, выскакивая из-за моей спины, клубясь и свертываясь, обгоняли меня, и легкие хлопья снега бесследно исчезали в волнистой поверхности почти черной тяжелой Невы.

Река моей памяти текла параллельно невшскому течению, и переход волн одной в другую был непостижим в своей закономерности, в этих параллельных течениях, и между отдельными волнами была своя логическая связь непрерывности цепи из прошлого в будущее.

Вслед за Маяковским я, естественно, вспомнил Пророкова. Да, я не оговорился — их связь для меня естественна, и я пишу все это затем, чтобы она стала естественной и для вас.

Все дело в том, что Маяковский сделал чудо для Пророкова, а Пророков в свою очередь сделал такое же чудо для меня.

Но начнем по порядку.

Борис Иванович Пророков — мой земляк, он родился в Иванове, в городе мастеров ситца, в городе первого Совета рабочих депутатов. Этот город испытал разгул казацких нагаек и пашек на зеленых берегах речушки Талки, которую теперь, в память о тех днях, называют Красной Талкой.

Я знал Бориса Пророкова еще задолго до того, как мы встретились и познакомились. Он был старше меня на пять лет, и эта разница в возрасте давала ему право уже потом, в пору нашей дружбы, напоминать мне в удобных ситуациях о том, что, когда меня еще не было на свете, он уже видел расстрел демонстрантов на Приказном мосту. И я после этого замечания умолкал, понимая свое положение, определяемое понятием «молодо-зелено».

В конце двадцатых годов, заканчивая девятилетку, он послал несколько своих рисунков на конкурс в «Комсомольскую правду». Послал — и получил первую премию. А потом редакция вызвала его в Москву и сделала художником «Комсомольской правды». И Владимир Владимирович Маяковский, будучи тогда сотрудником молодежной газеты, первым пожал руку молодому художнику, восхищаясь его рисунками. И это определило судьбу Пророкова и как бы закрепило на все время его неизменную любовь к Маяковскому.

Пророков сразу попал в самую гущу времени, в самое средоточие главных его событий и не растерялся, а нашел себя и свое место в этом времени. И помню, как я, будучи фабзайцем, в начале тридцатых годов, считал стихи Маяковского и рисунки Пророкова явлениями одного порядка, одного смысла и направления — чистоты и стремительности Революции. Они были для меня не просто явлением жизни, а чем-то большим, каким-то ключом, открывающим для меня новый день.

Я смотрел на Пророкова и на его ежедневную работу издали и никогда, конечно, не думал, что судьба сведет нас вместе, схлестнет волну его судьбы с волной моей судьбы в этом необозримом океане жизни.

После зимней кампании 1939/40 года я служил на полуострове Ханко во взводе разведки полковой батареи. Сначала мы обживали полуостров. Строили укрепления и казармы, отрабатывали взаимозаменяемость в артиллерийских расчетах и выезжали коней. Сейчас я ума не приложу, как я все это успевал делать, да еще находил время кое-что заносить в заветную тетрадку — о морозе и огне Карельского перешейка, опаливших мою душу предчувствием новой катастрофы.

Великая Отечественная война меня застала там, в этом чертовом пекле, у черта на куличках. Меня перевели работать в газету. И я, вспомнив опыт Маяковского, делал все: писал лозунги и заметки, обзоры и очерки,

стихи и частушки, все, что требовали жизнь и смерть, долг и совесть, необходимость единственной победы, и сама жизнь понемногу подогривала уверенность в необходимости этой работы.

Пророков пробрался на наш полуостров в конце июля с назначением в базовую газету. И мы встретились. Он еще не потерял ивановского говора, и буква «о» каталась в его речи, округлая как обруч. Для меня он был овеян славой, его лист «Бегство белых из Одессы» я видел в Третьяковке. А у меня ничего не было за спиной и полная неопределенность впереди. Он меня не знал, но при первой встрече, как мне показалось, сразу понял меня, разговаривая со мной как равный с равным, поднимая меня тем самым из припущенности жизненной неопределенности к свободной высоте, присущей ему, к духовной самостоятельности и свободе ответственности.

Мы стали работать вместе. И я воспарил духом.

Умение быть самим собой в любой обстановке было главной чертой его характера. Его достоинством, защитой и обаянием, его творческой сутью, рожденной самим временем, как что-то очень незаменимое для этого времени.

А наш полуостров был жарким местом. Он простреливался насквозь вдоль и поперек артиллерийским огнем. Немцы совместно с финнами пытались несколько раз прорвать оборону на сухопутной границе. Но ничего не вышло. Наш гарнизон не дрогнул. Больше того. Мы сами, улучшая наши стратегические позиции, заняли девятнадцать островов. И каждый оставшийся в живых из тридцатитысячного гарнизона Красного Гангута вправе сказать сейчас, что он не знал отступления. Да, фашистские орды были под Москвой. Да, Гитлер замкнул кольцо железной блокады вокруг Ленинграда. А мы стояли насмерть. И наступали там, на нашем полуострове.

«Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество не забудет, как горстка храбрецов, патриотов земли советской, презирая смерть во имя победы, являла пример невиданной отваги и героизма. Великая честь и бессмертная слава вам, герои Ханко». Так написано о нашем гарнизоне в газете «Правда» в ноябре 1941 года. Это — рецензия на нашу жизнь, в том числе и на жизнь и смерть Бориса Ивановича Пророкова.

В него нельзя было не влюбиться. Он обладал удивительным свойством притягивать к себе людей, делать

их откровеннее и благороднее. И в подвале нашей редакции «Красный Гангут» всегда были гости. Герой десантных операций Борис Гранин был здесь своим человеком. Сюда заходили летчики, первые Герои Советского Союза на Балтике, Антоненко и Бринько, здесь бывали торпедник Афанасьев, снайпер Исаков, военврач Коровин и складская работница Аня Молитвина, считавшая себя тыловой мышью и просившаяся в разведку к Гранию.

В каждом номере газеты мы вели отдел «Гангут смеется», и после сводок Информбюро он у наших читателей пользовался особым вниманием и спросом. У нас не было цинкографии — Борис Иванович освоил гравюру на линолеуме. И наша газета зацвела портретами героев и карикатурами. Когда ему трудно было справиться одному с этой работой, над пластинами линолеума склонялись головы Бориса Уткова, и Бориса Волкова, и списанного по болезни с торпедного катера аккуратного, как красная девица, Вани Шпульникова.

Стихотворные подписи под рисунками были на моей совести.

Растяпа финская кума  
Была от немца без ума.

Поверя наглости пустой,  
Пустила немца на постой.

Теперь от слез сошла с ума:  
С сумой осталася сама.

Кто-то из защитников Ханко недавно мне прочел это по памяти. Тридцать пять лет помнит. Значит, чего-то это стоило в его жизни.

Сто шестьдесят четыре дня гангутской обороны — особая страница мужества в истории нашего народа.

Борис Иванович Пророков был прекрасным солдатом Родины, потому что ненавидел войну. Мужество было для него естественно, как дыхание.

За день до эвакуации остатков гарнизона мы пошли с Борисом Ивановичем проститься со своим полуостровом. Мы шли среди пустых дачных домиков, среди хаоса развалин от бомбежек и артобстрелов, припорошенных снегом. Белые змейки поземки, так же как и сегодня, обгоняли нас и, закручиваясь, скользили по мерзлой земле. Мы шли молча. И вдруг он остановился и поднял белую доску. Перевернул и прочел: «Улица Маяковско-



го». И сказал: «Это я обязательно в Москву привезу, в музей Маяковского. Ведь это удивительно, что здесь была улица его имени».

Это было тридцать девять лет назад.

Еще танки Паулюса готовились к переправе через Волгу.

Еще под Ленинградом офицеры рейха не повыбрасывали из своих карманов билеты на победный бал с фюрером в ленинградской «Астории»...

Еще оставался год с лишком до прорыва блокады, которую, кстати говоря, потом прорвут и соединятся с Волховским фронтом первыми гангутцы.

Еще нам предстояло добраться до Ленинграда и чудом спастись с подорванного тремя минами корабля.

И у самого Бориса Ивановича впереди был блокадный Ленинград, Малая земля, контузия под Выборгом и праздник дня рождения в День Победы девятого мая в Берлине.

Все это было впереди.

А он думал о музее Маяковского. Для него не было сомнения в том, что мы победим. Этим жил он, этим убеждением жил весь героический гарнизон Гангута, который он считал своей семьей.

Как художник он всегда меня поражал целенаправленностью. Беспощадно отсекая лишнее, он старался каждую свою работу довести до символа. Вглядитесь в его листы. Они кричат, неистовствуют и предупреждают. В них страсть и мастерство нераздельны. Его рисунок, где изображена женщина с винтовкой за плечом, кормящая грудью ребенка, воспринимается моей душой как памятник нашей матери-Родине, ее воле и славе, ее любви и бессмертию.

А война мстила ему и не давала работать, и волосы его, волнистые русые кудри, превратились от страданий в желтоватый легчайший пух.

Он писал мне, вспоминая наш переход с Ханко в Ленинград: «Ведь до смерти было не четыре шага, а четыре вершка, четыре секунды, и, коль уж судьба даровала нам жизнь, не должны ли мы отдать ее всю борьбе за то, чтобы это никогда не повторилось».

Я понимаю, что стихами и картинками войны не остановить, но надо же что-то делать. Помню, в Выборге внезапно среди голубого полдня появился вражеский самолет и бросил бомбу на переправу. Я шел по набереж-

ной в черном флотском мундире с большим «крабом» и с папкой, и летчик, приняв меня за генерала, пошел прямо на меня. Он летел тихо и очень низко, так низко, что наши взгляды встретились. Он дал по мне пулеметную очередь, я успел четыре раза выстрелить в него из пистолета. Смешно стрелять из пистолета по самолету? Но надо же было что-то делать. Так и теперь. Да к тому же — Гитлер начал с того, что запретил Кете Кольвиц и выгнал ее из Академии.

Почаще напоминай людям о тернистом пути нашем к миру. Ведь есть поэты, которые пели о сирени и черемухе, как она мутно-голубым пятном отражается в черных лужах крови. Не сердись — сирень хорошая вещь. Сам помню, как природа голосовала против войны, поднимая сиреневые лапы. Вот в том же Выборге было. Наши гаубицы замаскировались в сквере в кустах цветущей сирени. Как выстрел — так в небо летит фейерверк сирени. Я рисовал, и одна ветка упала на мой рисунок, и опять я вспомнил о тебе тогда, ты бы сумел поведать миру ее печаль».

После войны у меня появилось много друзей в Финляндии, и я бывал там раз десять, не меньше. Бывал я и на полуострове Гангут. В 1975 году меня встретил мэр города Ханко, угостил обедом и на пограничном судне вместе со мной обогнул по шхерам весь полуостров. Потом я пошел к памятнику моим товарищам, погибшим на полуострове. А потом остановился около петровской пушки, где мы когда-то наклеили с Борисом Ивановичем листовку с надписью «Мы еще вернемся». Потом сошел к прибрежному припаю и взял две горсти мелкой гальки и положил ее в карманы. И молодой мэр грустно и понимающе улыбнулся мне. Одну горсть я рассыпал на могиле генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Кабанова, нашего гангутского командующего. Другую горсть мне надо отнести на могилу Пророкова.

А Борис Иванович вел, оказывается, дневник, вел до последних дней своих, и в этом дневнике есть такие слова: «Я бился до последнего патрона, и вот я говорю: трижды да здравствует жизнь после меня!»

И мне хочется, чтобы вы помнили эти слова в будни и в праздники вашей жизни, над вашей рекой любви и печали.

## КОМИТЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Конечно, я помню стихи Владимира Маяковского о товарище Нетте — пароходе и человеке, сам не однажды, еще фабзайцем, читал их на школьных вечерах, восхищаясь судьбой и мужеством диккурьера. Но я никогда не предполагал, что эти стихи, вдруг преобразившись, сделаются стихами моей судьбы, наполнятся живым трепетом моих личных ощущений, моими ответственностями и печалами.

...Я шел по набережной весенней Ялты, еще пестревшей броскими красками флагов, расцветивавших вчерашний День Победы, и запах цветущего тамариска, сдобренный соленым привкусом начинающего штормить моря, щекотал мои ноздри. Я шел, как и все, в праздничной толпе отдыхающих, наслаждаясь прекрасным днем, синей бездонностью неба, резной листвой могучих платанов и белыми барашками, подчеркнутыми кобальтовой плотностью моря.

У входа в порт покачивался на волнах подобранный паруса парусник, у ближней стенки стояли два пассажирских лайнера, а у дальней стенки, окруженный кранами, стремительно вытянутым корпусом плотно прижавшись к щеке причала, стоял под разгрузкой океанский сухогруз, и мне не надо было напрягать зрение, чтобы прочесть на его борту: «Сергей Смирнов».

Я прочел это имя и, оглянувшись вокруг, мучительно стал искать человека, которому это имя принадлежало, искать вопреки тому, что я знал: его нет и не может быть, ведь я сам провожал его туда, откуда уже нет возврата. Я знал о том, что он, так же как легендарный диккурьер моей юности, превратился в корабль, но, встретив этот корабль, вдруг оцепенел от неожиданности и чудовищной нелепости этого перевоплощения.

Я смотрел на корабль, видел якорную цепь, полого спускающуюся из клюза, видел стрелы кранов, запускающие свои хоботы внутрь корабля. И мне было больно от того, что я видел, словно хоботы порталных кранов

запускали свои щупальцы в мои внутренности, словно якорная цепь свисала не из клюза, а из моей ноздри.

Вот тут память и стала крутить свою ленту в обратном направлении.

Всего каких-нибудь пять-семь лет тому назад я ходил с ним, с живым Сергеем Сергеевичем Смирновым, вот по этой самой набережной, в пестревшей флагами праздника Ялте, и каждый четвертый из праздничной толпы узнавал Сергея Сергеевича в лицо и, указывая своей спутнице или спутнику на него глазами, говорил доверительно: «Смотрите, это Смирнов!» И в этой фразе, кроме обязательного праздного любопытства, звучали нотки восхищения и благодарности.

А он, Сергей Сергеевич, не то чтобы проходил мимо этих знаков внимания, нет, он замечал их и воспринимал как должное, с улыбкой, в которой просвечивала ирония.

Я любил его. Думаю, его нельзя было не любить за влюбленность в жизнь, которой светились его глаза, его улыбка, походка и вся его высокая ладная фигура, выходящая на полголовы в потоке толпы.

Он был человеком широкой души. Масштабным человеком, которому по плечу были грандиозные дела, а вся мелочность отскакивала от него, как клочья пены от крутых бортов идущего полным ходом океанского лайнера. За его крутыми плечами всегда ощущалась, под стать его росту, высокая сила человеческого обаяния.

Сейчас уже не помню, кто — после того как его не стало — сказал мне, что он был в родстве с Маяковским. Может быть. Вполне может быть, и не только по внешним чисто признакам, а по самому миропониманию, по желанию какой-то грандиозной справедливости.

Это вовсе не я назвал его «комитетом справедливости». Так его назвал один инвалид Отечественной войны, который, узнав Сергея Сергеевича, подошел к нам вот на этой же ялтинской набережной тогда, пять или семь лет назад, подошел, раскачиваясь на своих костылях, подошел, улыбаясь и плача, и попросил разрешения присесть вместе с нами на парапет, а потом, приставив к парапету костыли, взял в свои ладони руку Сергея Сергеевича и сказал:

— Спасибо вам за Брестскую крепость!

— Вы были там? — спросил Сергей Сергеевич.

— Нет, — ответил инвалид, — я из Аджимушкая. Но это не имеет значения. Это все равно. Мы одинаково

знаем, что значит стоять насмерть! И я тоже, там, в подземном госпитале, царапал ножом на каменной стене: «Прощай, Родина! Умираю, но не сдаюсь!» Писал. Но поторопился. Как видите, спасли!

Потом мы пошли втроем в «Ореанду» и сели там в кафе на втором этаже за столик около окна, и море было нашим собеседником. Официантка принесла нам по чашечке кофе, по рюмке коньяку и по твердому кружку миндального пирожного... А море под окном, как бы занавешенное зеленой кроной пиний, темнело на наших глазах, перехлестывая белыми гребнями через бетонную спину мола. И наши воспоминания тоже, как волны на мол, накатывали на нас, делая нас однополчанами, старыми товарищами, и то, что было с каждым в отдельности, — было со всеми вместе, и души наши светлели от этих волн, самым ритмом своим подчеркивая необходимость того, что было с нами там, на войне, для этого праздничного дня, для нашей встречи за столиком «Ореанды» и для этого полуденного моря, ни с того ни с сего захотевшего показать свою силу.

А ведь тогда Сергей Сергеевич и вправду походил на Маяковского и очертанием лица, и упрямым лбом, и разрезом губ, и скрытой в прямом взгляде уверенностью в своей правоте. И прической — двумя отдельными крыльями, осенявшими лоб. Только волосы были не темные, а светлые.

Он был человеком щедрой души и умел этой щедростью вызывать собеседника на ответную щедрость, и каждый из нас троих разошелся тогда до такой степени откровенности, переходящей в родство, которая сделала нас богатырями духа и как бы воскресила вдруг в нас все двадцать миллионов героев солдатского братства, оставшихся на кровавых полях войны.

— Я смотрю все ваши передачи, Сергей Сергеевич! Вы сами не понимаете, кто вы есть на самом деле, — вы всесоюзный комитет по делам справедливости. — И инвалид пристукнул костылем, как бы поставив точку в этой своей неопровержимой уверенности.

Вот с этих пор я и стал его полусушня-полусерьезно звать «комитетом справедливости».

А ведь он и в самом деле работал один за десятерых, воодушевляя, поддерживая, облагораживая кровоточащие души героев.

Хоть убей, не припомню, где и когда я с Сергеем

Сергеевичем познакомился. Но я точно знаю, что он был мне необходим, а мне позволил быть необходимым ему.

Мне всегда с ним было хорошо. Уверенно. Он умел это создавать как никто. Он был в этом деле великим мастаком. Мне иногда в самом деле казалось, что он был рядом со мною под Выборгом в самом начале метельного марта 1940 года на наблюдательном пункте нашей батареи. Мне в самом деле кажется, что он вместе со мной сопровождал только что захваченного «языка» на полуострове Гангут и помогал мне нести в госпиталь раненую девочку в январе 1942 года в блокадном Ленинграде,— настолько его судьба стала моей судьбой.

Мне всегда было с ним хорошо, потому что он жил добром и светился доброжелательностью. Трудно было понять, когда он успевал писать свои книги, потому что у него всегда был народ, даже там, в Ялте, в Доме творчества писателей. Он всегда был занят очередной заботой о восстановлении справедливости, и его беседы по телевидению были своеобразной школой высокой человеческой нравственности.

Он знал солдатскую страду по собственному опыту журналиста переднего края, и газета «Мужество» была его личным мужеством без кавычек. Он знал о том, что без прошлого нет будущего, поэтому все его книги, все его беседы и выступления по телевидению есть живая эстафета мужества поколения ровесников Революции, костями своими вымостившего дорогу к Победе.

И как прав тот инвалид, сказавший, обращаясь к Сергею Сергеевичу за столиком в «Ореанде»:

— Все правильно. Это правительство наше присвоило Брестской крепости на радость всему народу звание Крепости-героя, но правительству-то это подсказали вы, Сергей Сергеевич, и народ об этом вашем личном подвиге тоже знает и радуется, как и я, тому, что вы у нас есть!

Он так и сказал и вновь стукнул костылем, как бы поставил точку неопровержимой правды своей души.

Все это я вспомнил — и инвалида, и Сергея Сергеевича — в той же самой Ялте, на той же самой набережной, глядя на причальную стенку, у которой стоял под разгрузкой океанский сухогруз «Сергей Смирнов». И мне было как-то пусто в этой пестрой толпе отдыхающих праздничных людей, радующихся и солнцу, и морю, и своей обманчивой беспечности.

Это всегда так со мной бывает, когда я вспоминаю

кого-нибудь близкого моей душе, уже завершившего свои дела на нашей земле: мне становится пусто, неуютно, и в эти минуты память начинает крутить свою ленту в обратном направлении и подключает себе в помощь воображение.

Мне было хорошо от того, что он есть на земле. Что он ходит и действует на ней. Радуетя жизни и этой своей радостью справедливости радует других.

По характеру, вернее, по строю своей человеческой души он очень походил на одну мою хорошую знакомую, старую женщину, которая учила меня в дни ленинградской блокады уму-разуму. Она говорила мне, не то утешая, но то рассуждая вслух:

— Когда уж тебе очень плохо, то попробуй сделать хорошо тому, кому хуже, чем тебе, и тебе сразу легче станет.

Вот и для Сергея Сергеевича не было и не могло быть чужого горя.

Он был сыном Земли и, больше всего любя дорогу, всегда шел по ней, внимательно приглядываясь к тому, что творилось на обочинах. Он считал Землю своей землей, очень любил путешествовать по ней. Он был создан для путешествий и был вынослив, как мул, находчив, смел, а кроме всего, обладал какими-то чудовищными, по крайней мере для меня, способностями полиглота. Хорошо зная английский, немецкий, французский, он схватывал любой новый язык на лету. Я в этом убедился во время нашей поездки в Чили, где он на второй день уже свободно объяснялся по-испански, а спустя полтора месяца, к концу нашей поездки, в гостях у Пабло Неруды на Исла-Негра, легко сам справлялся с обязанностью переводчика, чуть подтрунивая над моей глупотой к чужому языку.

Он был истинным журналистом. Его интересовало все. Он был человеком действия, умеющим сразу оценить происходящее и сориентироваться в трудной обстановке.

Мы были с ним в фантастическом городе Вальпараисо. В городе роскоши и нищеты, в городе художников и философов, в городе бандюг и авантюристов. И все-таки вечером мы пошли посмотреть прелести этого города. Как ни странно, я первым заметил вывеску ресторана «Берлин». Обрадовавшись тому, что я без посторонней помощи увидел это и прочел, я глазами указал на вывеску Сергею Сергеевичу и сказал:

— Зайдем.

И мы зашли. И, на какую-то долю секунды остолбенев, вдруг оба одновременно потянулись правыми руками к своим ремням, где когда-то во время войны были пистолеты.

Перед нами за деревянными столами, на скамьях из тяжелых оструганных досок сидели настоящие фашисты в серых мундирах со свастиками на рукавах, с настоящими парабеллумами на офицерских ремнях, с погонами на плечах и сбоевыми орденами на груди. Они сидели и, стуча пивными кружками по столам, пели в полный голос: «Дойчлянд, Дойчлянд, юбер аллес...»

Что нам оставалось делать?

Может быть, эта компания приняла нас за немцев. Не знаю. Я только видел, как Сергей Сергеевич решительно пошел к стойке, и я, шаг в шаг, пошел за ним. Бармен налил нам две кружки пива, и мы, не отходя от стойки, с удовольствием выпили его. Мы проделали это не торопясь, останавливаясь и смакуя пиво после каждого глотка, а Сергей Сергеевич даже успел обменяться с барменом несколькими фразами. Потом мы выпили на вольную волю и с удовольствием вдохнули влажного чистого воздуха, пахнувшего океаном.

— Бармен нас действительно принял за немцев,— сказал Сергей Сергеевич,— и я не возражал. Я спросил его, был ли он под Сталинградом, а он мне ответил, что был в Прибалтике.

Я это вспомнил все на ялтинской набережной один, без Сергея Сергеевича, и мне подумалось, что слова Фучика «Люди, я любил вас. Будьте бдительны» — мог бы сказать и Сергей Сергеевич Смирнов, превратившийся теперь в океанский сухогруз.

Мне не хватало его, живого.

Комитетов справедливости, к сожалению, всегда не хватает.

А без этих комитетов справедливости в душе — ничего нельзя сделать ни в жизни, ни в литературе.

Об этом хорошо знал Сергей Сергеевич Смирнов.

У него слово не расходилось с делом.

Ради этого дела, во имя справедливости он жил.

И об этом надо помнить. Хорошо помнить. И не только литераторам.



## ЧЕРЕЗ НЕВУ И НА БЕРЛИН

Фашистам так и не удалось переправиться на правый берег. Нева оставалась нашей от Ладоги и до Балтики, от Орешка до Кронштадта.

Мы едем к поселку Марьино, где наш полк тридцать лет назад форсировал Неву и на шестой день боев в районе Пятого поселка соединился с бойцами Волховского фронта. Мы — это Иван Павлович Павлов — пскович, командир пулеметного взвода во время прорыва блокады, сибиряк Василий Иванович Буштаренко — командир транспортной роты нашего полка, и я — бывший разведчик полковой батареи и журналист фронтовой газеты. И шофер Юра, который занят своим делом и развязывать язык не намерен, он только дакает или некает и кивает головой, если кто-нибудь из нас обращается к нему.

Мы минуем проспект села Рыбацкого, и перед Усть-Ижорой нам открывается Ново-Саратовская колония на правом берегу Невы. Знакомое место. После эвакуации Гангута наша Восьмая особая бригада стояла тут. И мы отыскиваем и узнаем дома, в которых тогда квартировали.

— Вот в том доме, правее белого Дома культуры, размещался наш взвод. И немец-колонист со своей семьей (его эвакуировать, видимо, не успели) тоже жил в этом доме, — говорит Ваня Павлов. — И мы даже подкармливали его ребятишек малость, хотя и сами-то получали всего по сто пятьдесят граммов хлеба на сутки.

— Вот отсюда наша дивизия и двинулась на исходный рубеж во время прорыва блокады. Правда, тогда снегу было много и мороз дай бог был! Не то что нынешняя зима, — вспоминает Буштаренко.

А машина выворачивает направо, и Нева внизу блестит стальным блеском, и январское солнце золотит голые ветки придорожных ветел.

Мы, не сговариваясь, поворачиваем головы налево и

смотрим на жуткие оплавленные развалины. Мы знаем, что тут был командный пункт нашей дивизии и нашего полка. И мы отсюда начали наше первое наступление на Ленинградском фронте. Мы хотели вырваться тогда к железной дороге и застряли в болоте. Это был наш первый бой осенью сорок второго.

За Ивановскими порогами, перед Невской Дубровкой, начинают появляться признаки запоздалой зимы — белый налет изморози на пожухлой траве и прочный лед на окраинах, который уже осваивают мастера подледного лова.

Мы заворачиваем на Невскую Дубровку, вылезаем из машины и бредем около воды по голому берегу мимо догнивающих в высоком откосе накатов, мимо еще не успевшей истлеть колючей проволоки, перешагивая через минные ящики и коробки противогазов. Сколько здесь костей, в этой до сих пор искореженной и обезображенной земле! Здесь погибали самые храбрые, на этом проклятом клочке земли длиной в два с половиной километра и шириной в шестьсот метров. Здесь земля так насыщена металлом, осколками, что на ней и расти ничто не хочет.

Здесь останавливаются автобусы с туристами, и, наверное, экскурсоводы рассказывают приезжим о том, какой ценой удалось удержать эту омытую кровью героев священную землю.

Мы, как мальчишки, выковыриваем из наплыва речного песка рваные осколки железа и кладем их в карман, словно это так нам необходимо.

Потом мы едем дальше. Машина минует невысокий соснячок. И в соснячке видны серебряные заборчики, кресты, колонки с подкрашенными красными звездами. Могилы...

— Густонаселенная земля, — говорит кто-то из нас.

— Пойдите! — вскрикивает Буштаренко. — Мы же проехали.

И машина, свернув на обочину, разворачивается и съезжает у соснячка на проселок. Мы выходим на берег и смотрим на Неву, покрытую чистым торосистым льдом, поблескивающим на солнце, смотрим на правобережный голый лесок, оглядываемся вокруг и, перескакивая через залившие траншеи, спускаемся мимо старого командного пункта, превращенного сообразительным хозяином новой деревни, выросшей на воронках, в погреб, по кру-

тому откосу к берегу, который оседлал наш полк тридцать лет назад.

«Через Неву и на Берлин! Вот наша задача!» Кто первым сказал это тогда? Комиссар дивизии Иван Ерофеевич Говгаленко или командир нашего полка Александр Иванович Шерстнев, парикмахер-пулеметчик Дима Вайсман или повар и разведчик Федя Бархатов? Я уже не помню. Я знаю, и наверняка, только одно: этим жила вся наша дивизия, потому что другого пути у нас не было и не могло быть.

— Мы с утра до вечера пропадали на Неве,— вспоминает Ваня Павлов.— Там, под Ново-Саратовской колонией, мы сотни раз при полной выкладке перебирались по торосистому льду на правый берег и выскакивали на крутой обрыв. Мы научились, не останавливаясь, перебежать Неву за девять минут. А она там чуть пошире, нежели у Марьины.

Мы идем по мерзлому берегу, три очень пожилых человека. Идем, подняв воротники, потому что с Ладоги дует в лицо настоящий зимний ветер. Мы идем, и каждый вспоминает про себя то утро. Стальную окалину зимней зари над редкими посеченными деревьями. И тишину. Сосредоточенную тишину перед боем.

Через Неву и на Берлин!

Казалось, от первого выстрела осел снег, а на противоположном берегу взметнулся бурый столб земли. И следом за ним, нарастая с каждой минутой, входил в силу артиллерийский шквал. Постепенно деловито включались в работу все калибры артиллерии. И когда после двухчасовой подготовки вал грохочущего огня стал откатываться в глубину левобережья, вот тогда на разрытый, обожженный берег, на разнесенный в щепки лес и двинулась наша пехота. Она пошла, разгоряченная и оглохшая от грохота, по скользкому льду, и в первых цепях, как всегда,— саперы. Срывающимся голосом, стараясь перекричать грохот, капитан Салтан, бежавший впереди солдат, орал во всю глотку:

— Вперед! Там, на немецкой проволоке, каждому орден висит!

Может быть, его и не слышали, но каждый знал, куда и зачем ведет и зовет комбат.

Через Неву и на Берлин!

В каких-нибудь метрах десяти — пятнадцати от берега пуля пробила ему щеку и вылетела в раскрытый рот.

Кровь хлынула на воротник и на белый полушубок. Трудно стало дышать. И все-таки он выскочил, вскарабкался вместе со всеми на левый берег. А здесь он куда круче правого. (Как только мы тогда забирались сюда — уму непостижимо!) Он видел, что бойцы пошли вперед через поле и перелесок. И все дальше и дальше уходил грохот боя.

Прошло полчаса (этого уже не видел капитан Салтан), и по его следу другие командиры вели своих бойцов на тот берег. Не видал он и того, как младший лейтенант Гнатенко по торосистому льду помогал расчету тащить пушку, как шофер Козак вел на ту сторону грузовик, прокладывая первую трассу, как саперы под командой Анатолия Репни расчищали подъезд, как разведчики Федор Бархатов с Борисом Яковлевым уже пробовали немецкие автоматы: хорошо ли они очищают блиндажи от немцев?

Дима Науменко уже шел навстречу наступающим, сопровождая первую группу пленных через Неву в тыл, а батальон Салтана овладел продовольственными складами немецкой дивизии, и батареи, захватив немецкую конюшню, впрягли коней в построения орудийных лафетов, и батарея старшего лейтенанта Козлова выскочила на крутой взгорок, развернулась и открыла огонь. А Харис Усманов, связной командира батареи Козлова, ругал себя по-русски за то, что не заметил, как выглянувший из блиндажа немец дал по командиру очередь и ранил его. Но Харис догнал немца...

Шел бой. И, видимо, от горячего дыхания боя день потеплел. Солнце скрылось в дыму и тумане, и пошел легкий снег. И командир полка Александр Иванович Шерстнев переправился с командным пунктом на левый берег, а вслед за ним наш любимый батько Николай Павлович Симоняк, генерал Наступление, как потом его назовут сами немцы, тоже перебрался на левобережье. Его помощник Савелий Михайлович Путилов уже ходил по цепям наступающих, оценивая обстановку и подбадривая бойцов.

Через Неву и на Берлин!

Прошли сутки, и я вместе с капитаном Салтаном, возвращавшимся из санчасти, шел на левый берег, а рядом с нами по бревенчатому настилу переправлялись танки.

Мы шли, оглядываясь на своих друзей-однополчан, уже вмерзших в шершавый лед Невы.

Они лежали, прижавшись к темному льду, как будто приготовившись к прыжку.

Их подберут только завтра и похоронят в братской могиле около медсанбата на отбитом левом берегу, там, где сейчас растет невысокий соснячок, откуда начинается новая деревня Марьино, построенная на воронках и траншеях.

Они никогда не узнают, как наша дивизия вышла к Петровскому каналу и соединилась с моряками и с лыжниками особой бригады Якова Потехина, лихого командира, бывшего журналиста.

Они никогда не узнают о том, как в сумерках январского дня наши бойцы встретятся с волховчанами, как потом разлетится вдребезги кольцо блокады и над Ленинградом вспыхнет павлиний хвост первого салюта. Они не увидят его. Но они, умирая на невском льду, знали, что мы дойдем до Берлина. «Через Неву и на Берлин!» Знали, как знал это Дмитрий Молодцов, прикрывший собой амбразуру, выполнивший в трудную минуту закон солдатского братства: «Сам погибай, а товарищей выручай». Он лежит вместе со всеми, и молодые сосны осыпают над ним желтые иглы в сухой желтый песок.

Я нагибаюсь и беру горсть песка, и он, струясь, бежит из моего кулака тонкой струйкой.

Так и эти тридцать лет протекли вроде бы незаметно, как песок из кулака. И рано или поздно там, в кулаке, не останется ни одной песчинки. Мы думаем об этом все трое и, понимая друг друга, молчим. Потому что знаем, что великое испытание, доставшееся на долю нашего поколения, было не напрасным и у могильной плиты героя Дмитрия Молодцова, нашего однополчанина, надо помнить о всех двадцати миллионах наших братьев и сестер по нашей Победе.

Без этого нет жизни. Нет связи времен.

Потом мы едем в Петрокрепость. До нее всего три километра. Мы въезжаем в нее как победители, разгоряченные боем, точно так же, как мы входили сюда в том январе 1943 года, когда она еще называлась Шлиссельбургом.

Обратную дорогу мы молчим.

Молчим каждый о своем.

Мы проезжаем мимо новых поселков и заводов. Мимо памятников мужеству и народной печали. Мимо дет-

ских садов и школ, мимо необозримой картины мирной жизни.

Мы едем по левому берегу Невы. Через Мгу и Ижору.  
Мы отстояли этот город.

Мы едем, и у нас светло и на душе, и перед глазами. И шофер Юра удивляется этой, может быть, непонятной для него нашей молчаливосты.

И мы очень любим жизнь. Очень любим. Всею чистотой юношеской влюбленности, всею скорбью военного опыта. Мы молчим. Потому что давно научились понимать ответственность слова.

## ПОЕЗД ШЕЛ ЧЕРЕЗ ЗИМУ

Поезд шел через зиму. Путь предстоял долгий. На вторые сутки мне и моему соседу по купе начало казаться, что это белое наваждение за окном так и не кончится.

Меня радовало только одно — что сосед мой по виду был человеком бывалым и располагающим к откровенности. С ним можно было ехать хоть на край света. А мы, собственно, туда и ехали. Он — куда-то под Хабаровск, в заповедник пятнистых оленей, а я дальше — во Владивосток.

— Когда тебе худо,— начал мой сосед, глядя в окно,— постарайся найти и помочь тому, кому хуже, чем тебе, и от этого тебе станет легче. В заповеднике, куда я еду, добывают панты, оленьи рога, а из них, из этих рогов, пантокрин делают, лекарство такое от мужской слабости, дорогое очень, все за границу идет. А надо вам сказать, добывают панты самым варварским способом: загоняют оленя в ящик со скошенными, как в гробу, стенками и опускают дно. Олень повисает, зажатый с боков досками, и тут-то ему, бедняге, пилой спиливают всю красоту. По живому мясу пилой без всякого наркоза, представляете себе.

Я попытался представить, и меня передернуло. И я, чтобы скрыть ощущение сочувствующей боли, посмотрел в окно. За окном была зима, большая и тихая. И в душе моего соседа тоже было тихо, бело и холодновато. Он был моим ровесником, фронтовиком, видевшим своими карими, не потерявшими живого блеска глазами великий разгул смерти и по воле случая оставшийся в живых.

Мы отказались от преферанса и от предложения посидеть в ресторане. Мы читали. Читали и сидя, и лежа. Потом брились. Начал он. И я за компанию тоже побрился. И когда мы брились, выяснилось, что мы начали этим делом заниматься в одно и то же время на финской войне.

— И вы знаете,— сказал мой сосед,— если бы я тогда не начал бриться, я бы окошел от этого проклятого каменного холода. Мне тогда бритву старшина подарил. Когда я его в госпиталь на санках с переднего края раненого вез, он мне и сказал на прощанье, передавая бритву: «Не запускай себя, каждый день брейся». Вот я с тех пор каждый день и бреюсь.

Я подтвердил, что и моя безопасная тоже служит мне с финской кампании и я ее ни на какую другую не сменяю. И эта наша особая верность нашим безопасным бритвам, которую понять трудно, да и не к чему понимать, сблизила нас, и великие заносы снега на наших душах стали таять.

Как важно человеку высказать то, о чем он молчит. Как это важно — найти такого человека, которому можно все сказать,— это понимают немногие.

Мой сосед, видимо, научился нести груз своей невысказанности как нечто должное. Но озон растаявшего снега, наполнивший купе, подмыл плотину отчужденности, вода хлынула на лопатки, мельница пошла, и жернова завертелись заново, перемальвая судьбу.

— Конечно,— сказал мой сосед,— и у меня была любовь. Настоящая и, кажется, единственная...

Потом умолк. И стук колес стал явственней, и их отчетливый ритм как бы подтолкнул нас друг к другу, включил в одно поле наше раздумье, соединив наши судьбы в одну цепь непрерывности. Время сместилось, и олени ушли из загона в дикие леса, гордо вскидывая увенчанные ветвистыми коронами головы.

— И она меня любила,— сказал сосед. — И я для нее был единственным и на все время. Мы учились вместе начиная с пятого класса. Потом меня призвали в армию, она пошла в медицинский. «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его...» Это она напевала на нашем выпускном вечере, напевала, чуть-чуть шевеля губами около моей щеки во время вальса.

После финской войны нам не удалось встретиться, но письма ее приходили ко мне каждую неделю — один раз по семь писем — на каменный остров Оссмусар, где стояла наша батарея. И я тоже писал ей каждый день по письму и отправлял один раз в неделю вместе с уходящим катером.

Потом началась Великая война. Почтовый катер потопила подводная лодка, а когда в декабре я вернулся в



Ленинград и пришел на улицу Пестеля, к тому дому, где она жила, я увидел только засыпанные снегом развалины. Белый снег на красном с черными подпалинами кирпиче и ни одного следа. Я не услышал снаряда. Я увидел только ослепительно красный свет... и очнулся в госпитале. Меня не ранило. Меня контузило, и я потерял способность говорить, словно рот мой был набит ватой. Я это понял сразу, как только очнулся. Я хотел позвать стоящую у соседней койки женщину в белом халате и не мог — у меня ничего не вышло. Но женщина, увидев мои бесполезные попытки, подошла к моей койке и заговорила со мной. Это я понял по движению ее губ, понял, что это она, и понял, что я оглох. У меня было такое ощущение, словно я лежал под громадным колоколом, и он звучал тяжело, заглушая весь мир и придавливая меня к жесткой подушке с такой силой, что мне было трудно шевелить ресницами и поворачивать глаза.

«Вот и настало время расплачиваться жизнью за нашу юность», — подумал я, вспомнив ее слова из последнего письма, полученного на Оссмусаре.

И мне стало пусто, и сам воздух стал медленно камнеть вокруг меня и внутри меня.

Я закрыл глаза и впал в беспамятство, в пустоту без времени и смысла. Когда я очнулся, она сидела рядом с моей койкой на табуретке, держала меня за руку и смотрела мне в глаза. Крыльев за ее спиной не было, но все вокруг нас светилось легким внутренним светом и было невесомым. И никогда с тех пор я не испытывал такой наполненности жизни, такого, если хотите, счастья.

«Если хотите» он произнес так, чтоб я понял всю святость и стеснительность его существа перед словом «счастье».

— Она была прозрачна и легка как перышко. Она улыбалась мне, и ее рука струилась в моей ладони, прохладная и беспокойная, как струйка родника.

Я смотрел на своего соседа и удивлялся, как за одно мгновение воспоминание преобразило его. Он помолодел от этого нахлынувшего на него озарения, и я грешным делом позавидовал чистоте сохранившегося в нем чувства, нетронутости страсти.

— Палата, в которой я лежал, была на первом этаже, и койка моя стояла у окна. И на окне цвели хризантемы и пальмы. Потом она легонько несколько раз пожала мою руку, и по этим пожатиям я понял, что ей сейчас

надо уходить с дежурства, но она скоро вернется и опять посидит тут около меня. Она ушла. А я встал и подошел к окну. И она меня увидела с улицы. И подошла вплотную к подоконнику. И на что-то, очевидно, встала, а я чуть-чуть присел, и наши лица оказались на одном уровне в каком-то фантастическом саду белых тропических растений. И мы улыбались друг другу через эти ветви. И не было ни войны, ни мира. Были мы и наше счастье. Только наше, и ничье больше. ЕЕ и МОЕ. Потом она сняла рукавичку, подула на пальцы и стала выводить пальцем по ледяному слою на стекле букву за буквой, справа налево, чтобы мне легче было прочесть.

Любл... И когда она стала выводить кружок последнего «ю», я услышал его и понял, что он ударит рядом. И я закричал. И услышал, что кричу, и сквозь грохот обвала выбежал на улицу. Я не нашел ее. Видимо, у нее все-таки были крылья. Оплавленный до земли снег, запахах сладковато-горький да красноватые следы осколков на стене.

Мой сосед умолк, и в купе запахло толком. И юностью.

Я закрыл глаза и, откинувшись к стенке по ходу поезда, увидел ее. Она в легком белом платье, что-то крича, бежала по белому снегу, и он, круто повизгивая, хрустел под ее острыми каблуками и пахнул зимней антоновкой, и пятнистые олени, лавой переваливая через забор, уносили свое достоинство и страсть в дикие леса, на вольную волю.

## ЗАРУБКИ

Мне обязательно надо написать про это, и так же обязательно надо, чтобы ты все это прочитала. Я давно убедил себя в этом, и мне уже теперь не отступить. Я хотел тебе рассказать это при случае, но, знаешь, как-то не выходило, подходящего настроения не было. А дольше молчать я не могу, потому что все может перегореть и остаться неизвестным ни тебе и никому другому, и я никогда не прощу себе, что предал все это забвению.

Это было очень давно, на самом-самом раннем утра юношеской памяти, и если тебе сейчас уже четырнадцать лет, мне тогда было одиннадцать, и ты сама отлично понимаешь, как в этом возрасте нам хочется, чтобы взрослые нас больше не считали детьми и разговаривали с нами на равных.

У меня в те времена был такой взрослый человек, старше меня лет на семь или восемь, и он, этот человек, дружил со мной, не обращая внимания на разницу в годах, дружил преданно и убежденно, ничего от меня не скрывая, словом, был со мной душа в душу. И атмосфера прекрасной доверительности, которой мы дышали с ним в те времена, была естественной, как небо, как река.

Я чувствовал себя в его присутствии как бог. А ведь он не делал ничего необыкновенного. Просто я понимал, как ему было приятно в моем присутствии, о себе я уж и не говорю: когда я был с ним рядом, видел его лицо — я обретал и силу, и уверенность, ничего не боялся и мог, как мне тогда казалось, сделать все. Мир расцветал перед моими глазами голубыми незабудками и лиловым клевером, ласточки на лету щекотали своими нежнейшими крыльями мои ресницы, и белки прыгали по моим рукам, как по веткам. Да что там — весь мир звучал музыкой и каждой травинкой, каждым комариным писком говорил о своем со мною родстве.

Мир был праздником без конца и без начала. И я жил

этой переполненностью прекрасного ощущения мира, и это было счастье, которого я никогда потом не испытывал, и этот праздник со мной остался навсегда. Стоит мне чуть прикрыть глаза, сосредоточиться — и я начинаю чувствовать свежесть того воздуха, как будто время перемещает меня в самом себе с поразительной легкостью, подчиняясь моим желаниям, и делает это без малейшего напряжения, легко и свободно, как ветерок в чистый, безоблачный июньский день вдруг ни с того ни с сего набегит на березку, выбрав ее одну из всего ополя, и переберет ее всю, сверху вниз, по листочку, и они вспыхнут, как рыбки, в струях света, и опять замрут, и в воздухе остается легкий, нежнейший звон от соприкосновения зубчатых каемок листьев.

Мне тогда казалось, а сейчас верится, что этот праздник делала та дружба взрослого со мной. Это она придавала смысл всему, что я мог воспринимать тогда.

Звали его, как и меня. И я, одиннадцатилетний подросток, называл его Миша, а он меня — по-взрослому: Михаил. Он поднимал меня до своего возраста и роста, а я держал его на своем уровне вымахнувшего за эту весну подлеса.

Условленный наш свист — и я летел, не чуя под собой земли, только пятки сверкали, и мы шли, если он был свободен, или на речку, или в лес, или уходили за овин, и я там ему показывал буквы, учил читать. Дело в том, что ему не пришлось учиться в школе, ее в наших местах, когда ему надо было ходить в школу, просто не было. Школа появилась потом, когда он стал большим, и я ему рассказывал все, что знал, чему меня учил Александр Николаевич. Иногда я прихватывал с собой сочинения Некрасова, и мы читали, а когда чтение заканчивалось, он говорил: «Смешно, написано буквами, а все правда», — и брал у меня из рук книгу, бережно вглядывался в строчки, стараясь сразу вникнуть в их сказочное таинство. Сразу не получалось, но к осени он все-таки научился и читать и расписываться: «Михаил Николаевич Цапов». Почерк у него был красивый, ровный, без напряжения.

Если у меня не было дел дома, я бежал к нему. Мне надо было быть около него, только там я обретал чувство равновесия, душевной наполненности, счастья. Он был для меня самый сильный, самый красивый, самый верный.

Он быстрее и лучше всех, как мне казалось, запрягал

лошадь, лихо, уперев в клещи ногу, засупонивал хомут. Он красивее всех пахал, борозда у него была ровной, как по ниточке. Он глаже всех косил, и прокосево у него было шире, чем у всех мужиков. И я во всем тянулся за ним, досадуя на то, что я быстро выдыхался.

— Ничего, — говорил он, — все идет правильно.

У него не было от меня секретов. Он мне сам говорил о том, что собирается податься из деревни в город, поступить на фабрику работать, жениться на Соле и зажечь своей семьей; говорил это около малого болота, когда мы шли на свидание с его невестой. В нашей деревне, где она батрачила одно лето, бабы называли ее Солькой, а на самом деле ее звали Соломонида, но это я узнал потом. Она жила в соседней деревне, версты за три от нашей, вдвоем с матерью. Отца у нее не было, он погиб на войне. Она была красавицей и любила моего Мишу. И я был горд тем, что она такая самая-самая красивая, красивее моей мамы, и любит моего друга Мишу.

И каждый вечер, начиная с весны, с тех пор, как зазеленели деревья и протока между нашими и климовскими полями подсохла, мы ходили с моим другом на свидание к Соле. В нашей деревне было всего шесть домов, и я слышал условный свист сразу. Я обувался в калишки, просил у матери рубашку для праздников, синюю, ластиковую, в горошек, подпоясывал ее ремешком, причесывал белобрый вихор перед зеркалом и бежал к цаповскому дому. Мой Миша уже ждал меня, одетый в серую пару, которую он купил в Иванове в прошлом году, продав воз сена. Брюки он слегка завернул у лодыжек, чтобы не запылились, а пиджак, небрежно накинутый, слегка свисал с одного плеча. Овсяные волосы моего друга, несмотря на все старания и смазки коровьим и деревяннм маслом, торчали во все стороны, но все равно они были прекрасны. Ботинки он держал в руках. «Тронулись!» — говорил он, и мы направлялись к овиnam, откуда тропинкой мимо малого болота к перетужине, поросшей лесом, за которым начинались климовские поля. Оттуда, из Климова, шла Соля. Мы слышали, как она пела. Она пела каждый вечер, когда шла от Климова к нам, и мы загадывали: кто первый услышит ее голос, тот будет царем.

Миша всегда слышал ее первым, всегда оставался царем. Не доходя шагов сто до перетужины, Миша сворачивал к межевому столбу, присаживался на холмик,

подостлав предварительно носовой платок, и обувал штиблеты.

— Где вы запропали,— говорила, улыбаясь, Соля, и от ее голоса, от ее улыбки, от ее синих глаз, румянца и влажных пухлых губ, от ее фигуры в белом ситцевом платице, излучавшей очарование, начинали петь соловьи и кружиться голова. Она здоровалась за руку сначала с Мишей, потом со мной, и я, зная, что мне делать, уходил от них в лес, и долго-долго не сжимал ладонь в кулак, чтобы на своей руке сохранить подольше ощущение ее ладони — теплой и легкой, живой и ласковой. У меня много было своих дел в лесу. Надо было навестить знакомые гнезда, и я подходил к осине и стучал по стволу палочкой,— ствол пусто гудел, и из его горькой темной глубины доносилось тихое попискивание птенцов. Значит, на месте. «Спите»,— говорил я и шел дальше, к старой ели с низкими ветками. Там было гнездо тетерки, и я опускался шагах в десяти от гнезда и смотрел на неподвижную птицу, сидящую на яйцах, и она на меня смотрела и не боялась. «Сиди»,— говорил я и шел дальше, к небольшому болотцу, в мелкий осинник, и собирал там ландыши. Потом выходил к полю, присаживался на кочку и слушал томительный плач вечернего чибиса, и собранные мною ландыши пахли июньскими звездами, и этот запах был внутри меня и заполнял все, что я видел. И я был рад тому, что этим самым запахом дышит вместе со мной и мой друг Миша, и Соля, и что им так же хорошо в этот благословенный поздний час, как и мне, а может быть, и лучше. Мне нестерпимо хотелось сделать что-то такое, чтоб им было всегда хорошо. Всегда лучше всех. Последний запоздалый вальдшнеп, видимо спугнутый кем-то, без обычного дьяканья пролетал над самыми верхушками деревьев, и мир начинал засыпать.

Мой друг свистел. И я шел на свист и заставлял их сидящими под березой, травы закрывали Солины колени, плотно обтянутые ситцевым подолом, Мишин пиджак укрывал Солины плечи. Она придерживала его легкой рукой за лацкан, и в пухлых и влажных ее губах покачивалась надкусанная травинка.

Миша поднимался и подавал ей руку, помогая встать, и мы уже втроем шли климовскими полями, поднимались в гору, заросшую березняком, и доходили до Солиного дома. Соля подавала нам на прощание руку и тихо скрывалась за дверь, придерживая наши ландыши у своего

лица. Миша разувался, подвертывал брюки, и мы уходили.

Ночью мне ничего не снилось. И сестренка Фаинка долго теребила меня за ногу, стараясь разбудить. Если же ей это не удавалось, она брала петушиное перо и начинала щекотать меня за ухом. Я просыпался и, потягиваясь, протира́л глаза.

— Вставай! Мама сердится.

Я бежал на речку, и, когда, умываясь, подносил пригоршни воды к лицу, вода пахла Солиной ладонью, а может быть, это мне казалось.

Однажды я попросил у отца его топор и одну небольшую доску из погреба. Он разрешил, даже не спросив меня, для чего мне потребовались топор и доска.

А я убежал, бежал к той самой перетужине, к тому самому перелеску, между климовскими и нашими полями, где мы каждый вечер встречались с нашей Солей, где мой Миша садился рядом с ней и брал ее руки в свои.

Я бежал туда, и сердце мое ликовало, топор отца был легок, как перышко, и доска вовсе ничего не весила. Я миновал межевой столб, у которого мой Миша всегда обувал штиблеты, перешел на шаг и начал всматриваться в деревья. Мне хотелось найти березку и сосну, и чтобы расстояние между ними было не длиннее моей доски.

Я нашел их, обтоптал около них траву и очистил стволы от сучьев. Я сделал две зарубки. Одну на березе, другую на сосне. Я вогнал в эти зарубки ударами обуха принесенную с собой доску. И она вошла в зарубки, как миленькая, и ее так там зажало, что, хоть лошадь впряги, не вытащишь.

Потом я сел. Ни один царь земной не сидел с таким достоинством на своем троне, как я на своей скамейке. Я садился на нее то с одной, то с другой стороны, я пробовал садиться на нее верхом, я прилегал на нее, задрав ноги по стволу березы, и слушал кукушку, глядя в бездну неба, сквозившую в листьях. Я улыбался сам себе, и радость сделанного переполняла меня.

И все-таки во мне хватило силы никому не проболтаться до вечера, до того самого момента, когда мы с моим Мишей снова услышали, на этот раз вместе, песенку нашей Соли и снова встретили ее у перетужины. И она поздоровалась с нами. Сначала с Мишей, потом со мной, и я попросил их пройти за мной. Они взялись за руки и пошли, и я подвел их к моей беседке.

— Это ты сделал? — спросила Соля. И засмеялась.

И я засмеялся. И мой Миша засмеялся, и вечерняя иволга трижды свистнула над нашими головами.

Они сели, улыбаясь, на мою скамейку. И она выдержала их. Не сломилась, не прогнулась.

И они снова взялись за руки.

А я ушел по своим делам в лес, потому что знал, как им надо остаться вдвоем. И они были благодарны мне за то, что я не вертелся у них под ногами.

Когда мы возвращались, мой Миша похлопал меня по плечу, потом положил свою тяжелую ладонь на мое плечо и сказал:

— Какой ты, Михаил, молодец!

И мы пошли молча, осознавая свое человеческое достоинство.

Потом нас разметала судьба. Надолго. Навсегда. И нам никогда не суждено было увидеться. Но я знал, что мой Миша погиб. Погиб под Курском, командуя танковой ротой. Он сгорел в танке, а Соля... Соля исчезла. Исчезла, и все.

Я был там, в своих родных местах, прошлым летом и вдоволь надышался великой печалью ушедшего времени.

Конечно, я прошел из нашей деревни в Климово, по той самой тропинке, по которой я бегал вместе с моим Мишей на свидание с его Соломонидой. Да, и береза, и сосна целы и вымахали за эти сорок четыре года под самые облака: да, зарубки на них, мои зарубки, заплыли, затянулись, но они заметны. Я ощущал их пальцами, потом нечаянно поднес ладонь к лицу и вспомнил тот далекий запах вечной молодости, которым пахли мои руки после прикосновения ее, Соломониadiniх, рук.

И чтобы не дать волю слезам, я прочел вслух прекрасное двустипшие из шестьдесят шестого сонета Шекспира:

Я умер бы, судьбы не изменя,—  
Но что ты будешь делать без меня?

И ты прочти эти слова вслух и помолчи немного.

Ты уже все понимаешь. Больше, чем я тогда, в свои одиннадцать лет.



## МОЛОДЫЕ УЛЕТАЮТ

Мне ничего не надо выдумывать. А иногда мне кажется, что выдумать ничего и нельзя, потому что все есть.

Когда я, уходя из дома, говорю, что пошел к братьям, домашние знают, что меня в случае необходимости можно найти в Зоопарке. Зоопарк недалеко от моего дома, под боком у Петропавловской крепости, и я, сворачивая с Кировского проспекта, обхожу станцию метро и иду себе мимо Театра имени Ленинского комсомола и Сытного рынка, мимо детских колясок и нарядных матерей, мимо студентов, пытающихся сосредоточиться над конспектами на скамейках парка, мимо отменно отутюженных и начищенных пенсионеров, играющих в домино и шахматы. Впрочем, играют немногие, зато у этих немногих есть свои, и немалые, кланы верных болельщиков, и у каждого клана — свои пристрастия и перспективы.

Жизнь идет, и я иду в этой жизни, причастный к ее вечному и непостижимому круговороту, и время, ощущаемое как воздух, входит в мои легкие, растекается по телу и щекочет кончики пальцев. Кажется, что я начинаю ощущать его физически каждой клеткой, чувствуя его железистый привкус во рту и гортани.

Сегодня зима. Шахматных сражений нет. Пенсионеры гуляют с внуками.

Около «Великана», когда я миную очередь за билетами в кино, мои ноздри улавливают дикий запах родства и беспредельности жизни и самого мира.

Иногда меня встречает утробное рычание льва и детский смех там, за высоким зеленым забором.

Я покупаю билет и сливаюсь с пестрой восторженной толпой, и она легко несет меня по утоптаным дорожкам, посыпанным песком, мимо клеток с медведями и львами, равнодушно и сонно посматривающими через железные прутья. Я миную тигров и барсов, и глаза чер-

ной пумы горят каким-то жутковатым огнем даже при дневном свете.

Рядом с клеткой камышового кота старая гиена с болтающимся на лопатке, похожим на резиновый мячик наростом ходит кругами по клетке, то ускоряя, то замедляя механическое движение. Она ходит так давным-давно, и ей ничего другого, очевидно, не придумать. Мне кажется, что, если ее выпустить, она никуда не побежит, а будет на свободе совершать это самое вращательное движение.

Потом я останавливаюсь около царства белых медведей, самых грациозных увальней на свете. Им не скучно. Их четверо, и пространство, отведенное им, вполне достаточно для их разнообразных интермедий. Они — прирожденные артисты, и около их вольера всегда толпятся и малыши, и взрослые.

Потом я отправляюсь к африканскому слону и в бегемотник, наполненный гомоном всех пернатых мира, живущих на втором этаже длинного, вместительного, пропахшего навозом и птичьим пометом сарая. Этот запах плотен и неистребим и при выходе своей густой и влажной волной подталкивает в спину.

Я обхожу оленей и лосей, потому что в свое время встречал лосей в лесу и видел их во всем царственно прекрасном блеске — могучих, красивых, незаменимых в том мире, который их создал. Впрочем, сейчас зима — их стихия, и они не выглядят жалкими и приниженными, в них появляется зимой врожденная гордость, естественная, значительная.

Когда-нибудь люди, думаю я про себя, сделают во искупление своей вины перед всем живущим в своих городах Согласия и Гармонии прекрасные леса и парки, пустыни и тропики — каждому живущему по его вкусу. А может, просто-напросто научатся понимать природу, обретут утраченное и откроют новое, найдут или восстановят язык родства.

Я захожу к тюленям, высовывающим из воды мокрые гладкие головы с нелепо торчащими ницшеанскими усами.

От тюленей мой путь лежит к жирафам, этим бессловесным эйфелевым башням африканских тропиков, с огромными глазами, полными прекрасной любви и зачарованной тайны, с бархатными губами, грациозно срывающимися с прозаических сухих березовых веников скрученные в трубочку листья.

Потом я иду к орлам и долго смотрю на их камен-

ную невозмутимость, на полуприкрытые, как бы остановившиеся глаза, полные взрывной страсти движения. Зимой их апатия усиливается, и они часами сидят, не поворачивая голов, не переступая ногами в железных башмаках. Они всегда вызывают во мне чувство восхищения и уважительного внимания к своим величественным особам. И хотя мы выкинули геральдического орла вместе с геральдикой (на это были свои причины), настоящие орлы от этого не потеряли своих возвышенных качеств и по-прежнему парят где-то на уровне нашего воображения.

В самом большом вольере с бетонными скалами у меня есть знакомый орел. Орлан-белохвост. Я его знаю лет тридцать, а может быть, и больше. Я никогда ему ничего не приношу. Но, как мне кажется, он знает меня, потому что самой неподвижностью своей он дает мне понять, что замечает мое присутствие. Я смотрю в его глаза, полужакрытые желтоватой пленкой, на его крючкообразный клюв, вытянутый параллельно горизонту, над коричнево-серым оперением мощных даже в своей вынужденной скованности крыльев.

Я смотрю на моего орла и вижу январь сорок второго года.

Мы идем по пустому заснеженному Невскому, заваленному сугробами по самые брови. Идем вдвоем с моим другом художником Борей Утковым. Бредем, еле переставляя ноги, не стряхивая с плеч и шапок снег, который сыплется на нас с провислых толстых, как пожарные шланги, проводов. Мы идем к Бориному учителю, знаменитому художнику. Нам надо раздобыть у него линолеум для нашей дивизионной газеты «Знамя Победы». Нас за этим и послал наш редактор из Ново-Саратовской колонии, где стоит и готовится к бою наша Восьмая особая бригада после эвакуации с полуострова Гангут.

Борин учитель живет где-то на углу Исаакьевской площади и улицы Гоголя. По словам Бори, у него на пятом этаже и квартира, и мастерская. Я знаю эту квартиру до мельчайших подробностей и могу найти в ней все с завязанными глазами, потому что Боря сотни раз мне рассказывал о ней.

Мы останавливаемся около Дома книги и присаживаемся на сугроб. Я захватываю горсть снега и кладу в рот, потому что во рту от голода и усталости сухо, как в Сахаре. Боря делает то же.

Мы несем Боринуму учителю подарок — банку консервов и полбуханки хлеба. Банку нам дал редактор, а полбуханки хлеба мы скопили сами.

Когда мы добрались до дома на углу улицы Гоголя и Исаакиевской площади, стало уже темно. Ощупью по осклизлой лестнице мы поднялись наверх и нажали кнопку. Нажали раз, и два, и потом вперемежку — сначала Боря, потом я — нажимали кнопку, стучали и кулаками, и ногами. И все бесполезно. Мы спустились вниз и нашли дворника.

— Электричество отключили, — сказала женщина неопределенного возраста (во время блокады все женщины Ленинграда были неопределенного возраста). Потом она узнала Борю и сказала нам о том, что Бориного учителя дома нет и больше никогда не будет.

Нам стало не по себе.

Очевидно заметив нашу печаль, женщина объяснила, что у нее есть ключ от квартиры художника и, если мы хотим, она может нас проводить в квартиру и даже разрешит нам остаться в ней на ночь.

У нас было мало времени. Утром, согласно командировочному предписанию, мы должны вернуться в редакцию.

Мы вошли в мастерскую, и я повернул направо и сразу же за шкафом нащупал рулон линолеума и вытащил его, а Боря, подойдя к столу, зажег свечу и прикрыл язычок пламени ладонью, так как из разбитого окна дуло и надо было соблюдать светомаскировку.

— Иди сюда! — позвал меня Боря, и я увидел на подрамнике, в мерцающем свете свечи, на крупнозернистой белой бумаге написанный широкими штрихами коричневого карандаша силуэт орла и позади его едва обозначенный купол Исаакия. Схематичность и незаконченность рисунка подчеркивали характер орла. Его силу и стремительность.

— Смотри сюда, — позвал меня Боря к столу и приподнял свечу. И сноп света упал на такой же лист бумаги, лежавший на столе. И таким же коричневым карандашом, в той же незаконченности, на нем были написаны два орла. Тот, что был изображен на первом листе, сидел теперь грудью к нам, распустив правое крыло, а слева от него, смотря на первого, сидел точно такой же орел, чуть поменьше.

— Он никогда не рисовал птиц. Он писал Летний сад, Неву, иногда портреты,— сказал Боря скорей для самого себя, нежели обращаясь ко мне.

В это время начали бить зенитки. Они были где-то совсем рядом с нами, их оглушительный лай гудел в мастерской, как колокол. За окнами замелькали лучи прожекторов. Боря потушил свечу, и мы подошли к окну,

И началась фантастика.

Голубоватое лезвие света стремительно скользнуло по куполу собора, на какое-то мгновение задержалось на бронзовой в зеленоватых подтеках фигуре ангела, державшего факел, и бронзовое пламя факела вспыхнуло синим огнем. Потом луч прожектора сместился вправо. И мы увидели на крыле ангела двух орлов, сидящих рядом, и желтоватый блеск их живых глаз в луче прожектора вспыхнул зловеще и неотразимо. Один орел был чуть побольше другого, совсем как на том, лежащем на столе, листе, и если бы не эти рисунки, сделанные Бориним учителем, последние рисунки его жизни, мы бы наверняка не поверили в тех живых орлов, сидящих на крыле ангела, которых только что наблюдали в струящемся свете прожектора.

Это было необычно, как, впрочем, все в этом городе, где трагедия и мужество обнажили до предела и суть человеческих поступков, и истинное значение, и цену вещей и всего замкнутого мира.

Боря положил рисунки в папку, а папку спрятал в шкаф.

Потом мы закрыли дверь на ключ и спустились в дворницкую. Мы, не стовариваясь, отдали в дворницкой женщине, впустившей нас в квартиру Бориного учителя, наш подарок вместе с ключом от мастерской и, чтобы не видеть, как она начнет есть наш хлеб, потому что и сами были голодны, вышли на мороз и снег и пошли в свою особую бригаду в Ново-Саратовскую колонию, по очереди неся рулон линолеума.

— Наверное, он и умирая видел своих орлов...— тихо сказал Боря.

Все это я вспомнил, глядя на орлана-белохвоста, неподвижно сидевшего в вольере на ребристом выступе бетонной скалы. Этот орлан-белохвост очень похож на того большого орла, которого мы видели с Борей Утковым январской ночью сорок второго года из окна мастерской. Но там на крыле ангела сидели два орла. И Борин

учитель на крупнозернистой бумаге грубым коричневым карандашом тоже нарисовал двух орлов.

И время снова сместилось перед моими глазами и перепутало последовательный ход событий, устремляясь куда-то, как река, по известному только ей руслу.

...И я вижу тусклый осенний день. Низкое мокрое небо, придавленное к земле. И землю, размытую холодным морозящим дождем. Осклизлую глинистую землю под Колпином, около кирпичного завода. Все уже разошлось по своим местам, а я все стою около желтого бугорка глины, и в моих ушах все еще живет, тянется и рвется нестройный гул прощального салюта пистолетов. Мы только что похоронили Борю Уткова. И больше ни я, ни Катя, никто на свете не увидит его широко раскрытых глаз с выпуклыми белками, ни круглых с ямочками щек, ни ослепительной улыбки, пленительной как откровение.

Это я пойму потом, день или два спустя.

Боря погиб в бою. Он не мог погибнуть иначе. Во время боя он был на переднем крае со своим альбомом. В минуту передышки он делал карандашный набросок кого-то из своих товарищей, чтобы на завтра вырезать его портрет на линолеуме и напечатать в газете. Началась атака. Убило командира роты. И Боря взял командование на себя, поднял оставшихся солдат навстречу идущим немцам. И пулеметная очередь прошла ему грудь и альбом с зарисовками, заткнутыми за отворот шинели.

И с тех пор часть души моей, как мне кажется, лежит там, с Борей.

Время идет. И снег скрипит под ногами прохожих... Затапанный подошвами городской снег. И ветер ерошит перья на загривке орлана-белохвоста, а он не обращает внимания, сосредоточенный на чем-то своем, невозмутимом, вечном. Но между нами есть живая связь, та точка, где моя память зацепилась за его крючкообразный клюв.

Что мог бы сделать в жизни Боря Утков? Он нес в своей душе огромный заряд прекрасного. Он и умер прекрасно, упав лицом вперед, смяв своей грудью пулеметную очередь и придавив ее к земле. Он заглянул в упор в глаза смерти и не испугался ее, потому что верил в торжество жизни.

И мне всегда бывает легче дышать после свидания

с орланом-белохвостом, потому что воспоминания мои связывают начала и концы бесконечной нити жизни.

И я уйду из Зоопарка, из этой восторженной толчеи, пересекаю проспект имени Горького и сажусь на скамейку в сквере, разбитом на углу улиц в обрамлении глухих кирпичных стен. Около самых стен посажены тополя. Они вымахали выше крыш и своими стволами и разветвлениями прикрывают, скрашивая, голые глухие стены.

Архитекторы называют эти стены брандмауэрами. Их много, этих брандмауэров, на нашей Петроградской стороне. Да и в других районах старого города тоже немало. Это не плод воображения строителей. Нет, никто не задумывал строить дома со стенами без окон. Это сделала война. Бомбежки и обстрелы. Это сделали «юнкеры» и «берты», тупость и страх, потому что жестокость есть обратная сторона трусости. И я на этих глухих стенах, на этих брандмауэрах, как на широкоформатных экранах времени, выпукло и отчетливо вижу огонь и пепел, снег и кровь. И женщину в стеганке неопределенного возраста, и ее сухой взгляд из-под платка, озаренный красноватыми отблесками пожара.

Она уже бабушка, и в уголках ее внимательных глаз, около затемненных временем морщинок притаились мудрость жизни и уверенность опыта.

Она может, как и я, на глухих и слепых стенах, оставленных войной, как на широкоформатных экранах, видеть прошлое и будущее. И она сидит рядом со мной на скамейке под голыми тополями, прикрывающими стену, и смотрит на меня, и узнает меня. И я ее узнаю. И широкоформатный экран наполняется светом, и возникает объемное изображение. И мы оба смотрим в серый декабрь сорок первого года и видим ее тогдашнюю, закутанную по брови в бабушкину шаль.

Она тащит санки. На санках — кастрюли, и ведра, и какие-то еще странные посудины, и в каждой посудине по щепотке, чтобы не расплескалась вода. Она тянет эти санки, останавливается, тяжело дышит и, наваливаясь грудью на веревку, снова сталкивает санки с места. Как бесконечно долгов ее путь от проруби до бегемотника! Но Красавица не может жить без воды. Так уж она устроена. А воды в бегемотнике нет. От холода лопнули трубы. Тем, кто ухаживает за хищниками, легче. Отрыли тушу убитой бомбой словихи Бетти и кормят

их. А Красавица — создание редкое и нежное, не привыкшее к холоду. Воду приходится подогреть, а когда нет воды, кожу Красавицы приходится натирать вазелином, иначе она трескается. И она все это терпит, бедняжка.

— Анна Петровна, — спрашиваю я, — а мясо бегемота годится в пищу?

И вдруг, взглянув в ее глаза, понимаю всю чудовищную нелепость своего вопроса и умолкаю на полуслове. И она, понимая мою неловкость, начинает говорить сама:

— Меня каждый день у проруби спрашивали: «Жива?» — «Жива, говорила я. Да еще и в весе прибавила». — «Ну, раз бегемот живет, мы и подавно выживем». И выжили. И Красавица мне как родная стала. Да что там говорить, если б не она, я бы на этой скамейке сейчас не сидела... А когда она умерла от старости своей смертью, я на пенсию ушла. Новый бегемот — не чета Красавице... Моя Красавица умела нырять и, высовывая из воды голову, подмигивать тому, кто ей нравился...

Потом я включаю свой экран со своими орлами. И Анна Петровна вглядывается в их неподвижные фигуры на бронзовом крыле ангела.

— Да, это оба наши. Когда слонику Бетти убило бомбой, осколок этой бомбы порвал железную сетку на вольере с орлами. И два орла улетели. Молодой и старый. Нам говорили, что они живут на Исаакии. Потом старик вернулся. А молодой улетел. Молодые и должны улетать. На то они и молодые.

Мы встаем со скамейки, и идем через парк к станции метро, и говорим друг другу «до свидания» около книжного киоска, и я, поворачивая на свою улицу с Кировского проспекта, окончательно убеждаюсь в том, что мне ничего и никогда не надо выдумывать.



## ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Вечером в субботу мне позвонил Сергей Борисович Сперанский. Мы с ним старые знакомые и ровесники, поэтому говорить нам друг с другом и понимать друг друга легко и просто. Он архитектор. И знают его не только у нас в Ленинграде, но и в других городах, да и за границей знают и ценят как прекрасного и редкого мастера своего дела. В то время, о котором идет речь, он кроме всех прочих дел по горло был занят сооружением по своему же собственному проекту памятника героям Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Он мне и позвонил-то затем, чтобы пригласить на воскресенье съездить вместе с ним на строительство и посмотреть, что там делается. Позвонил и этим своим звонком завел меня на всю ночь, и сноп проектора начал высвечивать на экране памяти те ставшие для сегодняшнего мира легендарными события, судьбы моих друзей, и мою собственную судьбу, и судьбу нашего Ленинграда...

У каждого из его защитников — он свой. У меня он тоже свой, Ленинград, моя судьба, моя любовь, моя работа и радость.

Вот я написал эти слова: мой Ленинград, моя судьба. Написал и задумался. Ведь по рождению-то я не ленинградец, как и большинство моих друзей по легендарному полуострову Гангут, по ленинградской блокаде, по Великой Отечественной войне, по Вороньей горе — нашей совести, нашему солдатскому кровному труду.

Я родился под Ивановом, и Ленинград начался для меня, наверное, с букваря в Бибиревской сельской школе, а может быть, даже и раньше, по рассказам старших, стал сказкой, мечтой о чем-то очень высоком и светлом, как пушкинские стихи:

Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы.

И вот в состоянии этого возвышенного парения души я и увидел Ленинград в декабре 1939 года. Наш полк

выгружался на запасных путях Варшавского вокзала, и наши артиллерийские кони, с которыми мы вместе ехали всю дорогу, упирались в темноте теплушек и не хотели спускаться по настилам в тускло освещенный, тревожный мир ночного бессонного города.

Потом мы шли по затемненным улицам, ведя коней в поводу, и тревожная рваная тишина, пронизанная вспышками, окружала нас. Снег хрустел под каблуками и подковами, трамвайные рельсы повизгивали под полозьями саней и коваными колесами повозок, и ветер, ледяной ветер с Балтики, дул нам в лица и наполнял наши уши под спущенными подшлемниками рокотом воображаемого боя.

А его не надо было воображать, мы вступили в бой дня через два где-то справа от Териок дорогой на Райволу, так и не увидев своего Ленинграда.

Мы как бы прошли через него, через его душу, не видя города, только ощущая его напряженное дыхание.

Потом был мороз, мерзлый вереск, валуны и расщепленные деревья, грохот артиллерии всех калибров, скрюченные тела друзей на красном снегу и теплый живот коня на привале в часы провального, еще юношеского сна. И так до самого Выборга день за днем, ночь за ночью. И потом опять Ленинград и ощущение первой причастности к его судьбе, понимание естественности долга и смутное предчувствие ненадежности устоев самого времени, ожидание еще неведомых тревог и решительная готовность встретить неизбежную, уже присутствующую в самом составе времени бурю.

Мы, может быть, еще не успели объясниться в любви своим сверстникам, но уже тайно, каждый по-своему, объяснились в любви нашему Ленинграду. И с этой готовностью ко всему, с этой невысказанной любовью мы и поехали на транспортах через Балтику мимо Гоглянда за четыреста пятьдесят километров на запад от Ленинграда на полуостров Гангут (или Ханко), и там-то на этом каменном полуострове, устроив укрепления и казармы, мы незаметно для самих себя и стали ленинградцами.

Может быть, сознание, что мы стали ленинградцами, прибавило нам силы, и собранности, и того чувства ответственности, которое сразу проявляет характер каждого и формирует общий характер всех.

Мы уже знали, как пахнут порох и кровь.

Мы поняли, как нелепа смерть и как прекрасна жизнь удивительного мира и что этот удивительный мир надо защищать своей жизнью и кровью.

Другого выхода не было.

Война есть варварство и дикость, недостойная человека, его чудо-разума и его опыта.

Фашизм, начавший войну против нас, беспощадную войну, был слеп в своей ненавистнической, звериной природе.

Он не понимал слова разума.

С ним можно было разговаривать только языком огня и смерти.

И у нас не было другого выхода. Наши индивидуальные характеры, соединяясь вместе, превращались в ту грандиозно непобедимую силу, которая называлась характером народа, нашего советского народа. И эта сила не имела ни конца ни края. Она была неизмерима и неистощима.

Фашизм этого понять не мог по своей математически выверенной тупости. Он был механичен и лишен духовной сути. В доскональной правильности его расчета не было почвы жизни. Он был обречен самим своим возникновением, потому что сила противодействия, вызываемая его действием, была сильнее его своей правдой жизни.

Мы не то чтобы понимали это. Мы жили этим. Это было то единственное, чем мы тогда могли жить, остальное было гибельно.

И мы стояли насмерть. На этом полуострове Гангут, где когда-то Петр окончательно и навсегда разгромил шведов. Наша граница и проходит по той самой петровской просеке, где Петр собирался перетаскивать сушею корабли. Мы вросли намертво в каменную почву полуострова.

Немцы — под Москвой.

Они окружили Ленинград.

Металл, огонь и смерть. Пролуженная траками земля горит и кровоточит. Она молчит, эта все видавшая земля.

И мы стояли насмерть, зарывшись в эту праматерь Землю, здесь, на этом чертовом полуострове, в четырехстах пятидесяти километрах от зажатога в железо и огонь Ленинграда. Мы отбиваемся и наступаем сами. Мы забираем девятнадцать островов, и сама история оживает и смотрит нашими глазами в перекрестие прицела.

Потом нас назовут гангутцами и «не знавшими отступления», и мы, оставшиеся в живых, получившие по какому-то мановению судьбы в подарок эти тридцать с лишним лет жизни после Победы, будем по достоинству гордиться этим. Я вынимаю из стола, из укромного уголка ящика, заваленного рукописями (как только они копятя!), удостоверение к памяtnому знаку «Гангут. 1941».

На этом удостоверении стоит подпись Сергея Ивановича Кабанова, генерал-лейтенанта береговой обороны, командующего гарнизоном на полуострове Ханко. Он был истинным ленинградцем, сыном питерского рабочего, исколотого штыками в Кровавое воскресенье 1905 года и сосланного в Сибирь. Он участвовал в гражданской войне. Он был талантом, вышедшим из самых глубин народа, знавшим народ и верно ему служившим. Он не знал отступления, и мы, солдаты и командиры гарнизона, были влюблены в этот его прямо-таки железный характер и, что там говорить, побаивались его, втайне восхищаясь им. Но его теперь нет. Он отслужил свое своей Родине, до последнего дня жизни заботясь о своих гангутцах. Он написал прекрасную книгу «На дальних подступах» о своей верной жизни, о беззаветности солдат и матросов, старшин и командиров, которые под его командой стояли насмерть.

Нет теперь и Николая Павловича Симоняка, командира Восьмой особой бригады на полуострове Ханко. Он тоже не знал отступления. Его даже сами немцы называли «генерал-прорыв». Его гвардейцы-гангутцы, вернувшись с полуострова по приказу Ставки Верховного Главнокомандования, стали воистину героями Ленинградского фронта, участвуя в самых тяжелых и сложных операциях по прорыву блокады в 1943 году (это его солдаты соединились с волховчанами!) и по окончательному разгрому фашистов под Пулковом и на Вороньей горе в январе 1944 года.

Их уже нет, наших беззаветных командиров.

Да что там говорить! Ряды ветеранов-гангутцев очень поредели.

С полуострова Ханко вернулись на Ленинградский фронт около двадцати пяти тысяч человек, храбрецов, не знавших отступления. Теперь осталось тысячи две с половиной, не больше. За плечами каждого из нас, живущих сейчас, стоят десять его товарищей. Они незримо

присутствуют в его жизни своим подвигом, своей кровью, пролитой вот на этой ленинградской земле. Они объяснились в любви Ленинграду молчаливо, объяснились молодыми жизнями своими и навсегда, на веки вечные остались верными этой первой своей любви.

Их кровь — в самом составе ленинградской земли, их дыхание — в этом милом воздухе белых ночей и в ладожском ветре.

Вот на что меня «завел» звонком Сергей Борисович Сперанский. А когда меня так «заходят», мне уже трудно прийти в спокойное состояние. Да существует ли оно, это самое спокойное состояние? Да и нужно ли оно мне?

И я лежу с закрытыми глазами, прислушиваясь к заснувшему городу, и снова тот, уже ставший историей, мир блокады и войны возникает перед моими глазами, растет как дерево в моей душе, ветвясь и распространяясь на всю нашу тревожную землю, связывая все события, происходящие на ней, в один неразрывный клубок единой жизни.

И я вижу, как мы вдвоем с Борей Волковым бредем по накатанной дороге, по торосистому, испещренному рваными воронками льду, из Кронштадта в Лисий Нос. Мы после эвакуации Ханковского гарнизона стали работать в кронштадтской газете «Огневой щит». А сейчас мы идем в свою Восьмую бригаду. Нам надо сначала зайти в краснофлотский экипаж, а там нам скажут, куда следовать дальше. И вот мы идем, и пронзительный ветер продувает наши шинелишки, стянутые ремнями до последней дырки. Мы уже сами знаем, что такое голод. На дорогу нам дали аттестаты и селедку на двоих, два кусочка хлеба и четыре кусочка сахара. Не разъешься! В Лисьем Носу мы садимся на занесенный порог вокзала. Поезда не ходят, надо идти пешком. И мы опять идем. Идем не останавливаясь. Мы уже разошлись. Если мы сядем, надо будет начинать все сначала. Опять вставать и опять расходиться. И ветер свистит в дулах наших карабинов каким-то знобящим душу свистом. И все-таки мы добираемся до Ленинграда в серые сумерки. Ленинград призрачен, как тень, и редкие люди тоже призрачны, как тени. У Летнего сада мы садимся на сугроб и, раскинув руки, ложимся на снег. И какая-то женщина, остановившись, долго смотрит на нас.

— Живые? — спрашивает она.

И этот вопрос возвращает нас в реальный мир и поднимает с примятого снега.

В экипаже, выпив кипятку, мы забираемся на нары и спим как мертвые. А утром направляемся в Ново-Саратовскую колонию, там стоит наша бригада.

На дорогу нам дают опять одну селедку на двоих, пару тоненьких кусочков хлеба и два куска мыла, как будто его тоже можно съесть. И мы идем полупустым, заснеженным городом. И вмерзшие в снег троллейбусы и трамваи чудовищны и нелепы, как мертвые мамонты, и провода, густо опущенные и нееее, провисают почти до сугробов.

Воздух неподвижен. Мороз сух и резок. Мы идем Невским и по Суворовскому. На Суворовском нагоняем женщину. Она тащит по снегу, перекинув веревку через плечо, лист фанеры. На фанере сверток, очертанием напоминающий тело подростка, фанера скрипит пронзительно. Женщина останавливается через каждые два шага. Мы, не сговариваясь, подходим к ней с двух сторон и беремся за веревку. Она молчит. Мы сворачиваем около Смольного, укрытого, как паутиной, маскировочной сетью, к Охтинскому мосту и у моста присаживаемся на сугроб. Боря вынимает наши запасы, и мы делим их на троих.

— Дочка это,— говорит женщина.— Нина. Яблока перед смертью просила все...

Мы снова впрягаемся и помогаем женщине, а миновав Охтинский мост, прощаемся, и женщина, остановившись, смотрит на нас ласково и пронзительно. Мы сворачиваем направо не оглядываясь.

Сколько раз потом я вспоминал эту женщину и ее ласково-пронзительный взгляд из-под опущенного на белый лоб платка. Я видел эти глаза в шахтерском поселке Лота на берегу Тихого океана, в Чили. Я видел их в негритянском квартале Дакара в Африке. Они смотрели на меня на площади Пигаль в Париже. Они возникли передо мной у входа в метро в Глазго, и еще я вспомнил о них на пристани Верхневартинска в прошлом году, когда один сукин сын выбросил в Обь целый каравай белого пшеничного хлеба. Я увидел тогда глаза этой женщины...

Мы с Борей Волковым связаны с этой женщиной до конца дней своих, потому что она благословила нас взглядом своим быть ленинградцами навсегда и где бы

мы ни были. Лет пять тому назад, когда я зимой пришел на Пискаревское кладбище, я увидел, кажется, ее склоненной около первой, налево от фигуры Матери-Родины, могилы. Я не окликнул ее и не стал рассматривать, чтобы не мешать ей в ее печали, святой и вечной. А когда спустя минуты три оглянулся в ее сторону, ее уже не было, а на краю братской могилы в ослепительно белом снегу лежало, горело, цвело ослепительно алое яблоко.

Нет, не цветы, а яблоко на снегу братской могилы, где лежат ленинградцы — мужчины и женщины, старики и дети. Тысячи... десятки тысяч... Сотни тысяч ленинградцев.

Как они хотели жить, томясь своей беспомощностью!

Каким надо быть чудовищем, человеконенавистником, чтобы обречь столько людей на смерть!

Правда жизни вечна, и палачу не уйти от возмездия, потому что он проклят самой жизнью, самими семенами, которые светятся в алом яблоке на ослепительно белом снегу Пискаревского кладбища, и надо, чтобы это яблоко видел род людской, населяющий Землю.

О нет! Они не были безропотными мучениками. Они презирали своих палачей. Они умирали, помогая подняться другим, веря в жизнь, в ее вечное торжество! Мужество их духа — единственное, ни с чем не сравнимое богатство, оставленное ими для живых. И живые должны помнить и понимать это, иначе распадется связь времен и в мир придет запустение.

Я открываю глаза и слушаю ночной, спящий город.

За окном, в световой воронке фонаря, клубятся снежные мохнатые хлопья. Они слетаются в световую воронку беззвучно, как бабочки, бесконечной прорвой, и в моей комнате начинает пахнуть свежим снегом и антоновкой.

А ведь в эти самые страшные дни и ночи января 1942 года, когда голод достиг предела, в это время архитектор Александр Сергеевич Никольский в промозглых подвалах Эрмитажа рисовал на ватмане проекты триумфальных арок. И это не было бредом. Это была жизнь! Великая, торжествующая жизнь, исполненная веры в победу Разума и Совести. И весной победного 1945 года именно по этим рисункам и чертежам за Кировским заводом были построены эти триумфальные арки, правда временные, из фанеры, но это не мешало

празднику, когда под их торжественными сводами, возвращаясь из Курляндии, шла ленинградская гвардия героев Вороньей горы.

Наш гангутец Владимир Массальский поднял на грудь девочку, и прижался к ее белому платьицу исполосованным шрамами лицом, и заплакал, а она, эта пи-галица, поцеловала его, обхватив ручонками шею, а потом улыбнулась всем, всему народу, всему ликующему миру, как сама Победа, прекрасная и беззащитная, и уселась у него на руке, играя Золотой Звездой Героя.

Я вспоминаю это, и слезы подступают к моим глазам. Я помню это и хочу, чтобы это не было забыто. Это нельзя забыть. Я всегда вспоминаю об архитекторе Никольском, когда попадаю на Кировский стадион, построенный по его проекту, и мне это воспоминание не мешает следить за игрой «Зенита», и если бы зенитовцы знали, по чьему проекту построен стадион, ей-богу, они не плелась бы в конце турнирной таблицы.

Наша Земля не такая-то уж большая, по каждый человек — это целая вселенная, и надо сделать так, чтобы вселенная внутри человека жила, цвела, переливалась всеми гранями не имеющего предела совершенства.

Ленинград — сам по своей истории своеобразный символ для человечества, так, по крайней мере, думал я о Ленинграде еще до встречи с ним, таким он и остался для меня с тех пор, как я стал ленинградцем, таким он представлялся мне в ощущении тех людей, с которыми я разговаривал о надеждах и горестях Земли на разных ее континентах. Значит, думаю я, у Ленинграда должны быть свои символы для ленинградцев. Таким символом стойкости и мужества, высокого гражданского долга и стал памятник у Средней Рогатки, на площади Победы. Памятник Героям Ленинграда.

И я опять вспоминаю ленинградскую осень 1942 года, дом № 2 по Зверинской улице, петляющую треугольником лестницу на шестой этаж. Там жил Николай Семенович Тихонов, главный летописец блокадного Ленинграда, сухой, белоголовый, с каким-то неистовым огнем в светлых глазах человек. В те времена мы звали его «Могучим», потому что с ним никто не мог сравниться в выносливости. Видимо, старая закалка солдата и альпиниста жила в этом костистом, волевом, железном теле, и чем больше было лишений и забот, тем больше была его сопротивляемость. По-моему, Александр Андреевич



Прокофьев так впервые назвал Тихонова. И это к нему пристало.

Кого-кого только не перебивало на кухне (там было теплее) в тихоновской квартире за время блокады! И командиры, и солдаты, и партизаны, и рабочие, а уж наш брат литератор дневал там и ночевал.

Я помню, будто это только вчера было, как, греясь чаем, мы говорим о тех днях, когда кончится война, когда наладится мирная жизнь и надо будет обозначить рубеж блокадного кольца, все эти двести километров, где были остановлены фашисты. Это было осенью 1942 года, в те дни, когда Сталинград исходил кровью и до прорыва ленинградской блокады оставалось четыре месяца.

Мы тоже, как и весь Ленинград, как все ленинградцы, жили только мыслями о Победе. Иначе мы не могли думать. Все другое для нас просто не существовало.

Там, на тихоновской кухне, я и познакомился с Георгием Суворовым. Он только что появился на нашем Ленинградском фронте. Он служил в Панфиловской дивизии и после ранения из госпиталя получил назначение в 45-ю дивизию. По-моему, он сам всеми правдами и неправдами напросился на наш фронт. Прибыл и сразу попал в бой под Ивановскими порогами, потом на Невский пятачок. Он был храбр и нежен. И стихи его были горячи, как само дыхание только что вышедшего из боя командира.

Есть в русском офицере обаянье.  
Увидишься — и ты готов за ним  
На самое большое испытанье  
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.

Он как отец — и нет для нас дороже  
Людей на этом боевом пути.  
Он потому нам дорог, что он может,  
Ведя на смерть, от смерти увести.

Так он писал о своем командире, полковнике Савелии Михайловиче Путилове. И мне было завидно, что я не мог так коротко и точно выразить сам характер Путилова, хотя знал его еще с финской кампании и по войне на полуострове Ханко. Он был начальником штаба нашего полка. А мы подружились с Георгием там, на тихоновской кухне, навсегда. Он был щедрым на дружбу человеком. Он умел раздаривать себя вместе с ослепительной улыбкой под тонкими офицерскими, щеголе-

вато подбритыми усиками, вместе с огоньком чуть на-смешливых карих глаз.

Он погибнет... Нет, он не погибнет — он объяснится в любви Ленинграду на переправе через Нарову в феврале 1944 года, будучи командиром взвода противотанковых ружей. Он упадет в бою лицом на запад, не веря в свою смерть...

Мне жить одной, встающей над разлукой,  
Над нашей смертью в схватках огневых,  
Той верушимой круговой порукой,  
Упрямой связью мертвых и живых.

Это я написал после гибели Георгия Суворова. И этим я живу все тридцать пять лет, подаренных мне Победой.

Я знаю, что дорога к звездам начинается от полуистлевших фанерных звезд над братскими солдатскими могилами, что мужество одинаково необходимо и для тех, кто спасал Родину, и для тех, кому предстоит оберегать нашу Землю. Пути человеческие неисповедимы, но мужество познания священно так же, как и человеческий опыт.

Ленинград! Здесь, как нигде в другом месте, очень прочно переплелись и мечта Александра Пушкина о тех временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», и крик декабристов из сибирских рудников, их голос веры в то, что «из искры возгорится пламя», и «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И в том, что на Марсовом поле, рядом с памятником Жертвам революции, у того самого камня, на котором выбита на все времена надпись: «По воле тиранов друг друга терзали народы. Ты встал, трудовой Петербург, и первый начал войну всех угнетенных против всех угнетателей, чтобы тем убить самое семя войны», стояло орудие зенитной батареи, а на бруствере ходов сообщений росла капуста, не было ничего удивительного.

Ленинград был символом нового мира, и поэтому фашизм хотел стереть его с лица земли.

Я сначала не верил, потом убедился, что это правда, сам увидел в ленинградском Музее истории города приглашение на бал по случаю взятия Ленинграда. Фашисты даже и это подготовили! Но они не могли понять ленинского братства народов, самого великого завоевания революции, и они, эти народы, в страшный час мировой беды встали на защиту своего любимца. Они были ленинградцами все эти девятьсот дней и ночей блока-

ды. Они слали по ладожскому льду продовольствие и оружие, и случилось чудо: гарнизон осажденного города, собравшись с силами, пошел в наступление, разорвал кольцо укреплений и сам двинулся на запад, и кто-то из солдат Ленинградского фронта написал на стенах поверженного рейхстага: «Мы, ленинградцы, пришли в Берлин, чтобы немцы к нам не ходили без приглашения».

Немцы ходят к нам теперь, ходят, ездят и летают, как, впрочем, все, кто хочет понять существо нашей Революции.

Мне как-то пришлось просматривать книги записей посетителей Ленинской комнаты в Смольном.

Нет в мире, оказывается, ни одного сущего языка, на котором не было бы написано в этих книгах слов восхищения судьбой того человека, именем которого мы в благодарности своей назвали наш город...

Ленин — это школа нашей жизни, школа нашей победы.

А у победы нет конца, она требует ежедневного подтверждения и продолжения, она требует от каждого ленинградца объяснения в любви своему Ленинграду.

А ведь у каждого ленинградца свой Ленинград и свое объяснение в любви ему всей своей судьбой и навсегда.

Утром Сергей Борисович Сперанский заехал за мной, и мы отправились на Среднюю Рогатку, туда, где 9 мая 1975 года в бронзе и граните, в цветах и знаменах за сверкали слова: «Подвигу твоему, Ленинград!»

Вот и все, девочка моя! Я давно хотел тебе сказать об этом.

Ты уже взрослая.

Тебе предстоит объясниться в любви один раз и на всю жизнь всей своей жизнью и взять в руки ослепительно алое яблоко с ослепительно белого снега Пискаревского кладбища.

Посмотри его на свет.

Видишь, как просвечиваются семечки?

Из них может вырасти яблоня.

Должна вырасти.

## СВЕТ ЛЕНИНСКОГО ОКНА

Вся эта история началась на самом конце света, на краю земли, в фантастическом городе Антофагаста, там, где Тихий океан выкатывает высокие волны холодного Гумбольдтова течения на дикое побережье пустыни Атакама, лишенной почвы и растительности, там, где в прошлом веке люди отыскивали громадные залежи селитры.

Порох нужен всем. И к причалам Антофагасты со всей земли потянулись за селитрой вереницы кораблей. Пробраться порожняком через океан не так-то просто, поэтому капитаны, чтобы корабли были устойчивее, нагружали трюмы землей. Добравшись до Чилийского побережья, капитаны бросали якоря, благодарили морского бога Нептуна и выгружали трюмы, чтобы наполнить их селитрой.

Нашелся все-таки один благородный человек и в этом диком месте. Привезенную в виде балласта на кораблях землю он предложил ссыпать в определенное место на побережье. Вот так на почве, свезенной со всех концов мира, и возник в Антофагасте Бразильский парк, единственный уголок в пустыне Атакама, гектаров на двадцать площадью, где есть радующая душу человека зелень, где шумят на океанском ветру эвкалипты, железное дерево альгарробо и пальмы.

Не знаю точно, есть ли в Антофагасте русская земля. Думаю, что есть, потому что русские корабли за селитрой тоже туда ходили...

Я побывал в этом городе лет пять тому назад. Нам удалось проехать через всю пустыню Атакама вплоть до городишка Гран-Педро, расположенного у подножия высоких Анд. Мы побывали на разработках селитры и меди. Видели каторжный труд горняков, их нищую жизнь. Видели роскошные особняки предпринимателей и собачьи конуры рабочих, наполненные полуголыми ребятишками.

Мы говорили с чилийскими учителями, врачами и с адвокатами, которые стараются сделать все возможное для облегчения жизни своего народа. Они ненавидят и презирают пришельцев из Северной Америки, присвоивших себе богатства чужой земли и безбожно набивающих карманы долларами.

За неделю пребывания в Чили мои глаза стали постепенно привыкать к необычному пейзажу, к этой голой обнаженности земли, к вечному единоборству океана и суши, к четко обрисованному профилю гор и огням города, зябко и тревожно мерцавшим в густой ночи, сливаясь с низкими ручными звездами.

Мы встречались и с рабочими, добывающими селитру, и горняками медных рудников, с преподавателями и студентами университета, верящими в то, что и на их земле восторжествует человеческая справедливость...

В день отъезда, вернее в вечер отлета, на аэродром нас пришел проводить один из руководителей местной коммунистической организации с группой работников швейной фабрики.

И одно только слово: «Товарищи!», которое он произнес по-русски, приветствуя нас, от которого мы за эти дни отвыкли, сразу придавало беседе какой-то особый оттенок душевного доверия.

Мы сидели на открытой веранде аэродромного ресторана. Справа от нас шумел, ворочался, равномерно накатываясь на каменную сушу, Тихий океан, слева в пепельно-красноватой дымке заходящего солнца темнели голые зубчатые горы.

Рамов, так звали нашего нового товарища, коренастый человек, с могучей мускулатурой рабочего, с плоским лицом и темной пористой кожей, с белыми зубами, подчеркивающими при улыбке непроходимую черпоту его южных глаз, рассказывал нам о только что одержанной победе рабочей забастовки. Девушки со швейной фабрики как самую большую драгоценность показывали нам фотографии, вынутые с самого дна сумочек, на которых они были сняты вместе с матросами нашего учебного судна, заходившего в Антофагасту.

Потом начался обмен сувенирами. И на белых кофточках портних загорелись круглые значки со светящимся профилем Ленина. И они, эти милые девушки, не скрывая, гордились значками, ставшими их собственно-

стью, гордились своей причастностью к великому братству земли.

А Рамону значка не досталось. Он, как мужчина, конечно, старался не показать своего огорчения, но чем он больше старался это делать, тем оно настойчивее проступало на его лице. И я начал рыться в своих карманах, чтобы найти что-нибудь для Рамона подходящее. Я нашел. Это была открытка, черно-белая фотография Смольного. Я отдал ее Рамону и хотел объяснить, что это такое, но Рамон предупредил меня. Он улыбнулся и сказал еще два русских слова: «Смольный... Ленин...»

Потом через переводчицу спросил меня, какие из окон — окна Ленина, вынул шариковую ручку и передал ее мне, для того чтобы я отметил эти окна на открытке.

Я не мог этого сделать, потому что ленинских окон на открытке не было видно. Окна квартиры выходили в сторону стены соседнего флигеля, окна кабинета — на Неву, и я ответил через переводчицу:

— Все окна — ленинские.

И Рамону это понравилось, и он бережно, не прищипывая к бумаге пальцами, как птенца, спрятал открытку в бумажник, рядом с партийным билетом.

Его лицо долго стояло перед моими глазами, когда «Каравелла», набрав высоту, сделала круг над Антофагастой и повернула на юг к Сантьяго, и горы, залитые лунным светом, и лунный Тихий океан продолжали вниз вечное свое единоборство.

И я начал думать о своем Ленинграде...

Оказалось, что я помню ленинские окна в Смольном только изнутри. Но все равно для меня, ровесника Советской власти, давным-давно существует это ленинское окно, этот никогда не потухающий в нем свет.

Этот свет, идущий из ленинского окна, светил мне всю мою трудовую жизнь.

Он стал для меня, как и для всего моего поколения, нашим светом.

Он мне светил сквозь метель в окне Бибиревской школы в том январе 1924 года, когда девочки, оставшись после уроков, обряжали елочными гирляндами на стене портрет Ленина в траурной рамке, сделанной школьным сторожем.

Он мне светил в Баксанском ущелье в тот день, когда колодная вода Баксана через канал и тоннель хлынула в водохранилище и оттуда по стальным трубам

обрушилась на лопасти турбин и в горных аулах загорелись первые электрические лампочки.

Он мне светил в штормовом декабрьском море, когда мы возвращались в Ленинград с полуострова Гангут и наш корабль, подорвавшись на трех минах и потеряв управление; беспомощно всей громадой накрепился на левый борт.

Он мне светил всеми огнями радуги в день победы Ленинграда, когда следы от разноцветных ракет дымилась, струясь, как водоросли, в торжественном воздухе над заснеженной Невой, и ленинградцы, заполнившие набережные, не скрывали слез радости.

Он мне светил... Светил всю мою жизнь, приобщая душу к высокому делу, к подвигу народа, наполняя ощущением, что я живу на этой земле не напрасно...

Впервые я увидел Смольный в январе 1942 года, когда шел в Ленинград из Ново-Саратовской колонии в госпиталь.

Он стоял притихший, как корабль, вмерзший в лед, и только красное знамя над ним слегка покачивалось при легком дуновении ветра, и снег вокруг него чернел от порохового нагара, а навстречу мне через Большой Охтинский мост, закутанные в какие-то несуразные одеяния, изможденные, неопределенного возраста женщины везли, ежеминутно останавливаясь, своих близких к последней пристани на Охту, и со всех сторон то и дело доносилось глухое перекатывание артиллерийского грома.

Я знал Смольный до того, как в нем побывал, знал по кинокартинам, по фотодокументам, по воспоминаниям солдат и командиров революции, не преувеличивая скажу — знал так, словно когда-то жил в нем.

Потом мне много раз приходилось бывать в Смольном и в ленинской квартире на втором этаже. Но когда бы я ни был в Смольном, ощущение того, что Ленин только что проходил по этим ступеням, не пропадало...

Ленин — самый счастливый из мыслителей, которые когда-либо существовали на земле. Ему только одному удалось, сочетая мысль с делом, увидеть реальное воплощение своей мысли в жизнь — революцию, победу его Коммунистической партии, победу рабочего класса.

Я бывал много раз в этой комнате. Но тогда в ней былолюдно. А сейчас никого, кроме часового, фотокорреспондента да моего друга-журналиста.

Вот она, эта комната, где жил Ленин.

Вот они за перегородкой, две солдатские койки, и между ними тумбочка, и на тумбочке знаменитое маленькое зеркальце в круглой металлической оправе. Где его нашел тот солдат, который подарил его Надежде Константиновне, я не знаю, но я отчетливо могу представить себе, как он неуклюже и в то же время бережно вынул это зеркальце заскорузлой ладонью из бездонного кармана и, протягивая Надежде Константиновне, сказал:

— Уж вы его возьмите, пожалуйста. Вы ведь, кроме того что являетесь женой нашего вождя Владимира Ильича, еще и женщина, вам и на себя посмотреть надо...

И я робко заглядываю в зеркальную круглую поверхность, как в глазок, через который видны штормовые ночи революции и нелегкие будни вождя...

Фотокорреспондент расставляет свою аппаратуру, а я сажусь к окну и раскрываю один из бесчисленных альбомов с отзывами посетителей.

И здесь, в этой комнате с маленьким столиком, сходится вся Земля.

Какие только страны есть на Земле — и из всех этих стран побывали в ленинской квартире люди.

Какие только есть языки на Земле — и на всех этих языках написаны в этих альбомах слова сердечной признательности и восхищения, слова клятвы и верности.

Пространства суживаются до предела, и горизонты раздвигаются до бесконечности.

Одновременно весь мир со своими надеждами и горестями сходится сюда, и отсюда виден весь мир, тревожный и противоречивый.

Здесь начинаешь по-особому понимать, насколько многогранен и всеобъемлющ Ленин, насколько прекрасна, великодушна и сильна земля Россия, породившая Ленина.

В эти минуты мне почему-то приходят на память слова из книги Михаила Пришвина, писателя, казалось бы не имеющего непосредственного отношения к революции, но умевшего чутко слушать время:

«Отрицатель должен иметь при себе наличие того совершенства, во имя которого он делает отрицание. Не имеющий в наличии такого идеала отрицатель просто ворует, потому что оставляет в душах ничем не заполненную пустоту».



Ленин был великим преобразователем жизни. Его партия продолжает его дело. Идет единственная и воинственная замена старого новым. Души не остаются пустыми, они обновляются в жестокой борьбе.

И опять я вспоминаю припшвинскую запись, не имеющую прямого отношения к Ленину, но раскрывающую его суть:

«Человек должен быть непременно твердым, а то злые любят мягких, добрых и делают их своими костылями. Так и надо помнить, что настоящее зло — хромое и ходит на костылях добродетели».

Дело Ленина — дело человеческого добра на твердой основе.

...Потом мы поднимаемся на третий этаж, заходим в кабинет Ленина и зажигаем свет. Теперь в этом кабинете рабочая комната сотрудников Смольного. Мы выходим во двор к Неве и от берега фотографируем крайнее левое окно на третьем этаже. Оно горит ровным спокойным светом.

Оно светит на весь мир.

...Я иду в сумерках по Большому Охтинскому мосту. Я вижу Смольный и красный стяг над ним, подсвеченный прожектором, летящий по ветру в рваных низких тучах.

Я вижу ленинское окно.

И свет из этого окна, льющийся по всему миру.

И надо сделать все возможное, чтобы утвердить этот свет в душах людей Земли.

## ВЗГЛЯД С МОСТА НА ОБА БЕРЕГА

Без прошлого нет будущего.

Забвение катастрофично.

Сама жизнь настоятельно требует от нас, живых, соединяющих нашим Сегодня вчерашний и завтрашний день в единый поток наполненного действием времени,— Памяти Мужества и Мужества Памяти.

Я умер бы, судьбы не изменя,—  
Но что ты будешь делать без меня?

Это — Шекспир. Этими словами заканчивается его знаменитый шестьдесят шестой сонет. А вслед за этими словами в памяти моей высвечивается высказывание Джавахарлала Неру, более близкого мне по времени человека. Он говорит мне: «Я мог бы уйти из жизни, разочаровавшись в ней, но меня удерживало только одно, а именно: умение Человека жертвовать самим собой ради других». Дело вовсе не в том, читал или нет Джавахарлал Неру Шекспира, дело в том, что оба они мыслили об одном, и эта мысль, очевидно, одинаково глубоко их волновала, мучила и радовала. Они жили этой мыслью, как и своей жизнью, ради других, обнаруживая родство своих душ, протянутое через столетия. Я тоже часто думаю об этом, когда прохожу через Марсово поле мимо памятника Жертвам Революции, мимо вечного огня, первого Вечного огня Революции, которая поставила перед собой великую цель — «убить самое семя войны». И этой великой цели, как оказалось, все мое поколение служило и служит, не жалея отпущенной жизни.

Двадцать миллионов сыновей и дочерей нашего советского многонационального братства отдали свои жизни «ради жизни на земле», на самом трагическом перекрестке истории человечества.

Их подвиг, их мужество по своим масштабам не имеет себе равных. И не должны иметь.

И об этом я думаю всегда, когда прохожу по Марсову полю мимо Вечного огня Революции, обещавшей человечеству «убить самое семя войны».

А несколько дней назад я думал об этом по дороге на Невский пятачок, по дороге на истерзанный и измятый, прожженный и вывороченный клочок земли, где до сих пор не растет ничего, кроме сухой, как проволока, жесткой травы и редкого татарника. Впрочем, надо по порядку.

Прислал мне недавно из эстонского города Пярну письмо один из уцелевших защитников Невского пятачка Алексей Пантелеев с горькой жалобой на то, что это место и подвиг его защитников забывают, и посоветовал мне познакомиться с одной женщиной.

С нею-то мы и поехали на Невский пятачок. Зовут эту женщину Екатерина Карловна Белоконь. Ей восемьдесят четыре года. Но она бодра и подвижна. Она истинная ленинградка. Учительница. В университете более тридцати лет преподавала английский язык. А теперь учит языку на дому — готовит к экзамену девочек. Во время войны она была в Ленинграде. Никуда не эвакуировалась. Муж ее погиб. Два сына тоже погибли на фронте, и еще племянник погиб, которого она воспитывала вместе со своими сыновьями. Живет она в коммунальной квартире на Мойке. И есть у нее где-то в Роцино небольшой клочок земли, который она своими собственными руками превратила в цветник. Вот мы и едем с ней на Невский пятачок. Почему? Да потому, что, как только на ее участке начали цвести флоксы и пионы, настурции и астры, георгины и гладиолусы, она стала их возить на Невский пятачок и разбрасывать по этой одичавшей, пустынной, как забвение, земле.

Мы ехали с Екатериной Карловной и разговаривали о Шекспире и о Джавахарлале Неру, о нашем долге перед погибшими за нас «ради жизни на земле». Читали, перебивая друг друга, стихи Пушкина и Шиллера, Берггольц и Ахматовой, Некрасова и Никитина.

День был пасмурный, серый, захватанный и мокрый, но, когда мы выехали по левому берегу Невы за Рыбацкое, небо посветлело, грязь с дороги исчезла и обочины забелели чистым снегом, и на душе стало что-то тесниться от воспоминаний тех далеких дней юности, когда мне здесь приходилось бывать и ползать по этой земле,

потому что другой способ передвижения был небезопасен для жизни.

Мы подъезжали к тому месту, где река Тосно впадает в Неву. Там в свое время проходила граница. Там осенью 1942 года мои однополчане и друзья по непобежденному Гангуту вступили в свой первый бой на ленинградской земле. Много их здесь полегло, на этой земле. Я помню, был здесь тогда Теткин ручей, и вода в нем была красна от крови. Много раз мне приходилось бывать здесь после войны, а Теткиного ручья я так и не нашел, словно он сквозь землю провалился. Здесь стоит памятник Зеленого кольца Славы. А на левом берегу Тосны и Невы — братская могила и безымянный обелиск (впрочем, с памятника Зеленого кольца тоже половина букв выпала и разобрать написанное нельзя).

От этого места вверх по реке Тосно, чистой и тихой, до самого поселка Тосно на площади в двадцать тысяч гектаров вырос настоящий лес — осинник, березы, ели, сосняк и дубки, черемуха и ива. Если бы к этому лесу приложить внимание и руки, через два-три года можно было бы открыть прекрасный парк для отдыха ленинградцев. С просьбами об этом обил пороги всех учреждений в Ленинграде местный лесник, энтузиаст Анатолий Николаевич Лоцагин, и его друг, архитектор Георгий Владимирович Пионтек. И все просьбы впустую. Так можно загубить нечаянный подарок самой природы, эти зеленые легкие, так необходимые непомерно разросшемуся городу. Надо, чтобы лес попал в одни надежные и умелые руки. К опыту Лоцагина обязательно надо приглядеться. Сажены, выписанные им из всех лесопарков Советского Союза, его усилиями привились на памятной и печальной земле: и кедры растут, и облепиха тоже. Эту землю так легко превратить в место памяти о мужестве нашего народа, в сад мира, добра и света.

Об этом мы тоже говорим с моей спутницей, спускаясь с откоса шоссе на насыпи к безымянному обелиску над братской могилой защитников Ленинграда, защитников Мира и Разума. Братская могила обнесена оградой, а сам цоколь обелиска — подстриженными кустами акаций и решеткой. На обелиске ничего вразумительного не написано: ни номеров частей, ни фамилий павших героев. Но эта отпугивающая безымянность восполнена самодеятельностью родственников захоронен-

ных здесь героев. Очевидно, кто-то из близких первым приколот к решетке обелиска просто фотографию погибшего здесь героя и написал под ней имя, отчество, фамилию и дату гибели, известную из похоронки, а другой, следуя его примеру, перевел изображение погибшего на эмалированную металлическую пластинку, третий такую же пластинку заключил в рамку, четвертый изображение врезал в камень и этот камень прикрепил к решетке. Разнокалиберная галерея продолжает расти после каждого праздника Победы, когда родственники, друзья-однополчане съезжаются в Ленинград, чтобы почтить память героев Ленинграда на местах их захоронений.

Память есть память! И к этой самостийной памяти надо относиться с самым глубоким уважением.

Одна могила неизвестного солдата едва ли заменит памятник всем погибшим. Да у неизвестного солдата, кстати говоря, было личное имя, отчество и фамилия, и в том, что он остался неизвестным, он, погибший за нас, живущих, не виноват, а виноваты, по всей вероятности, мы, живущие, небрежением к памяти его подвига, оставившие его в разряде неизвестных.

Мать-Победа должна знать поименно всех, кто не пожалел самой жизни ради торжества Матери-Победы. И только так!

Об этом мы тоже говорим с Екатериной Карловной. Она и на этот раз вынула из сумки букетик бессмертников и положила к подножию обелиска. Потом мы садимся в машину, чтобы ехать дальше, и я, вспомнив, начинаю читать стихи моего друга Георгия Суворова, который воевал в этих местах осенью 1942 года. Стихи так и называются «Теткин ручей». Суворов написал их здесь в перерыве между боями.

Пустяки! Шприпа — полсажени.  
Сделай шаг — и на той стороне.  
Две большие солдатские тени  
Потонули в почной тишине.  
А потом вдруг неловко и громко  
Оба рухнули враз на песок.  
Только в воду упала котомка,  
Только стукнул о пень котелок.  
Пробудясь, голосами живыми  
Зазвенел убегаящий вал.  
Кто-то милое женское имя  
Долго-долго откуда-то звал.

Екатерина Карловна слушает молча и смотрит на меня из-под очков усталыми, чуть выцветшими глазами, а потом, как бы продолжая мои мысли, начинает читать другое стихотворение из сборника Георгия Суворова, который ему так и не посчастливилось подержать в руках. Екатерина Карловна читает не все стихотворение, а только последнюю строфу:

Природы бессловесный крик  
Поймай и всей душой почувствуй.  
В пей нет ни мысли, ни искусства,  
Но в ней источник сил твоих.

И меня, в который раз, поражает простота и глубина мысли, подчеркнутая едва приметным ассонансом, и то, как она могла возникнуть в душе моего друга в те далекие времена, когда Теткин ручей был действительно красным от человеческой крови.

Мы едем дальше, за Восьмую ГЭС, к Невскому пятаку, и Екатерина Карловна показывает мне альбом с фотографиями и документами, с копиями ее писем в разные инстанции Ленинграда и Москвы, с самыми разными просьбами о том, чтобы сохранить страшную землю Невского пятка, засеянную костями и политую кровью в буквальном смысле этих страшных слов, как память о бесстрашии и храбрости защитников Ленинграда, как грозное свидетельство их мужества.

— Знаете,— говорит она,— не многого мне удалось добиться, но, по крайней мере, теперь хоть картошку на этой земле не сядят — и то ладно...

И вот мы ходим от воронки к воронке по оплывшим окопам и блиндажам, по редкой щетинистой траве, по ржавчине искореженного и изглоданного временем и дождями рваного металла, и поземка, свистя, переметает сухой, смешанный с песком снег — от былинки к былинке, и он стекает юркими змейками в углубления земли. Мы спускаемся с обрывистого берега к воде, к песчаному закраю, тронутому льдом, к широкой, взерошенной ветром темной Неве, уже несущей в море ледяное крошево пытающейся замерзнуть Ладоги. Полуогнившие бревна напоминают гнилые зубы, застрявшие в розовой десне песчаного берега. Здесь была переправа, на которой коменданты сменялись, погибая каждые два часа, а с правого берега на левый из каждых пяти лодок добиралась только одна, пятая, а остальные

четыре — в мелкую щепку, и бескозырки с пилотками плыли, покачиваясь, к Ленинграду, и гребни волн отличали красным.

Все это было. И Екатерина Карловна знает, как было, — это видно по ее глазам, слезящимся от резкого ветра. Она стоит у самого берега, на узкой песчаной кромке и смотрит на противоположный берег, а может быть, в самое себя смотрит, в свою еще до сих пор не примирившуюся с утратами душу. Она стоит как мать всех погибших. Как мать их верности и храбрости.

Ей ничего не надо мне говорить. Я знаю, о чем она думает.

А Нева течет, великая, как сама жизнь.

Течет Нева и подмывает левый берег.

Она, как все в этом мире, незаметно меняет русло. Меняет, потому что у нее есть в этом необходимость. И подмытые глыбы желтовато-красного песка с остатками ржавого металла и костей, грохоча, сползают к воде и исчезают, размываемые волнами. Они отваливаются, как куски человеческой славы и позора. Они становятся опять песком времени, исходным материалом вечности и жизни.

А я смотрю за новый мост, туда, на правый берег Невы, откуда началось наше победное наступление.

— Через Неву и на Берлин!

— Там каждому из вас на колючей проволоке по ордену висят!

— Вперед!

Я уж и не помню сейчас, кто это кричал. То ли комиссар Иван Ерофеевич Говгаленко, то ли сам генерал, батько Николай Павлович Симоняк!

И лед гудел, как сорок тысяч колоколов. И к плечам прирастали крылья.

Я не знаю, как назовут этот новый мост через Неву на месте прорыва блокады. Мне бы хотелось назвать его Гвардейским. И не только потому, что части прорыва были потом названы гвардейскими, а потому, что сам мост всей своей выправкой и подтянутостью звучит в унисон этому верному, как стальной клинок, слову.

А по мосту идут машины. Легко. Стремительно. Обычно.

Идут на Ладогу и на Петрозаводск.

И на Берлин идут. Совершенно свободно. Через Неву — и на Берлин.

Из Ленинграда в Берлин. И из Берлина в Ленинград.

И все это за время одной человеческой жизни.

Наша машина тоже легко, как ласточка по карнизу, скользнула по лезвию моста, по его прямой, как бритва, спине. И мы увидели с его надежной высоты Ладогу и Неву, оба ее берега, так свободно соединенные. И я вспомнил свои старые стихи:

В мостах вражды  
Нам нет пужды —  
Давай спалим мосты вражды,  
Мосты войны,  
Мосты тревог,  
Обиды пройденных дорог.

Основы  
Новой  
Путь непрост —  
Давай построим новый мост  
От сердца к сердцу напрямик.  
С материка  
На материк.

Построим мост. На том мосту  
Поставим дружбу на посту.  
И будем вместе строить мост  
С земли до звезд,  
С земли до звезд!

С высоты моста видно, что оба берега едины. Человечество тоже едино. Чтобы увидеть это, человеку надо искать в мире не различия, а родства. Родства между отдельными людьми и целыми народами, между странами и континентами.

Любая победа начинается с осознания прошлых ошибок.

Общечеловеческая — тоже с этого.



## ИМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗВЕСТНО

Каждый раз, когда я бываю в Москве, а это случается часто, я обязательно нахожу время зайти в Александровский сад, к могиле Неизвестного солдата. И на этот раз я тоже пошел туда вечером, остановился напротив рваного пламени Вечного огня. Я стоял и думал. Меня обступала живая память моей жизни, отделяя какой-то плотной стеной сиюминутное время, его толчею, шум нескончаемого потока его надежд и загадок. Блики оранжевого пламени скользили по буквам надписи. Я давным-давно знаю эти слова: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» — и все-таки каждый раз произношу их про себя свято, как молитву.

Я знаю, что без прошлого нет будущего, что все великие открытия на путях познания человеческого разума начинаются с осмысления своих ошибок, что великие истины, преобразующие человека и его мир, рождаются на раздробленных камнях сомнений. Знаю это как солдат и как человек, причастный к поэзии.

Нельзя жить без Памяти. Забвение катастрофично. Я опять шепчу про себя: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

Но почему же оно неизвестно?

Ведь были же у него, у этого неизвестного, мать и отец, дом, в котором он родился, зеленый лужок, по которому сделал он неуклюжие первые шаги на радость матери. Были у него и бездонное голубое небо над головой с жаворонком посередине, и иссиня-белый январский день, перечеркнутый его лыжней, и танцевальная площадка в городском саду, и первое признание на лодочной станции, и запах железной окалины на загрубевших ладонях, и верность огромной, как небо, Родине и родине домашней, верность всей жизнью на всю жизнь.

Ради этой жизни он и пошел в огонь. И сгорел в огне, защищая огромную, как небо, Родину, друзей и малень-

кую домашнюю родину. Защите этого мира он отдал все, на что была способна его влюбленная в жизнь душа. О бессмертии ему думать было некогда.

Почему же он остался неизвестным? Это случилось не по его вине, по вине живых, нас с вами, по вине нашего небрежения к памяти о прошлом, без которой нет грядущего.

Неизвестных солдат нет и быть не может, потому что мы, живые, защищенные их кровью, ходим по нашей земле, дышим воздухом жизни, растим детей на радость нашему грядущему.

Эти раздумья закружились во мне, беспокойные, как рваное пламя Вечного огня. Душа моя уже не могла примириться с этой обидной неизвестностью Неизвестного солдата, совершившего высший подвиг — подвиг самопожертвования ради грядущей жизни.

Мысль эта стала неотвязной. Она сопровождала меня на обратном пути от Красной площади до гостиницы, гудела в голове по дороге на вокзал, не давала покоя в купе «Красной стрелы» и под стук колес складывалась в слова, связанные перекрестной рифмой. Я так и не сомкнул глаз этой ночью, а где-то около Тосно встал и записал:

Я всей жизнью своей виноват  
И останусь всегда виноватым  
В том, что стал неизвестный солдат  
Навсегда неизвестным солдатом.  
И в сознании этой вины,  
Собирая последние силы,  
Я стою у старинной степы,  
У его беспощадной могилы.  
И гудят надо мной времена  
Дикой страсти войны и разрухи.  
И погибших солдат имена  
Повторяют святые старухи.  
Чудо жизни хранят на земле  
Смертным подвигом честные люди  
Но грядущее мира — во мгле,  
Но печальная память — в остуде.  
И тоска мою душу гнетет,  
И осенние шквнут растенья,  
И по мрамору листья метет  
Оскорбительный ветер забвенья.

Я записал эти горькие слова в тетрадь, и мне стало не то чтобы легче, а свободней, естественней в купе летящего через рассвет поезда. Я расшторил окно, за ним была

карусель серого леса, стряхивающего сонный туман, того самого леса, где сорок с лишним лет назад не было ни земли, ни неба, а был огонь, и трохот, и развороченный снарядами и бомбами рыжий от крови торф. Я вынул из баула письмо, полученное накануне.

*«...Очень давно я слежу за Вами в печати и по телевидению. И все сомневалась, а вдруг я ошибаюсь. Но вот недавно прочитала Вашу статью «В памяти навечно» и решила написать. А с Вами мы не только однополчане, но если я не ошибаюсь, то и ели с одного котелка. Я тоже участвовала в боях под Тосно. Как Вы пишете, там текла вода красного цвета. А я помню мостик из трупов, по которому в первый раз я никак не решалась пройти с тяжело раненым солдатом на плечах, и, если бы мне не пригрозили пистолетом, не знаю, решила бы я вступить на этот мостик или нет. А потом ничего, ходила, и только было очень неприятно провалиться между трупами. Там меня приняли в ряды ВЛКСМ. Командиром батальона был у нас Зазребин Григорий, а отчество забыла. А командовал полком Кожевников Яков Иванович.*

*Да! Да! Помню я и восьмую ГРЭС. Помню, как мы ловили с Невы лодки. И какое счастье испытывали мы, если в лодке среди убитых находили хоть одного еще живого. Это было в сентябре 1942 года.*

*Была я в боях и под Красным Бором, это за Колпино, и на прорыве блокады. А помните синявинские бои, сначала в болотах, где прямо-таки невозможно было выволакивать раненых из этой проклятой торфяной жижи, а потом бои на Синявинских высотах. А помните, если Вы тот человек, на которого я думаю (по телевидению Вы очень мало похожи на Мишу Дудина), Вы мне сказали: «Не ходи туда, там погиб Ваня», — это командир пулеметной роты Иван Таран, а потом передали мне его фотокарточку, которая у меня до сих пор хранится. Там, на этих высотах, притащила я раненого в медсанбат, а там как раз обед был, и Дима Зверев, старший лейтенант медслужбы, говорит мне: «Поешь сначала, потом и пойдешь». А когда мы поели, он сел у входа покурить. И вдруг клонится мне на руки. Сначала я думала, он шутит, а как глянула — он уже мертв. Малюсенький осколок пробил медаль «За отвагу» и впился в его молодое сердце. Я была в той же части, что и Вы, это точно. Все помню, все, только имена и фамилии уходят из памяти, а лица все пом-*

нятся. Ох, годы, годы, как много они стирают из памяти прекрасных имен. В то время мы были молоды, а сейчас уже пенсионеры! Теперь я Вам напомню о себе. Мы служили с Вами в первом батальоне сто тридцать шестого полка шестьдесят третьей гвардейской дивизии. Фамилию командира батальона я забыла. А замполитом батальона был Александр Тимофеевич Сумин, и его жена Шипова Женя еще меня называла «Кнопка». А Вы были у Сумина адъютантом, и я очень хорошо помню Ваши толстые тетради в коричневом переплете, которые Вы всегда носили в вещмешке. Если я ошибаюсь, то прошу меня простить, а если нет, то хотелось бы в этом убедиться. Я бы очень хотела побывать на встрече однополчан. Если это случится, я уж и не знаю, встречу кого или нет из старых знакомых. Но побыть среди них — это счастье, которое и описать невозможно. Вот побыть бы среди них, а потом и помирать можно. Вы только сообщите мне, где и когда эта встреча будет, и я обязательно приеду. Александр Тимофеевич Сумин умер в 1957 году. Я имею от него сына Станислава. Очень многое помнится, но всего не опишешь. Если в своих предположениях я ошиблась, то простите меня, а если нет, то я думаю, что это небольшой грех с моей стороны, что я отняла немного Вашего времени, а для меня это очень важно. И я очень волнуюсь, вспоминая эти страшные годы. Не считайте за большой труд, ответьте мне. А помните ли Яблоновку на Охте?

До свидания. С горячим приветом.

Мой адрес: 265100, Дубно Ровенской области, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 56. Евгения Михайловна Моисеева».

Милая Евгения Михайловна, если бы Вы только знали, как меня обрадовало Ваше письмо и сколько раз я его перечитывал! Что из того, что я, вероятно, и не тот Миша Дудин, который был адъютантом у замполита Сумина. В то время, которое Вы описываете, я уже сам был лейтенантом и работал в газете «На страже Родины», а в 63-й дивизии генерала Симоняка служил раньше, на полуострове Гангут, во взводе разведки полковой батареи. Но в тех местах, о которых Вы пишете, я тоже бывал и хорошо помню тот самый мостик из трупов, через который Вы перетаскивали тяжело раненного бойца. Только я, в отличие от Вас, не переходил по этому мостику, а переползал: переходить мне мешал снайпер.

Я думаю, что мы непременно встретимся с Вами, Евгения Михайловна. Все выясним, все вспомним, глядя друг другу в глаза. И Яблоновку на Охте, где отдыхала после боев под Тосно 63-я дивизия генерала Симоныка, и полк Якова Ивановича Кожевникова тоже вспомним. Как же нам их не вспомнить, ведь это наша молодость, ее любовь и верность на всю нашу жизнь!

«Ох, годы, годы, как много они стирают из памяти прекрасных имен». Этот вздох, идущий из глубины Вашей души, я повторяю про себя. Повторяю без упрёка и сожаления, желая ПАМЯТИ тому поколению, которое будет продолжать нас на беспокойной и тревожной земле.

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Но ведь он, этот неизвестный, прах которого лежит под вечным завитком огня у Кремлевской стены, не думал в последний миг жизни на этой земле, будет он известен или неизвестен. Ему некогда было об этом думать.

Об этом надо подумать нам, живым. Подумать не ради культа мертвых, а ради вечно живой жизни, ради связи вчерашнего и завтрашнего дня человечества.

Я думаю, что человечество едино, а каждый человек — это вселенная. И надо искать в своих отношениях с другими такими же вселенными не различия, а понимания. Александр Сергеевич Пушкин мечтал о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Я верю в это. Верю всем прошлым своим и всем будущим. Эту веру укрепляют мосты, через которые я переправлялся на другие берега и через которые мне еще предстоит переправиться.

Мосты, как известно, строят только для соединения.

И тот мост из трупов был тоже мостом в будущее. Мостом к Победе. Я его помню, я переползал по нему, когда возвращался из штаба 45-й гвардейской дивизии. Я туда зашел, возвращаясь в Ленинград из своей 63-й дивизии, чтобы проведать друга поэта Георгия Суворова. Мы забрались тогда в какую-то землянку, похожую на колодезный сруб, и выпили, поочередно прикладываясь, фляжку чистого медицинского спирта. Потом он читал мне новые стихи, стихи о своей любви и о своей Хакасии. До сих пор помню их с того первого прочтения и никогда уж не забуду:

Не придешь, нет, сюда не придешь ты  
Все надежды я предал огню.  
Не виню экспедиторов почты  
И молчанье твое не виню.  
Не уверен я, будешь ли рада  
Ты приходу тогда моему,—  
Все, как лучшую в мире награду,  
Я за долгие годы приму.  
Я приму. И с тоскою отвечу:  
Что ж, любимая, благодарю.  
Если б я не желал этой встречи,  
Разве был бы я в этом краю?

Суворов читал, а с наката на торфяную жижу пола и на наши плечи капала вода. Но нам было хорошо, даже уютно, и непрекращающийся обстрел, визг мин, чавкающие взрывы не мешали мне слушать и понимать эти стихи, написанные здесь, в промозглой землянке. Он читал, изливал душу, которая жила в этой торфяной жиже возвышенным миром истинной поэзии, трогательной, человеческой и красивой. И самого Георгия Суворова это чтение делало прекрасным и мужественным. Красота мира жила в его стихах, естественная, как дыхание:

Лохматый хоровод холмов,  
Хвой хохлатые папахи,  
Да вздохи, тихие, как взмахи  
Висящих в воздухе орлов.

Он пошел меня провожать. Смеркалось. Когда мы подходили к Теткиному ручью, нас обстрелял снайпер. «Ползи,— сказал мне Георгий,— я прикрою». И я пополз, а он дал несколько очередей в ту сторону, откуда нас обстрелял немецкий снайпер.

Георгий Суворов часто бывал в Ленинграде и каждый раз заходил ко мне в редакцию. Мы шли посмотреть город или на концерт в филармонию, а чаще всего на Зверинскую улицу к Николаю Семеновичу Тихонову. Последний раз я видел Георгия 9 или 10 февраля 1944 года. Он приехал из-под Нарвы, разгоряченный успехом нашего наступления. Глаза его горели радостью победы. Командир взвода противотанковых ружей, он читал стихи, пахущие ветром и дымом, исполненные веры в чудо победы. Потом мы были на концерте Марии Вениаминовны Юдиной, прекрасной пианистки нашей юности. После концерта я проводил его до попутной машины. Прощаясь со мной, он вложил мне в руку аккуратно сложенный листок бумаги и сказал, помахав рукой: «Это тебе. Прочти потом!»

Он погиб на переправе через Нарву. А на листке бумаги, который я положил в нагрудный карман гимнастерки, были стихи, как я сейчас понимаю, достойные памяти всех двадцати миллионов не вернувшихся с войны. Над этими стихами душа моя замирает от признательности:

...Последний враг. Последний меткий выстрел.  
И первый проблеск утра, как стекло.  
Мой милый друг, а все-таки как быстро,  
Как быстро наше время протекло.  
В воспоминаньях мы тужить не будем,  
Зачем туманить грустью ясность дней,—  
Свой добрый век мы прожили как люди  
И для людей!

Прошло много лет с тех пор, как эти стихи были написаны. Пройдет еще много лет, они останутся такими же свежими и пронзительными. В них и напутствие, и память — о всех двадцати миллионах, не вернувшихся с войны, и о нем одном, Георгии Суворове, который пожертвовал собой ради грядущего, — выше и прекраснее этого подвига нет.

Опять перед моими глазами бьется на ветру рваное пламя Вечного огня и багровые отсветы скользят по каменным словам: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

Нет, имя — известно. Оно живет в горестном сердце матери, в сердце сестры или сына. Живет в беспощадном взгляде Матери-Победы. Оно звенит в песне жаворонка в самой середине голубого колокола неба, огромного и удивительного, как жизнь.

Я хотел бы на Поклонной горе в Москве, где будет сооружен памятник Матери-Победѣ, увидеть Храм Памяти, в котором хранились бы имена всех двадцати миллионов оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., всех оставшихся на вечной службе у Матери-Победы ради жизни на земле.

## ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС И ОТ ВСЕХ ВМЕСТЕ

Прошлый год мало что прояснил в том вопросе, который задал когда-то по велению Шекспира принц Гамлет, задал сам себе и остался с этим вопросом один на один: «Быть или не быть?» А теперь перед этим же вопросом во весь беспощадный его размах стоит все человечество, и ответ зависит от каждого из нас и от всех нас вместе, живущих на твердой еще пока земле под голубым небом.

Я тоже живу на этой земле, в своей семье, в своем городе, в своей стране, причастный ко всем тревогам своей семьи, своего города, своей Родины и всей человеческой семьи. Мне никуда не уйти от главного вопроса, волнующего мир, нельзя уйти, тем более что день на минуте-две в сутки начинает прибавляться, заманчиво обещающая нам, живым, походить еще раз по зеленой траве и почувствовать живые токи земли собственными ступнями, без всякой прослойки.

Я видел смерть, заглядывал в ее бездны. Я потерял очень много друзей, и все их недюжинные жизни, невоплощенные думы лежат на моих плечах, на моей душе и требуют от меня, живого, ответственности за ту самую жизнь, ради которой они шли в бой и расплачивались за нее своими жизнями.

Об этом я не могу не думать, пока я жив. И все живое вокруг меня думает об этом. Мне кажется, что эта защитная реакция времени пронизывает весь видимый и слышимый мир, всю его непостижимую прелесть.

Я проецирую прошлый опыт моей души на завтрашний день и живу этой связью, потому что она, ее сиюминутное проявление и есть сама жизнь. И даже то, что зимняя ночь неизбежно становится короче, а день длиннее, заставляет с новой силой оживать как бы застывших на перекрестке веру, любовь и надежду — эту великую троицу человеческого оптимизма.



Я вспоминаю: после грохота и огня войны тишина была страшна обнажением раздробленности мира и осмысления его оцепеневшим, постепенно приходившим в естественное состояние разумом. После победного салюта, после неистового переблеска праздничных огней в дымном небе, удвоенного отражением в бездонной Неве, наступила тишина ожидания. Война еще жила в нас, живых, памятью о погибших и не уходила из наших снов. И белые ночи 1945 года были для нас от этих снов и раздумий ясными как день. Чтобы уйти от этого навязания, я сел как-то в вагон пригородного поезда и за Гатчиной, кажется в Суйде, вышел на деревянный перрон. Перескакивая через воронки и окопы, я шел в сторону Карташевки, шел по зеленой земле, и древнее родство с цветами и травами, с облаками и листьями снимало с души ощущение скорби. Я шел, удивляясь бабочкам и пчелам и голосу иволги с его божественной чистотой.

Я сел на поваленный ствол старой сосны с ободранной корой. Видимо, при падении он примял молодую рябинку, но она свободной от его тяжести веточкой потянулась к свету и вымахала над поверженной сосной метра на два в вышине, вымахала и окрепла. Она зацвела белыми шапками, заглянула мне в глаза и защекотала ноздри тонким запахом очарования жизни. Я удивился ей, ее силе, смелости, упорному желанию непременно подарить миру тихий запах очарования. Я люблю запах рябины больше, чем запах черемухи,— она своим запахом кричит, рябина же — очаровывает.

Полный этого очарования, я пошел дальше, перепрыгнул канаву, углубился в сосняк и, минуя витки колючей проволоки, разбросанной между золотыми стволами, двинулся к просвету между ними, в котором виднелось какое-то строение и раздавались детские голоса. Я медленно шел, прислушиваясь к чистому и высокому детскому голосу, похожему на голос иволги. Когда приблизился к забору, окружавшему постройку, то понял, что вышел на летнюю дачу детского сада. Звонкий детский голос пел: «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви». Пел, тщательно подчеркивая значение слов, с какой-то недетской серьезностью, и в этом звонком голосе переплетались трагедия и надежда.

Я заглянул за забор и остолбенел. Передо мной под старыми соснами прыгали, ползали, копошились, пере-

двигались, следуя за мячом, дети, а девочка лет четырех-пяти, певшая взрослую песню о трагедии и надежде, сидела в коляске и ловила мяч, который кидала ей другая девочка, опиравшаяся на костыль. Они смеялись. Им было весело, и солнце улыбалось им сквозь высокие кроны сосен.

Это были дети, покалеченные войной, дети блокадного Ленинграда, подобранные в горящих домах, в промерзших квартирах, где все вымерли. И то, что они были собраны вместе здесь, на поляне, около дома между старыми соснами, пронизанными июньским солнцем цветущего и благоухающего полнокровием жизни лета, делало эту картину особенно трагически обнаженной. Я стоял и смотрел на этих маленьких инвалидов, в которых неиссякаемые силы жизни тоже брали свое. Смешанное чувство трагедии и сочувствия, любви, ненависти и печальной надежды переполняло мою душу и заставляло меня снова и снова думать о том, что она будет меня преследовать всю мою жизнь.

Спустя тридцать семь лет я получил письмо. Привожу его почти без сокращений.

«Огоны!  
И смерть вставала кругом  
На месте, где упал снаряд.  
...Потом я увидал под Лугой  
На летней даче детский сад.  
Сад пятилетних инвалидов,  
Игру смеющихся калек.  
Не дай вам бог такое видеть,  
Такое вынести вовек.

Я не случайно начала свое письмо со строк Ваших стихов. Я одна из тех, кого Вы видели тогда под Лугой. Может быть, я воспитанница другого детского дома, но в послевоенные годы наш детский дом на лето вывозили из Ленинграда в Вырицу, и мне кажется, что Ваши слова именно про нас.

Прошли годы, мы выросли и заняли свое место в жизни. И те, которые вызвали в Вашей душе столько боли и отчаяния, не стали обузой обществу... Я всегда думаю о тех замечательных людях, которые, терпя все невзгоды, тяготы, неудобства, лишения, оставались людьми и не только сами жили, но еще и в нас, безжизненных, измученных войной ребятишках, воспитывали волю к жизни... Я часто рассказываю дочери, ученице 10-го класса, о жизни в детдоме, о героизме наших пе-

дагогов. Об их любви должны знать все. И Вы, может быть, согласитесь помочь нам в этом.

С уважением, Валентина Дмитриевна Максимова, Ленинград, 197341, ул. Королева, 15/30, кв. 126».

Я познакомился с Валентиной Дмитриевной Максимова, с ее мужем Юрием Тимофеевичем и дочерью Маргаритой Юрьевной. На их «зелененьком жучке без хвоста» (так они называют свой издавший виды «Запорожец») я ездил вместе с ними — за рулем сидела сама Валентина Дмитриевна — в их «скворешню»: в деревню Тикопись под самый Кингисепп. Переночевав в «скворешне», мы добрались до города Сланцы, где положили цветы, сорванные по дороге, к обелиску над братской могилой. На обелиске выбиты строки моего друга, прекрасного человека и поэта, погибшего в этих местах при форсировании Нарвы, Георгия Суворова: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей». Потом мы поехали к моему знакомому по переписке, солдату Борису Федоровичу Волгину, в Нарву, где он теперь живет в построенном собственными руками доме-тереме, иначе его и не назовешь, так он красив и ухожен, и вся земля вокруг дома, возделанная добрыми и умными руками, цветет цветами, подобранными в тон окраске терема.

Я подивился чистому нравственному воздуху, которым живет и дышит семья Максимовых. Я любовался ими, слаженностью их характеров, благородной ровностью их отношений и вспоминал слова одной старой ленинградки, сказанные в январе 1942 года: «Когда тебе очень трудно, то попробуй сделать хорошо тому, кому труднее, чем тебе, — и тебе сразу легче станет». Так Максимовы и живут — весело, просто. Работают, учатся. Ходят в гости и любят принимать гостей. И еще любят путешествовать.

Перед Новым годом я снова побывал у Максимовых. Пришел к ним в воскресенье. Все были дома — и Валентина Дмитриевна, и Юрий Тимофеевич, и Маргарита, теперь уже студентка второго курса юридического факультета университета. Мы сидели за столом, делились новостями, пробовали думать вслух о будущем, рассматривали фотографии. Потом Маргарита показала мне альбом «История одного детского дома», составленный ею, когда она еще училась в школе. Этот альбом лежит передо мной, и я делаю из него выписки: «В октябре месяце 1941 года в тяжелые блокадные дни в Ленинграде на Глинской улице был основан детский

дом для детей, пострадавших от бомбежек и голода».

Вот что пишет воспитанница Шура Бойцова: «Все ужасы мне, 13-летней девочке, скрасил детский дом на Глинской улице... У нас был драмкружок. Мы пели. Сначала нам казалось стыдно петь, когда все плачут. Но когда наша группа из шести человек однажды дала «концерт» в госпитале, мы поняли по потеплевшим глазам раненых, как это нужно. Надо было вернуть детям самостоятельность и трудоспособность. Главным девизом было: «Не пицать!..» В 1949 году детский дом переехал в Коломяги и просуществовал там до 1961 года, то есть до тех пор, пока последним жертвам войны не исполнилось 16 лет».

Пишет Лиза Сакова: «Поступила в детдом в декабре 1942 года. Найдена в пустой квартире возле умершей матери. На вид было года три. Не ходила и почти не видела. Войну помню как сплошной шум и грохот. Помню ласковые руки сестрички Лидии Ивановны, которая каждый день промывала мне глаза».

А вот что пишет сама Валентина Дмитриевна: «В детский дом поступила в октябре 1942 года. Принесла сандружинница, которая нашла меня в разбитом доме. Я не ходила. Очень боялась бомбежек и теперь другой раз просыпаюсь от страшных снов о бомбежках, при взрывах всегда вздрагиваю. Однако в 43-м году уже была в группе, которая ездила в госпитали... Помню, меня посадили на кровать к раненому, голова которого была вся обмотана бинтами. Мне сказали, что это летчик. Он не ест уже третий день — жить не хочет. Что цела ему — не помню. Только после этого он стал есть, а когда выписался, пришел к нам в детский дом прощаться со мной. Он опять уходил на фронт. Прожила я в детдоме 13 лет...».

К этому надо добавить, что врач Галина Николаевна из Института имени Турнера поставила двенадцатилетнюю Валю на костыли, а когда ей исполнилось 16 лет, массажист одного из санаториев в Евпатории Михаил Арсентьевич Иванов помог Вале бросить костыли и ходить даже без палки.

Продолжаю перелистывать альбом. Вспоминает Герой Социалистического Труда Леонид Михайлович Картаузов: «В 1941 году оказался на оккупированной фашистами территории. Мать умерла, отец погиб в осажденном врагом Ленинграде. Меня усыновили бойцы 185-й стрел-

ковой дивизии. С ними я прошел по дорогам войны. В 1944 году во время бомбежки подорвался на mine и потерял ноги. Из госпиталя меня направили в детский дом... Очень мне запали в память встречи с писательницей Матюшиной. Она писала тогда книгу о нашем детдоме. Ее героическая жизнь повлияла на мое дальнейшее понятие о жизни... Когда начали поднимать целину, я пробился через все комиссии, добился своего и поехал туда. Не сразу все получилось. Трактор достался мне с великим трудом, но слепой Матюшиной быть писательницей тоже было не просто, и это я помнил.

И еще свидетельство — В. Н. Митрофанова: «Мне хочется вспомнить, как ездили мы в ТЮЗ. 20-й номер трамвая ходил мимо цирка, и только он мог привезти нас к театру, но от цирка до него метров 800, а то и больше. А мы все еле двигаемся, да еще зима, скользко. И Алексей Емельянович упрощивает вагоновожатую остановить трамвай за мостом, напротив Моховой улицы, а потом на спине, бегом (мы всегда опаздывали) носил по очереди всех, кому было трудно идти... И это повторялось каждый выходной...».

Так они говорят о своих воспитателях все. Есть ли в мире похвала выше той, которая вышла из воскресшей после великих страданий души!

И опять я даю слово Маргарите Максимовой: «Жизнь победила. История детского дома, организованного в дни блокады,— это не только его военные годы. Это судьба детей, обездоленных войной, потерявших не только родителей, но и здоровье... Люди нашей социалистической Родины создали этим детям все условия, многие отдали свои жизни для того, чтобы они как равные встали в ряды живущих на земле».

Кроме этой мысли, Маргарита записала в альбом, что ей хотелось показать, как страшна война и как нужно бороться за мир на земле, чтобы ни одно поколение не знало страданий и увечий детей, чтобы все дети видели солнце и траву, были сыты и могли учиться.

...Альбом лежит у меня на столе. Я перелистываю его как собственную жизнь. Через бесхитростные истории, записанные на его страницах, я иду к немеркнущему свету человеческой души, исполненной добра и сочувствия. Когда я устаю от сомнений, то вспоминаю семью Максимовых, и мне становится не то чтобы легче, а увереннее жить.

...Валентину Дмитриевну, тогда беспомощную, еле живую, ничего не говорящую и никого не помнящую, подобрала в разбомбленном, горящем доме на Лиговке работница швейной фабрики «Большевичка» Ольга Яковлевна Фомичева. Она стала Вале матерью, и ожившая девочка тоже стала Фомичевой и носила эту фамилию с честью и достоинством, как положено хорошим детям, пока не вышла замуж за друга по детдомовскому гнезду Юрия Максимова.

И у Юрия Тимофеевича история похожа на историю Валентины Дмитриевны. Его спасительницей стала семнадцатилетняя соседка по дому на Калашниковской набережной Дуся, Евдокия Спиридоновна, как ее теперь называют в доме Максимовых. Это она подобрала его, уже переставшего плакать над умершей от голода матерью, в пустой, холодной квартире и свезла его в детский дом, а сама ушла в армию.

Ольга Яковлевна Фомичева вышла замуж и стала Русаковой. Она вырастила двух дочек, Галю и Раю, и они стали сестрами Валентины Дмитриевны. Когда Максимовы едут путешествовать или отправляются в свою «скворешню», под Кингисепп, прежде чем покинуть город, они обязательно заезжают на Южное кладбище, чтобы положить цветы около столбика с надписью:

**Ольга Яковлевна Русакова**  
1917—1982

Маленький столбик. Короткая надпись, за которой великое добро человеческой души, бессмертный характер русской женщины, матери мира, умевшей жить и учившей жить примером своей жизни всех, кто с ней общался: «Если тебе очень тяжело, сделай хорошо тому, кому тяжелее, чем тебе,— и тебе самому станет легче от этого».

Я рад, что судьба свела меня с этими людьми, не умеющими «пицать», но зато умеющими делать свое дело, жить по-человечески, знающими, что если человечество не похоронит войну, то война похоронит человечество. Понимающими, что праздник жизни зависит от каждого из нас в отдельности и от всех вместе.

От каждого из нас и от всех вместе.

Быть или не быть?

Только быть!

## ДЕВОЧКА И МОРЕ

Девочка была маленькая.

Море было большое.

Девочка никогда не видела моря.

Море за свою долгую жизнь повидало столько мальчиков и девочек, столько взрослых и стариков, что, наверно, сбилось со счета, впрочем, как утверждал мой друг и мой начальник, капитан рыбацкого катера «Ласточка» дядя Виль, море помнило всех и всё, что оно видело за свою долгую жизнь; оно даже могло показать все это виденное, но для этого нужно было терпение и подходящее время.

Этим терпением и чувством подходящего времени обладал дядя Виль.

Когда мы возвращались из рейса и, сдав кладовщику улов салаки, прибирали «Ласточку», он обыкновенно говорил мне:

— Иди готовь уху, а я пойду подумаю.

Я шел на камбуз, разводил примус и принимался за свои обязанности повара. Дядя Виль садился на скрипучий песок, снимал тельняшку с прокаленного худого тела и смотрел на золотые кольца солнечных бликов, рассыпаемых ленивой полуденной волной.

Дядя Виль был немцем. Самым хорошим немцем из всех встреченных в моей не такой-то уж маленькой жизни. Больше всего на свете он ненавидел фашистов и войну. И ему было за что их ненавидеть.

Он считал себя марксистом не на словах, а на деле. И когда в июне сорок первого года, в ночь на двадцать второе число, немецкие фашисты перешли границу Советского Союза и начали стрелять и бомбить, дядя Виль, будучи молодым солдатом, тоже перешел границу с автоматом наперевес, вот в этих самых местах, где мы сейчас ставим морды и ловим салаку.

Они высадились с моря и пошли на берег, и белая ночь оглохла и покраснела.

И случилось так, что дядя Виль, считая себя «марксистом на деле», на пятые сутки войны, где-то под городом Лида отстал от своих. А когда человек отстает от своих, да еще к тому же намеренно, да еще будучи военным, он обязательно должен к кому-то пристать.

Дядя Виль пристал к партизанскому отряду и объявил смертельную войну всей фашистской Германии.

Он помогал командиру отряда допрашивать пленных фашистов, потому что тот плохо знал немецкий язык, и командир был доволен Вилем. Потом отправили его самолетом через линию фронта, и он стал служить в седьмом отделе армии. Он стал незаменимым специалистом по моральному разложению войск противника — такая у него была должность.

Он писал листовки на немецком языке. Он агитировал немецких солдат прекратить войну. Он выступал по радио и кричал на переднем крае через мегафон, зазывая немецких солдат в плен. Это была трудная и неблагодарная работа, потому что до сорок третьего года, до Сталинградского котла и до прорыва Ленинградской блокады, фашисты думали, что они победят; это они уже потом стали поднимать руки и научились говорить «Гитлер капут».

И, хотя в своих передачах он называл себя просто «товарищ Виль», без фамилии и без других опознавательных знаков, немецкая контрразведка все-таки установила, кто он есть на самом деле. Вот они и раскопали на хуторе под Кенигсбергом жену товарища Вилия с пятилетними двойняшками и отправили их в лагерь.

Этот лагерь тут, недалеко от нас, километров пять от берега, за дюнами.

Дюны вечно куда-то переползают, а когда дует ветер, песок на их верхушках крутится и поет каким-то мертвым голосом, прямо жуть берет.

Отправили фашисты жену товарища Вилия вместе с двойняшками в лагерь, а ему обещали по радио помилование, если он вернется в свою часть.

Слух о том, что его жена и дети в лагере, до Вилия дошел. И он сжал зубы.

Когда в сорок четвертом году наши войска, освобождая Прибалтику, наскочили на этот концлагерь, Виль был там, и он своими собственными глазами увидел эти уходящие в дюны поленницы человеческих трупов, и чер-



вый мазутный дым над ними, и удушливый запах горелого мяса и волос.

Не знаю, как ему удалось найти в этом аду труп жены и своих двойняшек. Все трупы были одинаковы. Может быть, он поэтому только и нашел своих.

Он не заплакал, не сошел с ума, он сказал начальнику политотдела армии, русскому генералу:

— Приказ об этом злодействе был отдан на немецком языке. Я больше ни слова не скажу по-немецки.

И это была действительно последняя фраза, сказанная им на своем родном языке.

Русский генерал пытался что-то сказать о Гете и Шиллере, о Канте и Гегеле, но по глазам Виля увидел, что это напрасный труд.

Вот вся история моего начальника, капитана «Ласточки» дяди Виля.

Его знает все побережье и считает своим человеком.

Пока я сейчас довариваю уху на своем камбузе, дядя Виль лежит в тени «Ласточки» на белом сухом песке, вытянув обветренное худое тело, и смотрит полураскрытыми бледными глазами на золотые кольца, мелькающие в ленивой волне, на легкую перебежку светотени. Лежит и думает.

Я знаю, о чем он думает и что он там видит в этом своем море, которое, по его убеждению, при терпении и подходящем времени может показать все, что оно видело за свой долгий, долгий век.

Ему надо сейчас сосредоточиться, я это знаю, но ненадолго, потому что человеку, если он даже и мужествен, наедине с таким прошлым оставаться нельзя. Особенно сейчас, после того, когда эта девочка уехала со своим отцом-фотографом в свой далекий город за Полярным кругом.

Она не то чтобы расстроила его своей беспомощной доверительностью, а как-то заставила внутри у него ожить то, что уже начинало покрываться туманом времени, отдаленностью боли.

Он даже осунулся после ее отъезда и теперь был действительно похож на сухой лист, как его звали за глаза в нашем рыбацком поселке.

Я ему кричу, что уха готова, он встает, надевает тельняшку, и она обвисает на его плечах и полощется на животе. Он поднимается на борт и, вытерев о мат босые

ступни, заходит на камбуз и присаживается к столику.

Он смотрит на третью ложку, потом мне в глаза.  
— Она уже никогда не придет.

Он произносит это сухо и основательно. Только зачем он это говорит? Ведь я тоже знаю, что она никогда сюда не придет, но было же так приятно нам обоим, когда она топала своими каблучками по железной палубе нашей «Ласточки» и, откидывая голубенький капюшон голубенькой курточки, встряхивая мягкими пушистыми волосами, брала в маленькую ручонку вот эту самую ложку и, стуча по миске, звала нас обедать.

Я знал, что она не придет, но как-то механически положил третью ложку. Впрочем, Виль это понимает. Он все на свете понимает, мой начальник, капитан «Ласточки» дядя Виль.

Нас обоих немного утешает обещание отца девочки прислать нам ее фотографию, хотя что в ней толку, в этой фотографии, если он даже ее примет, раздражение одно, наверно.

Так мы и обедаем молча, и каждый из нас думает об одном и том же.

Дядя Виль встает из-за стола первым и, всматриваясь в море, в его нестерпимо синий, парящий горизонт, говорит и себе, и мне, и горизонту:

— Если ты хочешь изменить мир, начинай это благородное дело с самого себя.

Он произносит это как заклинание и уходит складывать высохшие морды для ловли салаки, а я убираю со стола и, вымыв посуду, перекидываю ноги через борт «Ласточки» и по горячим доскам причала спускаюсь на горячий скрипучий песок, присаживаюсь в тени причала и начинаю смотреть в мельканье золотых колец ленивой полуденной волны.

Мысли мои так же зыбки и неопределенны, как вот эта чешуйчатая игра светотеней на требующих покраски бортах «Ласточки».

«Если хочешь изменить мир, начинай это благородное дело с самого себя», — повторяю я про себя слова дяди Вили. «Да ведь мы только этим и занимаемся», — хочется мне крикнуть вдогонку уходящему за гребень дюн капитану, но я молчу, потому что знаю: он не услышит моих слов.

И в тот раз, когда приехала девочка со своим папой-фотографом, дядя Виль тоже после обеда говорил эти

самые слова, и так же не спеша уходил за гребень дюн собирать просохшие морды для ловли салаки, а я долго вглядывался в свое море и, зная, что оно ничего хорошего мне не покажет, повернулся на живот, головой к дюнам. И увидел ее вьющиеся легкие волосы, голубенькое платьице, заправленное в белые отороченные синим кантиком трусики, и тоненькие ноги, обутые в кеды.

Она стояла на самом гребне дюны, держась за сухие стебли высокой кустистой травы.

Она смотрела в море.

Она еще ничего в нем не могла видеть такого, что умели видеть мы с дядей Вилем.

Она видела только легкую синюю зыбь до самого горизонта и нестерпимый блеск рассыпанных в ленивой волне золотых колец солнца.

Она улыбалась и глазами, и ртом, я даже видел два ее верхних зуба и щелочку между ними.

Она смотрела в море.

Она была маленькой.

Море было большое.

Она увидела его в первый раз и не испугалась его.

Она ничего не видела и не хотела видеть, кроме моря.

Оно заполнило ее всю, и она оставила первый свой отпечаток в памяти моря, когда, подпрыгнув на тоненьких ножках, кубарем скатилась к береговой кромке мокрого песка с округлой линией высыхающей на глазах пены и, вскинув кверху ладошки и хлопнув ими, крикнула:

— Здравствуйте!

Это она поздоровалась с морем.

Так делали и мы с дядей Вилем. Делали каждое утро, с тем же благоговением, как и она, только молча и без подпрыгиваний. Мы это делали потому, что утро, каким бы оно ни было, — солнечным или пасмурным, тихим или ветреным, — все равно всегда прекрасно, потому что оно утро — конец ночи и начало дня.

Она поздоровалась с морем, и поскакала на одной ноге по самой пенной кромке берега, и очутилась незаметно для себя передо мной. Увидела меня и застыла на одной ноге, тоненькой и белой, как росток картофеля, проросшего в подвале. Потом в ней сработала какая-то пружинка, заставившая ее снова подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши и снова сказать «здравствуйте!». На этот раз мне.

Так мы и познакомились с ней в тот полдень.

Потом пришел дядя Виль, и она, к моему огорчению, стала с ним разговаривать, как со старым знакомым, совсем позабыв о том, что я первым увидел ее там, на гребне дюны, около высокого куста сухой травы.

Жизнь наша с этого дня приобрела какой-то высокий смысл определенности.

У нас как бы появилась реальная цель наших живых человеческих забот, и запасы нерастраченной нежности стали постепенно таять и освобождать наши души от этого самого тяжелого груза.

Слов нет, особые ее симпатии были обращены к дяде Вилю, а не ко мне, но я объяснял это тем, что у него все-таки были свои двойняшки, и он часто видел их, заглядывая в свое море, а у меня не было ни мальчиков, ни девочек в моем море, потому моя нежность была на более крепком запоре стеснительности, чем у дяди Вилия, и девочка, наверное, понимала это.

Дядя Виль совсем преобразился. Он завел девочку на катер, дал ей поддержать рулевое колесо и примерить свою парадную моряцкую фуражку с белым верхом и с серебряной капустой над лаковым козырьком, и когда она накрыла этой фуражкой свои золотистые легкие волосы, от нее остался только тонкий ее смех и тонкий голос:

— Здесь темно!

И мы втроем засмеялись.

И всем нам было так хорошо на этом свете, что лучше и придумать нельзя.

Потом пришел ее папа-фотограф — тощий, как дядя Виль, молодой человек с усиками, — стойко не сгибающийся под тяжестью своих четырех аппаратов.

— Она тут вам не очень мешает?

И в самом этом вопросе, вернее в его тоне, сквозила его отцовская гордость: дескать, она у меня воспитанная. Он оказался приятным, в меру разговорчивым и неназойливым парнем.

Он приехал снимать чаек. В том заполярном городе, где он живет со своей дочкой, нет чаек и вообще нет никаких птиц. Вот он и устраивает там свои фотовыставки, посвященные птицам: разъезжает по всей стране и снимает, а потом показывает, и всем горожанам это очень нравится.

Он нам приглянулся, и мне, и дяде Вилю, и мы решили взять его и девочку в завтрашний рейс.

Этот рейс был самым прекрасным рейсом «Ласточки». И все-то нам удавалось в это утро, и, как на заказ, в одну из морд вместе с салакой попало три порядочных судака, а ерши и окуни у нас были в садке; значит, можно было по возвращении сварить тройную рыбацкую уху, мне очень уж хотелось угостить наших гостей по-настоящему.

Когда мы шли обратным рейсом, дядя Виль выжимал из старого мотора «Ласточки» почти крейсерскую скорость, а я то и дело подбрасывал в воздух сонную салаку, чтобы привлечь побольше крикливого чаечного народа для съемок.

И откуда столько их налетело? Наверное, со всей Балтики они слетались к нашему катеру, и белый вихрь и свист рассекающих воздух крыльев, и дикий крик жадных глоток сопровождали нас до самого берега.

Они, как бестии, вырывали салаку прямо из рук девочки, и она смеялась и кричала от радости, а ее папа-фотограф щелкал из всех своих четырех аппаратов и прямо ахал от удивления.

Так мы и подошли к причалу, окруженные гвалтом и бьющим фейерверком хлопающих и скользящих на утреннем солнце крыльев.

И уха мне удалась на славу, я это говорю не хвастая, потому что дядя Виль, при его-то воробьином животе, два раза требовал добавки, и девочка вместе со своим папой-фотографом тоже ела в свое удовольствие, а море играло, звенело золотыми кольцами, и ажурная сеть светотени скользила по ослепительно белому песку — и над нами и вокруг нас пел и сверкал белым оперением мир радости и удивления.

Вокруг нас был праздник, и все лучи его восхищения сходились на девочке, на ее глазах, вместивших всю сушу, все море и все небо.

Потом мы сошли на берег, и тут случилась эта самая история с черным береговым стрижем.

Как он умудрился попасть на этот чаечный базар, я и представить себе не могу! Обыкновенно они летают выше и с такой скоростью снуют, что их никакая чайка не догонит, а тут то ли он сплоховал, то ли наскочил на чайку и потерял скорость и чайки ринулись за ним, и он каким-то беспомощным винтом из последних сил

вывернулся из этой бучи и прилип к голубенькой кофточке нашей девочки. Она сразу взяла его в ладони, и он не сопротивлялся, считая ее ладони единственной своей защитой в этом столпотворении.

Она стояла посреди чаечного визга и винтового кружения воздуха, рассекаемого крыльями, стояла, прижимая черного стрижа к груди и чувствуя его живое, дикое, стремительное сердцебиение. Она подносила его на уровень рта и, не обращая внимания на крики и толчею чаек, рассматривала его, как самую удивительную диковинку.

Она всматривалась в острые точки черных глаз, в косую линию плавно очерченного широкого клюва, в пульсирующий под клювом зобик.

Стриж не шевелился, стриж смотрел на нее, и от него пахло воздухом, и ветром, и теплом жизни.

В это время я увидел в ней ЧЕЛОВЕКА, самое главное его свойство идти на помощь, умение спасать, умение жертвовать собой ради другой жизни, самое высокое умение человека, ради которого можно все на свете вынести, зная, что человек, обладающий этим свойством, не погибнет сам в своем великом множестве и не даст погибнуть этому прекрасному бесконечному миру.

А ее папа-фотограф все щелкал и щелкал своим аппаратом. Все это столпотворение он принимал за праздник, и, видимо, душа его ликовала, как птица в полете.

Потом мы уселись в кружок на белый теплый песок, а чайки вдруг куда-то сразу скрылись, как будто бы их совсем и не было, и стало тихо-тихо, и в этой живой знойной тишине приморского полдня только и слышно было, как спокойно дышит море, накатывая на песок медленную волну, и как эта волна, шипя, входит в песок, оставляя лопающиеся пузырьки.

Мы сидели и молчали, слушая единство моря, воздуха и песка.

А стриж, осмелев, пошевелился в ладонях девочки, и она разжала их, дав ему возможность уцепиться короткими лапками за кофточку. Потом я увидел, как он стал неуклюже перебираться к ее плечу, поддерживая равновесие взмахами острых длинных крыльев. Потом он обосновался на ее плече и оглянулся, покрутив черной головкой.

Удивительные птицы эти черные береговые стрижи: им ни за что не подняться с плоскости, потому что у

них очень длинные крылья, а ножки очень короткие, им не подскочить, чтобы взмахнуть крыльями и опереться ими о воздух, им обязательно, для того чтобы полететь, надо упасть на воздух.

Вот наш стриж и забрался на девочкино плечо, и она не мешала ему, и он не боялся ее, как будто бы они давным-давно знали друг друга.

Освоившись на плече, он, пискнув, ринулся вниз и черной молнией туда-сюда, с боку на бок замелькал над кромкой прибоя, касаясь крыльями пены, и пропал из глаз, потом вернулся, сделал крутой вираж и пронесся над нашими головами.

Девочка посмотрела ему вслед и совсем по-взрослому сказала:

— Гуляй, милый...

Она сказала это, как женщина, уже посмотревшая в свое море печали, и мы удивились этой интонации, ноткам опыта и сожаления.

— Гуляй до осени,— как бы подтверждая мысль девочки, произнес полусшепотом дядя Виль.

— А почему только до осени? — спросил папа-фотограф.

— Да гибнет их при перелете много,— сказал дядя Виль и тут же, не спрашивая нашего согласия, будем мы его слушать или нет, стал рассказывать о том, как он до войны служил матросом на грузовом судне, ходившем на линии Гамбург — Бомбей, и как однажды в осеннем Средиземном море на их судно обрушилась туча перелетных стрижей, они сыпались на палубу, как крупа из мешка. Они облепили мачты, и антенны, не выдержав их тяжести, оборвались. А они продолжали лететь и сыпаться, и наутро все палубы были завалены мертвыми и полуживыми птицами.

Судно превратилось в плавучее кладбище птиц, и команда целый день сметала их в море, и драила палубы, и мыла брезенты.

Тень тревоги затуманила солнце набежавшими тучами, и где-то в самой глубине моря начал ворочаться шторм, и на горизонте в свинцовой ясности появились белые гребни и повеяло свежестью.

Папа-фотограф взял свою девочку за руку, и они пошли в поселок. Дядя Виль пошел проверить наши рыбацкие снасти, развешенные на просушку, а я остался здесь на берегу со своим бурным морем.

Я тоже, как и дядя Виль, обладал терпением и чувством подходящего времени. И я смотрел в свое море.

Я видел голубой фирновый лед, и белый чистейший снег, и крупные звезды над двумя холмами Эльбруса.

Я увидел ее.

Я тридцать с лишним лет вижу ее там, на Приюте одиннадцати, где мы встретились в альпинистском лагере.

Мы стояли там у кромки ледника и альпийского луга. Была ночь, звезды, и мы, и этот поток, рождающийся из капель на наших глазах. И мы пили из него вместе. Наклонялись, зачерпывали воду ладонями и пили. Потом она пила из моих ладоней, а я погружал свое лицо в ее ладони.

И души наши парили где-то между снежными шапками Эльбруса и звездами.

Потом мы спустились ниже и сели на камень у поворота уже набравшего силу потока и стали смотреть на эту чистейшую воду, бурлящую между камней.

Тут я и сказал ей свое единственное слово.

И она сказала мне свое единственное слово.

И серебряная форель в этом прозрачном звездном свете на виду всей Вселенной выскакивала из воды и на какой-то миг замирала в воздухе.

Потом мы всей группой поднялись на вершину. А на спуске она подвернула ногу, и я нес ее на руках до первого аула, и вот до сих пор чувствую ее легкое тело каждой мышцей, и стоит мне сейчас повернуть голову чуть влево — я начинаю ощущать легкое прикосновение ее волос к моей щеке.

И я должен был поехать за ней и привезти ее в гарнизон, — у меня уже и пропуск, и литера на нее были выписаны.

И до сих пор я еду за ней.

И она ждет меня, я это знаю, но я к ней никогда не вернусь, потому что война на всем этом поставила крест.

Наша застава погибла полностью. Мы отбивались пять суток, окруженные со всех сторон. Я очнулся в лагере. Меня выходили друзья. Потом я бежал, и неудачно. Я бежал пять раз из пяти лагерей, и пять раз меня возвращали обратно, пока эта чертова фермершна Хильда Зельцер не выбрала меня из таких же, как я, доходяг, предназначенных для печи, себе в работники. Я отъелся и притворился покорным, чтобы опять бежать. Мне нуж-



ны были силы, и мысль моя работала только в одном направлении, а у фермерши в другом. Она была плотная баба, и племенной бык, когда она выводила его на случку с коровами, чуя ее силу, шел за ней как шелковый.

Я спал на скотном. Она пригласила меня к себе, я не пошел. Ночью она явилась и подвалилась ко мне. Я съездил ей по морде по всем правилам.

Тогда она заорала на всю Германию, что ее насилуют.

Вот они и связали меня, и били, и она пуще всех била. И стал я с виду-то вроде бы и мужчина, а на самом деле ни то ни се.

Потом меня освободили, и я дошел до Берлина и встретил там вместе со всеми День Победы, а когда демобилизовался, приехал сюда.

Вот и живем мы здесь вместе с дядей Вилем.

Мы знаем, что злостью в этом мире ничего, кроме зла, сделать нельзя.

Мы и ловим салаку, а иногда смотрим каждый в свое море, потому что человек не может жить без прошлого, его не отрубишь.

Бухта у нас надежная, и «Ласточка» пришвартована на совесть, но я все-таки проверяю лишний раз канаты, надеваю брезентовый плащ и иду в поселок.

На Балтике трудно угадать погоду. Шторм так и не разошелся. И утро следующего дня было спокойным и солнечным. И мы, вернувшись из рейса, сдали свой улов и, как всегда, прибрали «Ласточку» и уселись за свой обед. И к обеду пришли наши гости.

И девочка, как мне показалось, была печальной и малоразговорчивой.

А когда после обеда мы вдвоем пошли с ней по берегу и увидели в тихой заводи великое множество рыбьей молоди (она там прямо-таки кишмя кишела), меня как осенило, и я понял причину ее невеселости, сказал ей о том, что стрижи вовсе не погибают в море.

— И тогда не погибли? — спросила она. — Но ведь дядя Виль сам их сметал с корабля в море.

— Ну и что же, — ответил я. — Дядя Виль не знает о том, что море этих стрижей превращает вот в таких же маленьких рыбок. Эти рыбки из моря уходят в реки и превращаются в самых красивых и в самых быстрых рыб с золотыми крапинками по бокам. Этих рыб назы-

вают форелями. И они плывут все дальше по рекам против течения, перескакивая через камни и пороги. Они забираются далеко в горы, к самому тому месту, где эти реки начинаются, а когда всходит луна, затевают игру в холодной ледяной воде, они танцуют в лунном свете, выскакивая из воды, и плавники у них начинают отрастать и превращаться в крылья, и сами они снова становятся стрижами.

— Такими, как мой,— говорит девочка, и глаза ее начинают блестеть добрым светом.

— Такими,— говорю я и сам начинаю в это верить.

Но люди на земле, наверное, только тем и заняты, что кто-то к кому-то приезжает и кто-то от кого-то уезжает.

И они уехали, наши гости, в свой город за Полярным кругом, где нет своих птиц.

Папа-фотограф прислал нам фотографии.

Портрет его дочки мы застеклили в рамку и повесили в рулевой рубке.

И она всегда ходит с нами в море.

Вот и сейчас она стоит передо мной, закинув голову и сердито сведя брови, смотрит в небо и что-то кричит чайкам, прижимая черного берегового стрижа к груди.

А перед ней море.

Маленькая девочка и большое море.

Моря на фотографии не видно. Но я-то знаю, что оно перед ней, потому что эта фотография сделана при нас.

## МИР ВХОДЯЩЕМУ

Я поднимаю с пола из-под украшенной елки случайно отлетевшую зеленую веточку с прилипшей ниткой серебряной канители и, держа ее в руке, подхожу к окну, вглядываюсь в морозное свечение огней притихшего в ожидании праздника города, машу этой веточкой удивительному миру жизни и говорю: «С Новым годом, Земля, с Новым годом, люди Земли, счастья вам и мира...»

Я стою у окна в мир, держа в руке зеленую еловую веточку, и дышу этой, как мне кажется, хрустящей, свежей нетронутостью только что выпавшего снега, еще не успевшего потерять своей пуховой рыхлости, своей нежнейшей воздушности, на мгновение застывшего движения. Какое это великое счастье — вот так стоять у окна и слушать белую музыку белого снега, музыку родства с этим миром, музыку причастности ко всем радостям и печалям его, надеждам и просчетам, и понимать, что ненависть бесплодна, что она есть тупик, затухание, пустыня.

Я стою у окна в мир с зеленой еловой веточкой в руке, причастный к белому сонму снежинок, вот этих пуховых шапок на ветках старой липы, на подоконниках, карнизах и крышах улицы, погруженной в зимнюю зачарованность. И вихревое роение моих мыслей каждым своим промельком, каждым своим поворотом как бы срифмовано перекрестными рифмами с рассеянным затуханием отсветов звезд и огней в этой живой снежной благодати.

Гармония мира живет во мне, и я живу в гармонии мира. В этом мое призвание, моя судьба. Во мне живет неутолимая жажда совершенства и познания. Но ведь познание — самый тяжелый груз, говорю я сам себе словами вековой мудрости. И она, эта мудрость, как запах тысячелетнего вина, превратившегося в каменную

пленку на дне глиняной амфоры, уцелевшей под развалинами Акрополя, пьянит мою душу связью времен и пространств и заставляет меня поднять голову и прикоснуться разумом моим к звездным полям Вселенной, и заглянуть туда, внутрь упавшей на липовую ветку снежинки, поющей каждой своей гранью о своей прелести, как веночек сонетов.

...Возлюбленное братство:  
Океан,  
Земля и Воздух! Матери одной  
Мы дети.

И я не знаю, то ли Перси Биши Шелли говорит эти слова моими губами, то ли я говорю их устами Шелли, потому что между поэтами нет времени, они дети одной матери, потому что они умеют боль времен превращать в песню.

Ведь чудо Федерико Гарсиа Лорки не в том, что он написал «Балладу черной жандармерии», и не в том, что эти самые черные жандармы цыганской ночью, при свете автомобильных фар, в колючих зарослях татарника, в упор всаживая пулю за пулей в уже пустое тело Лорки, закончили свое злодейское дело, а чудо в том, что эти же черные жандармы, предав его тело земле, зашли в трактир и, выпив лимонаду, запели вполголоса песню, не зная о том, что ее сочинил тот самый человек, которого они только что расстреляли. И от этой песни на их рожках появился некий свет осмысленности.

Каин не меняется в своей сути. Меняются только оружие и масштабность действий Каина.

...Каин имел свои отличительные приметы. Темную челку волос, закрывающую низкий лоб над мутными бегающими глазами, щеточку фатоватых усов под острым носом и на рукаве паукообразный знак свастики. Этого Каина звали Гитлер. Он хотел меня стереть с лица земли, и я знал об этом и готовился к этому.

Я вспомнил ночь в канун 1941 года. Это было на полуострове Гангут в поселке Лапвик. Разводящий полкового караула Батурин поставил меня часовым у артиллерийского склада, и я стоял, и тусклый свет луны пробивался из рваных туч неожиданно и зловеще, и тень всех тревог наступающей катастрофы крутилась, как адский хоровод, вокруг ребристых граней примкнутого штыка моей трехлинейной винтовки. Я стоял, не

смыкая глаз, и снег скрипел под моими валенками, и морозный ветер забирался под полы моего полушубка. И сегодня я вместе со всеми часовыми, охраняющими жизнь. И ветер времени и тревоги говорит мне в уши голосом Фучика: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»

Каины любят ночь и тень. И об этом надо помнить. И память должна быть колючей, как вон тот высохший до белизны татарник, стоящий на моем столе в пустой чернильнице. Его привез мне мой друг из Испании. Он был там года два назад, под Гранадой, на том самом месте, где (предположительно) черные жандармы ночью расстреляли и закопали в землю тайно от всех глаз и звезд тело Федерико Гарсиа Лорки.

Чем стремительнее скорость времени, тем меньше по размерам наша прародительница Земля, тем выше глобальная ответственность человека на этой Земле.

Я побывал во многих странах и убедился сам в том, что горе везде пахнет одинаково, что жир заносчив, туп и бездарен, что плохих народов не бывает. Я вспоминаю январь 1944 года, время окончательного разгрома фашистов под Ленинградом. Я вижу Пулковские высоты и Воронью гору, обгорелые развалины Петергофа и развороченные траками дороги на запад, к Кингисеппу. Вот тогда, где-то под Ропшей, в только что занятой горячей деревне, около завалинки полуразвороченного взрывной волной домишка в два слепых окна, я увидел на снегу девочку лет трех, босую, в белом с синим горошком платице, с лицом, залитым запекшейся кровью от выстрела в упор. Я так до сих пор и не пойму, *зачем* ее-то надо было трогать, в чем она-то провинилась даже перед Каином! Я стоял перед ней, как перед оправданием моей ненависти, а какая-то женщина, закутанная в тряпье, наклонилась над девочкой, подняла ее залитое кровью, окоченевшее тельце, взглянула на меня глазами безысходности и сказала в серое небо оглохшего дня: «Чужого горя не бывает». И пошла по расхристанному снегу со своей ношей... И она с тех пор никогда не пропадает в моем окне в мир, я и сейчас ее вижу почему-то идущей через Марсово поле к трепещущему на студеном ветру завитку Вечного огня памяти...

Я стою у окна в мир с зеленой еловой веточкой в руке и смотрю на эту женщину с мертвой девочкой на руках, убитой выстрелом в упор Каином того 1944 года.

Потом женщина останавливается и, теряя очертания, исчезает в сумеречном свете новогодней ночи. И вслед за ее исчезновением возникает музыка, самая прекрасная музыка колыбельной песни. Да это же мама моя, качая колыбель моей младшей сестренки Фаинки, поет вполголоса: «Все в мире перемелется,— останется любовь». И душа моя наполняется верой и тишиной. А зеленая веточка с новогодней елки в моей руке пахнет милым запахом оттаявшей смолы, запахом тайнства соков самой жизни.

1976

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ<sup>1</sup>

- А. Блоку — 1, 192  
 «А знаешь, ты была права...» — 1, 179  
 «А конь был в самом деле золотой...» — 2, 361  
 А кораблик плывет. *Поле притяжения* — 3, 506  
 «А ночь темна, сугробы сини...» — 1, 442  
 «А нынче — голая зима...» — 2, 258  
 «А тот блиндаж, где я сложил...» — 2, 23  
 «А ты прости сейчас меня, тоску и зависть извиня...» *Р. Балясная* — 3, 151  
 А что же завтра? *Э. Сёдергран* — 3, 196  
 «А я тебя вселенной не отдам...» — 1, 453  
 Август — 1, 70  
 Агроном — 1, 237  
 «Адмиралтейство. Шелест сквера...» — 1, 149  
 Акварель — 2, 317  
 Актриса. *Цикл* — 1, 463  
 Александр Кострубо — 1, 47  
 Александр Невский — 1, 52  
 Алешовская зима. *М. Флориан* — 3, 186  
 Альгарробо в Атакаме — 2, 78  
 Анамнез. *Д. Жотев* — 3, 105  
 «Андрей Платонов был Платоном...» — 2, 375  
 Ани. *А. Исаакян* — 3, 19  
 Аплодисментам, переходящим в овацию — 2, 396  
 Апрель — 2, 239  
 Артист — 2, 234  
 Астроном Зверев играет в обсерватории Сантьяго Скрябина... — 2, 73  
 «Ах, женщина! Мне тоже опыт дан...» — 2, 352  
 «Ах, как рифмует лето...» — 2, 281  
 «Ах, Лота! Каторжная Лота!...» — 2, 69  
 «Ах, молодость! Ты, как река Араз...» *А. Сагиан* — 3, 34  
 «Ах, ущелья мои — колыбель...» *А. Сагиан* — 3, 51  
 «Ах этот взгляд! Ах этот праздник...» — 2, 261
- Б. Б. Пиотровскому — 2, 277  
 «Базар гудел. Базар потел...» — 2, 68  
 Баллада, написанная с опозданием, в знак благодарности, которую я не мог сказать вовремя — 2, 307  
 Балтика воюет — 1, 44  
 «Бежит вода...» *А. Исаакян* — 3, 17  
 «Бежит река...» — 1, 304

<sup>1</sup> Первая цифра в указателе означает том, вторая — страницу.

- «Без опознавательных знаков...» — 1, 466  
 Без рамки — 4, 242  
 «Безумен мир или спокоен...» — 2, 400  
 «Безумие сегодня правит миром...» — 2, 401  
 Берегите Пушкина сейчас. *Поле притяжения* — 3, 318  
 Березка выросла в Ростове — 1, 347  
 «Беспутный ветер волочиться рад...» А. Сагян — 3, 43  
 Бессмертие — 2, 376  
 Бессмертие «Песни о Гайавате». *Поле притяжения* — 3, 280  
 «Бесстрастен древний свет с Востока...» — 2, 245  
 Биография стихов. *Поле притяжения* — 3, 294  
 Благополучное письмо — 2, 97  
 Бледное озеро осенью. Э. Сёдергран — 3, 192  
 Блуждающие облака. Э. Сёдергран — 3, 189  
 «Бойся глаз чернее ночи...» А. Исаакян — 3, 11  
 Болотный огонь — 1, 346  
 Болью опыта и надежд. *Поле притяжения* — 3, 263  
 «Бомбежка началась. И, как назло...» — 1, 127  
 «Бумеранги Равеля срывались со сцены...» — 2, 258  
 Бывает — 2, 393  
 «Бывает так, что вдруг душа...» — 1, 271

- В белом чистом поле. *Поле притяжения* — 3, 238  
 «В беседе с друзьями недолгой...» — 1, 296  
 «В благословенный день я — чаша — создана...» Н. Барагашвили — 3, 130  
 В больницу Константину Ивановичу Коничеву — 2, 141  
 В венок общей благодарности. *Поле притяжения* — 3, 429  
 «В глазах темно...» — 2, 288  
 «В густом ольшанике у плеса...» — 1, 145  
 В далеком городе. М. Карим — 3, 100  
 В День Победы — 2, 421  
 В дороге — 2, 146  
 «В душе раздумьем остуди...» — 2, 395  
 В изголовье друга — 2, 284  
 «В изголовье подушка не смята...» — 1, 438  
 «В июле по обочинам...» — 2, 355  
 «В какой закономерности...» — 2, 340  
 «В какой-то миг мне стала ясной...» — 1, 147  
 В краю моей любимой. М. Карим — 3, 101  
 В лесах дремучих. Э. Сёдергран — 3, 197  
 В лесу — 2, 146  
 «В лугах снегов седое лихо...» — 2, 213  
 «В мельканье жизни разной...» — 2, 327  
 В Михайловском — 2, 294  
 «В моей беспокойной и трудной судьбе...» — 1, 223  
 «В моей душе живут два крика...» — 1, 369  
 «В мой век космических полетов...» А. Сагян — 3, 40  
 В начале марта — 2, 242  
 «В неведенье, в невиденье...» — 1, 381  
 «В ночи беседа со мной...» — 2, 227  
 В осенних полях — 2, 252  
 «В парадной форме медный воин...» — 1, 293  
 «В песках времен иссякает наша речь...» — 2, 350



- В последний раз — 2, 96  
 «В прекрасной ясности и в смуте...» — 2, 377  
 «В природе опять перемена...» — 1, 424  
 «В пустой заброшенной избе...» — 2, 355  
 В Равенне. *А. Исаакян* — 3, 20  
 «В росе деревья белой ночью седы...» — 1, 364  
 «В снегу оттаявшие лыжни...» — 1, 31  
 «В сырой осоке светят незабудки...» — 1, 316  
 В Тихом океане — 2, 251  
 В тишине — 2, 234  
 «В тот вечер был закат бескровен...» — 1, 295  
 «В траве полянки придорожной...» — 1, 377  
 В часы раздумий на корме — 1, 339  
 Вальпараисо ночью... — 2, 72  
 Вальс Сибелиуса в Ленинграде. *М. Бажан* — 3, 164  
 Валяясь в траве — 2, 170  
 Вдова — 2, 174  
 Вдогонку вчерашнему дню — 2, 379  
 Вдогонку последней кукушке — 2, 209  
 Вдогонку уплывающей по Неве льдине — 2, 90  
 «Великая могучая река...» — 2, 352  
 «Великих истин в мире есть немного...» — 2, 404  
 Великолешие и щедрость. *Поле притяжения* — 3, 459  
 «Верить хочу...» — 2, 395  
 «Вернуть утраченное ярко...» *В. Терьян* — 3, 56  
 Вершина Николоза Бараташвили. *Поле притяжения* — 3, 426  
 «Вершины гор еще покорны снегу...» *А. Сагиян* — 3, 32  
 «Верь полной верою без меры...» — 2, 183  
 Весна — 1, 128  
 «Весна-красна зеленой ранью...» *А. Исаакян* — 3, 16  
 «Весна на бурые откосы...» — 1, 470  
 Весна не за горами. *Цикл* — 2, 161  
 «Весь лагерь спит. Песок прохладой дышит...» — 1, 28  
 «Весь мир туманный и неясный...» — 2, 342  
 Ветер времени и поэт. *Поле притяжения* — 3, 332  
 Ветка сирени — 1, 351  
 Ветреная Геба. *Поле притяжения* — 3, 327  
 Ветреное утро. *Цикл* — 2, 241  
 Вечер. *Э. Сёдергран* — 3, 192  
 Взгляд на запад — 1, 43  
 Взгляд с моста на оба берега — 4, 303  
 Вдох старого болельщика — 2, 292  
 «Вид из окна неприхотливый...» — 2, 340  
 Вид с берега — 2, 318  
 «Видишь, черный орел, гордый горный орел...» *А. Исаакян* — 3, 14  
 «Виднее в чаше жизни дно...» — 2, 347  
 Вместо завещания — 2, 420  
 Вместо песни. *Поле притяжения* — 3, 211  
 Во время ночного шторма на Цимлянском море — 1, 264  
 «Во все концы летят мои пути...» — 1, 437  
 «Во всей красе распахнутого лета...» — 1, 169  
 «Во сне с ума сошел ребенок...» — 2, 176  
 Возврата нет — 2, 319  
 Возвращение. *М. Карим* — 3, 98

- Возвращение домой. Э. Сёдергран — 3, 198  
 Возвращение со свидания — 2, 362  
 «Возникают и гибнут вместе...» — 2, 348  
 Волга. Поэма — 1, 65  
 Волна. А. Сагиян — 3, 44  
 «Волной на речке смыло сходни...» — 1, 383  
 «Вологда зеленая...» — 1, 368  
 «Волчица, что ли, оценилась?..» А. Сагиян — 3, 52  
 Вольные птицы Хлебникова. Поле притяжения — 3, 354  
 Вопрос самому себе — 2, 140  
 18 января 1943 года — 2, 380  
 Восемь строк на могилу Георгия Леонидзе — 2, 98  
 Воспоминание — 2, 248  
 Воспоминание в метель. Цикл — 1, 440  
 Воспоминание о добром пире — 2, 105  
 Воспоминание о параде — 2, 182  
 Воспоминание о поездке в Воркуту — 2, 418  
 Воспоминание о прощании с космонавтами на Красной площади  
 3 июля 1971 года — 2, 193  
 Воспоминание о Стратфорде — 2, 203  
 Вот Кинешма, здесь родина моя — 1, 260  
 Впервые в Америке. Цикл — 2, 396  
 «Впереди бездорожье. Быстрее, Мерани!..» Н. Бараташвили —  
 3, 125  
 Время и поэт. Поэт и время. Поле притяжения — 3, 368  
 «Все было взято с бою...» — 2, 285  
 «Все было — до...» — 2, 211  
 «Все отошло и отзвучало...» — 2, 281  
 «Все ощутимее потери...» — 2, 337  
 «Все поглощающие воды...» — 2, 344  
 «Все прочное висит на волоске...» — 2, 354  
 «Все с этим городом навек...» — 1, 324  
 «Все словно должное приемля...» — 2, 345  
 «Всё — суета. Всё — проходящий сон...» А. Исаакян — 3, 23  
 «Все, что народ сберег в седых веках...» Е. Чаренц — 3, 68  
 «Все, что сказал я о тебе художого...» — 1, 33  
 Все шире круг... — 2, 298  
 «Все Я да Я... А что такое Я?..» — 2, 208  
 «Всегда тревожно и несмело...» М. Карим — 3, 101  
 «Всегда у жизни на пиру...» — 2, 244  
 «Всей беспредельной тяжестью пространства...» А. Исаакян —  
 3, 22  
 «Всей непривычной собранностью тела...» — 2, 283  
 «Всей силой чувств и мыслей всех...» — 1, 328  
 «Вселенная не знает языка...» А. Сагиян — 3, 39  
 «Вселенной музыка нагая...» — 2, 283  
 Вспоминая Босха — 2, 390  
 Вспоминая Виктора Конецкого в Лисабоне — 2, 316  
 Вспоминая дорогу из Веймара — 2, 291  
 Вспоминая одно окно в Гамбурге — 2, 175  
 Вспоминая океан — 2, 323  
 Вспоминая путешествие на Шипку — 2, 423  
 Вспоминая Рим — 2, 291  
 Встречая рассвет — 2, 136  
 Встречающему рассвет. Поле притяжения — 3, 507

Встречи. *М. Карим* — 3, 88  
«Всю ночь шел дождь. В сверканье белых молний...» — 1, 84  
«Вся боль и горечь мира...» — 2, 391  
«Вся жизнь моя горит в огне...» — 1, 330  
Вчера была война. *Повесть* — 1, 194  
«Вчера ломал деревья ураган...» — 2, 190  
«Вы хоть словом меня утешьте...» — 2, 275  
Выходят замуж ангелы. *М. Квливидзе* — 3, 146  
Вязовское — 2, 272  
Вячеславу Иванову (Акrostих). *В. Терьян* — 3, 57

Габриэлю Гарсиа Маркесу — 2, 318  
Газели. *П. Заднипру* — 3, 154  
Гамлет. *Э. Сёдергран* — 3, 196  
Гангутцы на Неве — 1, 81  
Где наша не пропадала. *Повесть* — 4, 5  
«Где пчелы собирают поденку...» — 1, 375  
Героям — 1, 104  
Гиацинт и пилигрим. *Н. Бараташвили* — 3, 123  
Гимн. *Н. Белоцерковец* — 3, 168  
«Глаз не подыять перед твоим лицом...» *М. Карим* — 3, 104  
Глаза Л. Белоусова — 2, 87  
«Глаза пещер с глазницами без век...» *А. Сагиян* — 3, 49  
«Гляди и удивляйся в оба...» — 2, 161  
Говорит мать. *М. Флориан* — 3, 183  
Голос времени. *Поле притяжения* — 3, 256  
«Гора в объятиях горы...» *А. Сагиян* — 3, 50  
Гораций. *С. Головановский* — 3, 170  
«Гордой молодости годы...» *А. Исаакян* — 3, 13  
Горы — 1, 255  
Горы из окна ночью — 2, 99  
«Горы не видно в туче...» *А. Сагиян* — 3, 29  
Горькие слова перед Белым домом — 2, 396  
«Горят и светят сквозь ресницы...» — 2, 344  
«Граница снежных Анд и океана...» — 2, 66  
Гриденко — 1, 38  
Гроза — 1, 13  
Гроза над Куромчем — 1, 258  
Гроза ночью — 2, 174  
«Гроза подкрадывалась и грозила...» — 2, 290  
«Гроза развернется с размаха...» — 1, 379  
«Густые тени ветер стер...» — 1, 314

«Да, ты одна, моя любовь...» *Д. Павлычко* — 3, 179  
«Да, я солдат. Завидуй мне. Дивись...» — 2, 229  
Давид Кугультинов в Норильске — 2, 305  
Давиду Кугультинову — 2, 152  
«Далеко, где солнце всходит...» *М. Карим* — 3, 94  
«Далеко где-то...» — 1, 334  
«Два окна, да кровать, да четыре степы...» — 2, 367  
«Двадцатый век. Кровавый век...» — 2, 399  
22 июня — 1, 433  
24 строки ирсии — 2, 179

- Две сказки. *Н. Белоцерковец* — 3, 166  
 12 сентября — 2, 200  
 «Движенью истина нужна...» — 2, 196  
 «Дебаркадер, да базар...» — 1, 378  
 Деборе Вааранди. *Поле притяжения* — 3, 512  
 Девочка и море — 4, 324  
 Дерево для аиста. *Цикл* — 2, 287  
 Дерево для аиста («Сама земля дивится урожаю...») — 2, 295  
 «Держала жизнь сама...» — 2, 135  
 Десять сонетов из Михайловского. *Цикл* — 2, 405  
 Детство. *А. Исаакян* — 3, 22  
 «Для тех, кто жизнь приемлет праздно...» — 1, 308  
 «Для трижды ненавистного врага...» — 1, 78  
 Добавление к указателю на перекрестке — 2, 299  
 До востребования. *Цикл* — 1, 436  
 Долг. *Поле притяжения* — 3, 487  
 Дом ночи. *М. Флориан* — 3, 184  
 Дорога гвардии. *Поэма* — 1, 151  
 «Дорога дальняя. Довесок...» — 2, 378  
 Дорога жизни. *Цикл* — 2, 85  
 Дочь леса светлая. *Э. Сёдергран* — 3, 189  
 «Дрожало небо в хрупкой позолоте...» — 1, 137  
 Другу — 2, 168  
 Дружеский разговор с порталными кранами Кильского канала — 1, 349  
 Дуб — 2, 168  
 «Душа загадке в унисон...» — 2, 232  
 «Душа моя, а все ли ты свершила?..» — 2, 208  
 «Душа — навыворот! Рубаху...» — 2, 46  
 Души высокая свобода. *Поле притяжения* — 3, 396  
 Дюны. *Цикл* — 1, 267  
 Дым. *М. Флориан* — 3, 185  
 Дым отчества. *А. Исаакян* — 3, 21  
 Дяде Григорию. *Н. Бараташвили* — 3, 111
- Екатерине, поющей под аккомпанемент фортепяно. *Н. Бараташвили* — 3, 120  
 Если... (*Из Редьярда Киплинга*) — 3, 7  
 «Есть в человеческих затях...» — 2, 398  
 «Есть высокая сердцу отрада...» — 1, 364  
 «Есть гости. Трудно в них поверить...» *Е. Чаренц* — 3, 64  
 «Есть дней моих немало за горою...» *Д. Павлычко* — 3, 178  
 «Есть женщина любимая. Она...» — 1, 99  
 «Есть мир души живой и цельной...» — 1, 372  
 «Есть мудрый смысл в непостоянстве...» — 1, 171  
 «Есть под Москвою речка Нудаль...» — 1, 303  
 «Есть радость ясная в начале...» — 1, 144  
 «Есть хаос, есть порядок...» — 2, 342  
 «Еще не все потеряно...» — 1, 172  
 «Еще полночные светила...» — 2, 244  
 Еще у времени в строю — 2, 428

Жаворонок — 1, 89  
 Желание — 2, 291

- Желание. Э. Сёдергран — 3, 196  
 «Железная дорога...» — 2, 351  
 Женщине, шьющей распашонку — 2, 143  
 Жестокый хлеб нежности. Поле притяжения — 3, 206  
 Жив, солдат! — 4, 234  
 Живая вода. Поле притяжения — 3, 244  
 «Живи, себя не мучая...» — 2, 370  
 «Живому — жить! А красоте — тревожить...» — 1, 440  
 «Жизнь в самом деле дружит с нами...» — 1, 336  
 «Жизнь! За тебя готовый к бою...» А. Исаакян — 3, 10  
 «Жизнь тасует события и сроки...» — 2, 278  
 Жить удивлением. Поле притяжения — 3, 451
- «За годом год пройдет. Едва ли...» — 1, 331  
 «За горизонтом скрылся полуостров...» — 1, 42  
 За кругом круг — 2, 220  
 «За нами костры и походы...» — 2, 177  
 «За сутками новые сутки...» — 2, 385  
 Забвенья нет в ночи — 2, 411  
 «Забывать всеми холм в пустынном поле...» А. Исаакян — 3, 16  
 «Завывает по-волчьи пронзительный ветер в трубе...» — 2, 392  
 Закат на Атлантике — 2, 320  
 Закат у мыса Гангут — 1, 339  
 Закладка в «Сатирикон» Петрония — 2, 250  
 Закливание с полюса — 2, 314  
 Заметки памяти. Цикл — 2, 373  
 Западный берег. Цикл — 2, 316  
 Зарубки — 4, 272  
 Зачарованная глубина. Поле притяжения — 3, 410  
 «Зачем лукавить, — ты красива...» — 1, 244  
 «Зачем негодую и спорю...» — 2, 264  
 «Зачем опять ломать нарандаши...» — 2, 330  
 «Зачем притворствоваться? Не буду...» — 1, 464  
 «Зачем ты на меня совои...» — 1, 156  
 Звезда моей души — 1, 332  
 Звезды на земле. М. Карим — 3, 91  
 Звонко, молодо, горячо. Поле притяжения — 3, 497  
 «Звук не войдет в струну обратно...» — 1, 376  
 «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...» — 1, 58  
 «Здесь жизнь проста и непреложна...» — 1, 307  
 «Здесь мы вступили в бой...» — 1, 24  
 «Здесь сосны, ветер и зима...» — 1, 326  
 «Здесь только б жить и грезить Грину...» — 1, 35  
 «Здравствуй, милая, здравствуй! Еще примириться не хочет...» — 2, 346  
 Землянка — 1, 17  
 Зерна. Поэма — 2, 108  
 «Зима — для юности забава...» — 1, 321  
 «Зима не в мае умирает...» — 1, 323  
 Зимний этюд. С. Головановский — 3, 170  
 «Злой дух, наедине со мной открыто говори...» Н. Бараташвили — 3, 127  
 «Змятся локоны твои...» Н. Бараташвили — 3, 124  
 «Знак доверья вашего». Поле притяжения — 3, 255

Знакомому китобюю— 2, 145

«Знать, глубина заоблачной вселенной...»— 2, 4.

«И вот ко мне из неоглядной дали...» *М. Келивидзе* — 3, 1...

«И вот приходит к человеку слава...»— 1, 336

«И вот я изгнан на года...» *А. Исаакян* — 3, 16

И все увидят наяву — 2, 429

«И даже в грусти быть веселой...»— 1, 463

«И друг обращается к другу...»— 1, 406

«И душе сомневаться не ново...»— 2, 356

«...И здесь начало всех трагедий...»— 1, 180

И, значит, жизни нет конца! — 1, 359

«И красота твоя порочна...»— 2, 265

«И мне признаться впору...»— 2, 357

«И на стихи есть тоже мода...»— 1, 337

И нет безымянных солдат — 2, 231

И нет конца у превращений— 2, 412

«И сразу приумолкли птицы...»— 1, 126

«И так и сяк верстая фразу...»— 2, 267

И так бывает — 1, 358

И талантом и опытом. *Поле притяжения* — 3, 504

И тем, и этим — 2, 415

«И ты стоишь, как нищий...»— 2, 349

«И у меня есть тоже дом...»— 1, 408

И хлебом испытаний... *Поле притяжения* — 3, 298

*Ива. С. Капутикян* — 3, 24

Иван-чай — 1, 335

Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову — 2, 215

«Идет гроза, и дождь прядет волокна...» *Р. Балясная* — 3, 153

Идущему в горы — 2, 224

Из записной книжки. *М. Флориан* — 3, 181

«Из недр глубинных брызги...»— 2, 345

Из окна — 2, 241

Из окна осенью — 2, 203

Из письма И. А. Халифману, автору книги «Пчелы»— 2, 382

«Из тумана дождик капал...»— 1, 396

Из-под снега. *Цикл* — 2, 340

Изету Сарайличу — 2, 44

«Изношен день. Он дожид до конца...» *А. Сагян* — 3, 30

«Икары гибнут на лету...»— 2, 132

«Иль нам до братства не добраться...»— 2, 396

Имя должно быть известно — 4, 310

«Иные пути и начала...»— 2, 343

Иронические стихи. *С. Капутикян* — 3, 25

Иуда — 2, 414

«Ищи всему свое начало...»— 2, 240

«Июль. Исходят липы цветом...»— 2, 324

К №... *М. Келивидзе* — 3, 147

Кабо-да-Рока — 2, 316

Канн — 2, 336

«Как бы на волнах музыки журчащей...»— 2, 288

- «Как бы разбросанный потопом...»— 2, 263  
 «Как быстро кончилось вино...»— 2, 261  
 «Как длинны морозные ночи!..»— 1, 422  
 «Как много дел наделала...»— 1, 142  
 «Как не любить мне, Родина моя...» *В. Терьян* — 3, 58  
 «Как пламя каганца...»— 1, 443  
 «Как самое невиданное чудо...»— 1, 452  
 «Как свет зари, которой нет предела...»— 1, 451  
 «Как совершенство неба и земли...»— 2, 268  
 Как туча. *А. Сагиян* — 3, 37  
 «Как черновик в карандаше...»— 2, 370  
 «Как чист Эльбрус в ночи январской...»— 2, 256  
 «Какая нива встанет на местах...»— 1, 167  
 «Какой сегодня ясный день...»— 1, 381  
 Камень — 1, 59  
 Камыш — 2, 149  
 Карельский перешеек — 1, 251  
 «Капитаны Киева не свадебные свечи...»— 1, 436  
 Кетеван. *Н. Бараташвили* — 3, 108  
 «Клубок страстей...»— 2, 282  
 Ключ. *Цикл* — 2, 322  
 Книга земли — 1, 338  
 Книга о друзьях истинного друга. *Поле притяжения* — 3, 278  
 Княжне Екатерине Чавчавадзе. *Н. Бараташвили* — 3, 116  
 «Коварней в жизни нет напасти...»— 2, 402  
 «Когда душа разобщена...»— 1, 377  
 Когда лежишь и смотришь в небо — 1, 358  
 «Когда под вечер замыкают звенья...» *М. Квелидзе* — 3, 146  
 Когда поет певец бродячий — 1, 357  
 «Когда тебе целятся в спину...» *А. Сагиян* — 3, 51  
 «Когда я говорю: «Армения»...» *А. Сагиян* — 3, 28  
 «Когда я счастлив встречу с тобой...» *Н. Бараташвили* — 3, 129  
 Кольцо — 2, 382  
 Комитет справедливости — 4, 256  
 Конец лета. *М. Флориан* — 3, 182  
 «Конечно, миром правят страсти...»— 1, 404  
 «Конечно, не забавы ради...»— 1, 243  
 «Конечно, это — непорядок...»— 1, 297  
 Костер в снегу — 2, 297  
 Костер на перекрестке. *Поэма* — 1, 106  
 Красивое утро — 2, 131  
 «Крепка в окне решетки...» *А. Исаакян* — 3, 10  
 Крик вдогонку — 2, 200  
 «Кричат гудки и стонут...»— 2, 374  
 «Кричат о верности измена...»— 2, 383  
 Кронштадт — 1, 54  
 «Крутые обрывы...»— 2, 67  
 Куда ведет тебя твоя свобода?— 2, 425  
 «Куда мне от памяти деться?...»— 1, 467  
 «Куда ты? Стой! Еще мне весны снятся...»— 1, 441  
 Кукла — 1, 133  
 «Кукушка»— 1, 26  
 «Кукушка не грустит о лете...»— 1, 315  
 «Кустарник. Горбатые дювы...»— 1, 269

- Ласточка через Ла-Манш — 2, 248  
 Ласточки над карнизом. *Цикл* — 1, 444  
 Ласточкам вдогонку. *Цикл* — 2, 207  
 Легкое воспоминание — 2, 394  
 Ледян — 2, 305  
 Лен цветет — 2, 286  
 Лермонтов. 1841 — 2, 33  
 «Лес заснул. И, как во сне...» — 1, 402  
 Лесное озеро. *Э. Сёдергран* — 3, 191  
 Летающий мальчик обязан летать. *Поле притяжения* — 3, 247  
 Летели лебеди... — 2, 290  
 Летим над Андами на север — 2, 76  
 Лето. *М. Квливидзе* — 3, 143  
 Лето в горах. *Э. Сёдергран* — 3, 197  
 Летят года... — 2, 214  
 «Летят с Атлантики муссоны...» — 2, 260  
 Лирика — 2, 225  
 Листопад — 1, 11  
 Листьям вдогонку — 2, 301  
 Луки Платона Воронько. *Поле притяжения* — 3, 511  
 «Луна, как лебедь, стороной...» *А. Исаакян* — 3, 12  
 «Луна. Не спится. Встану и пойду...» *А. Сагиян* — 3, 34  
 Лунная дорога. *М. Карим* — 3, 90  
 «Лучи лишились чувства. В чаше...» *А. Сагиян* — 3, 48  
 «Любимая! Бессмертные черты...» *Н. Бараташвили* — 3, 121  
 «Любимая! Изгиб твоих бровей...» *А. Исаакян* — 3, 17  
 «Любимая! Я не случайно...» *Н. Бараташвили* — 3, 118  
 «Люблю истому глаз твоих...» *Н. Бараташвили* — 3, 122  
 Любовь. *М. Флориан* — 3, 182  
 «Любовь не знала страха...» — 1, 445  
 «Любовь светла. Ни вздоха, ни укора...» — 1, 175  
 «Любовь, смятење и тоска потерь...» *С. Капутикян* — 3, 26  
 Любовью продиктовано. *Поле притяжения* — 3, 295
- Мадонна-стюардесса. *И. Драч* — 3, 176  
 Маленький реквием. *М. Флориан* — 3, 186  
 Маленькое раздумье вслух — 2, 145  
 Март. *С. Головановский* — 3, 171  
 Материнский крест — 2, 299  
 Мать — 1, 74  
 Мед — 1, 249  
 «Метет, метет, и нет конца метели...» — 1, 440  
 «Метет метель. Сугробы — словно горы...» — 1, 399  
 «Мечта жива, а жизнь упряма...» — 1, 307  
 «Милый Север...» — 1, 362  
 Минута молчания — 2, 325  
 Мины взрываются после войны — 1, 340  
 «Мир бесконечен и богат...» — 2, 344  
 Мир входящему — 4, 336  
 «Мир не забыл свои утраты...» — 1, 405  
 «Мир открывается с начала...» — 2, 250  
 «Мир от тревоги сир и сер...» — 2, 396  
 «Мираж возник в пустыне дикой...» *А. Исаакян* — 3, 13  
 «Миры из мира исчезают в мире...» *А. Сагиян* — 3, 40



Младенец. *Н. Бараташвили* — 3, 116  
 «Мне берег приснился горбатый...» — 1, 398  
 «Мне все здесь дорого и свято...» — 1, 168  
 «Мне Грузии твоей грудь распирают горы...» *И. Драч* — 3, 177  
 «Мне довелось...» — 1, 303  
 «Мне кажется порой, что расстояний нет...» *Р. Балясная* — 3, 152  
 «Мне не страшна осенняя острада...» — 1, 452  
 «Мне сердце земля вручила...» — 1, 404  
 «Мне снилось море. В нежной лазури...» *А. Исаакян* — 3, 12  
 «Мне снился сон. Во сне плыла...» *А. Исаакян* — 3, 11  
 «Мне улыбулась наирянка...» *В. Терьян* — 3, 59  
 «Мне часто кажется, что я...» *А. Сагиян* — 3, 38  
 Могила царя Ираклия. *Н. Бараташвили* — 3, 126  
 «Мое сердце на горных вершинах...» *А. Исаакян* — 3, 14  
 «Мое сердце — это небо...» *А. Исаакян* — 3, 10  
 Моей звезде. *Н. Бараташвили* — 3, 114  
 Моим друзьям. *Н. Бараташвили* — 3, 120  
 «Мой друг умирает в постели...» — 2, 337  
 Мой конь. *М. Карим* — 3, 92  
 Мой Пегас — 2, 233  
 Мой полк уходит на учење — 2, 147  
 Мой походный котелок — 1, 25  
 «Молдавия! Еще поет Земфира...» — 2, 208  
 Молодому мастеру — 2, 335  
 Молодому поэту — 2, 367  
 Молодые улетают — 4, 279  
 «Молчанье откровенью не претит...» — 2, 368  
 Монолог ремесленника. *М. Келивидзе* — 3, 145  
 «Морозная роздымь поземки...» — 1, 403  
 «Морозный свет...» — 2, 298  
 Мосты. *Цика* — 1, 338  
 «Мотив у песни чист и прост...» — 1, 342  
 Моя душа. *Э. Сёдергран* — 3, 193  
 «Моя душа в тяжелом сне...» *А. Сагиян* — 3, 32  
 «Моя звезда...» *И. Станишич* — 3, 162  
 Моя молитва. *Н. Бараташвили* — 3, 118  
 Моя песня об Ольге Калашниковой — 1, 427  
 Музыкальные палочки. *Поле притяжения* — 3, 519  
 «Мы вглядывались молча в синеву...» — 1, 77  
 «Мы все зависим друг от друга...» — 2, 330  
 «Мы нашу землю мало бережем...» — 1, 445  
 Мы слышим тебя, Пабло Неруда. *Поле притяжения* — 3, 517  
 Мы снова возвращаемся в столицу — 1, 266  
 «Мы шли на войну, товарищ...» — 1, 23

На берегу — 1, 268  
 На берегу. *Э. Сёдергран* — 3, 192  
 На берегу озера — 2, 300  
 «На берегу реки Зорзоры...» *А. Сагиян* — 3, 42  
 На бой! — 1, 79  
 На будущем мечтой сосредоточась — 2, 255  
 «На встрече судеб откровенью страстей...» *А. Сагиян* — 3, 39  
 «На всю вселенную в ночи одна звезда видна...» — 2, 171

- «На грудь мою твоя рука легла...» *Н. Белоцерковец* — 3, 167
- «На Киев дождик с тихой рани...» *Н. Белоцерковец* — 3, 168
- На краю света. *Цикл* — 2, 66
- «На луг летит благословенье снега...» *М. Бажан* — 3, 164
- На Невском «пяточке» — 2, 232
- «На облаке угас последний луч...» *А. Сагьян* — 3, 46
- «На озере синем по лаковой плоскости вод...» *Е. Чаренц* — 3, 65
- «На океан идет Сахара...» — 2, 259
- На очень дальнем берегу — 2, 262
- «На пепелище дикая трава...» — 1, 98
- На площади павших борцов — 1, 256
- На поверье — 1, 231
- На пороге старого театра — 2, 381
- «На прошлое не доверяй оглядке...» — 2, 162
- На прощание — 2, 172
- На пути под деревом. *Цикл* — 2, 168
- На пути к вершинам. *Поле притяжения* — 3, 461
- На родине. *Е. Чаренц* — 3, 65
- «На родине моей в крови...» *В. Терьян* — 3, 65
- «На самого себя обидя...» — 2, 250
- «На сирень и на флоксы смету...» — 2, 368
- На смерть Мартина Лютера Кинга — 2, 221
- «На смятую постель рассвет...» — 2, 333
- На старом рубеже. *Цикл* — 2, 227
- На старом рубеже — 2, 235
- «Наверно, этот лес, и скалы...» *А. Сагьян* — 3, 46
- Навсегда с тобою, Куба! *Поле притяжения* — 3, 520
- «Навстречу нам — от розового края...» — 1, 29
- «Над Гулливером меч...» — 2, 399
- «Над Землей каруселя...» — 2, 254
- Над книгой Некрасова — 2, 228
- Над могилой А. С. Пушкина — 2, 176
- Над морем — 2, 417
- «Над окнами...» — 1, 181
- «Над снежным нагорьем...» *И. Станишич* — 3, 160
- «Над туманной водой...» — 1, 419
- Надежда. *Э. Сёдергран* — 3, 197
- «Надежда ушла и пропала...» — 2, 402
- Надпись на атомном реакторе — 2, 296
- Надпись на книге А. А. Ахматовой — 2, 417
- Надпись на книге А. В. Сухова-Кобылина «Картины прошедшего» — 2, 361
- Надпись на книге Десанки Максимович «Требую помпования» — 2, 219
- Надпись на книге Джеймса Джонса «Только позови» — 2, 399
- Надпись на книге Кайсына Кулиева «Раненый камень» — 2, 42
- Надпись на книге переводов Николоза Бараташвили — 2, 223
- Надпись на книге Сенеки «Письма к Луцилию», подаренной Владимиру Жукову — 2, 336
- Надпись на книге «Трудны сычуаньские тропы» — 2, 390
- Надпись на книге Д. Фрэзера «Фольклор в Ветхом завесе» — 2, 425
- Надпись на музыкальной программе — 2, 293
- Надпись на программе концерта Владимира Селивохина — 2, 360
- Надпись на рукописи — 2, 285

- Надпись на рукописи без подписи — 2, 328  
 Надпись на чаше князя Бараташва. *Н. Бараташвили* — 3, 128  
 Наедине — 2, 197  
 «Нажиться хочешь?! Начинай! Спешим...» — 2, 398  
 «Нам душат души прошлого обноски...» — 2, 375  
 «Нам плакать и петь. Сумасбродить...» — 1, 148  
 Наполеон. *Н. Бараташвили* — 3, 115  
 Нас ожидает новый бой — 1, 73  
 «Начиналася юность с примерки...» — 1, 465  
 Наши песни спеты на войне — 2, 50  
 «Не будет для тебя близка...» *В. Терьян* — 3, 57  
 «Не будет ни встреч, ни обманов...» — 2, 255  
 «Не в силах помнить и забыть...» — 2, 397  
 Не вернувшемуся из тайги — 2, 366  
 «Не гладь меня по волосам...» — 2, 178  
 «Не греми подобен грому...» — 2, 403  
 «Не живешь ты, сердце, взаперти...» — 2, 82  
 «Не знаю что — судьба или подкова...» — 2, 237  
 «Не насыщая пищей чрево...» — 2, 323  
 «Не позабуду утро Праги...» — 1, 293  
 «Не потому, что женщина любила...» — 1, 176  
 «Не раз уже пытался, надоело...» — 1, 449  
 Не собирайте золото и камни. *Э. Сёдергран* — 3, 197  
 «Не спеши улетать из души моей, красное лето...» — 2, 338  
 «Не ставь изменчивость, спеша...» *Н. Бараташвили* — 3, 125  
 Не торопись — 2, 411  
 «Небо в крупных звезд рассеив...» — 1, 384  
 Небольшой девочке Еленке — 2, 144  
 Небольшой шторм и синие розы — 1, 353  
 «Невидящим глазам безразлично...» *А. Сагиян* — 3, 50  
 Незабудка. *М. Карим* — 3, 93  
 «Нелюбая отрада...» — 2, 376  
 Неотосланные стихи — 2, 366  
 Неотправленное письмо из Чили личного характера — 2, 76  
 «Непобедимой жизни праздник...» — 2, 331  
 Не смываемая дождем. *Поле притяжения* — 3, 453  
 «Новорожденный солнца свет, летящий в глубь ущелья...» *А. Сагиян* — 3, 33  
 Ночной платан — 2, 106  
 Ночной сонет в открытом море — 1, 343  
 Ночные стихи Мустаю Кариму — 2, 160  
 Ночь — 2, 357  
 Ночь в августе — 2, 234  
 Ночь в Кабахи. *Н. Бараташвили* — 3, 112  
 Ночью, вспоминая ночь — 2, 133  
 «Нет, мне тебя единожды любить...» — 1, 450  
 «Нет, палестинцу в Палестине...» — 2, 275  
 «Нет, ты не веришь в чудеса...» — 1, 400  
 «Нет, ты не вымысел фантаста...» — 2, 77  
 «Нет, ты сложней и проще...» — 1, 365  
 «Нет у меня пристрастия к покою...» — 1, 320  
 «Ни прихотью, ни силой, ни тоскою...» — 1, 332  
 Ноктюрн. *Э. Сёдергран* — 3, 190  
 «Ну что ж! В беспутности поэта...» — 2, 164  
 «Ну что ж! Дари, раздаривай...» — 2, 332

- «Ну что ж! Спеши. Лети своей дорогой...»— 1, 438  
 «Ну что я сделаю? Не надо...»— 1, 376  
 «Нынче осень, как поздняя слава...»— 1, 312
- «О, безрассудная отвага!...»— 1, 463  
 «О, для любви есть ночи и молчание...»— 1, 436  
 «О, ласточек на утренней заре...»— 1, 444  
 «О песня! Служба связи...»— 1, 421  
 «О том, что в тайной песне спето...»— 2, 331  
 «О чем загадываю в марте...»— 2, 165  
 О чем мне думалось во ржи— 2, 134  
 О чем не забывается— 2, 144  
 «О, этот грозовой разряд...»— 2, 270  
 «О, этот ганец! Этот поединок...» *К. Кулиев*— 3, 74  
 «О юность! Хорошей...»— 1, 441  
 Об осени. *Э. Сёдергран*— 3, 199  
 Обидные стихи— 1, 331  
 Обладающий силой— 2, 427  
 «Обними. И тогда...» *А. Исаакян*— 3, 18  
 Обращение к Фаусту— 2, 358  
 Объяснение в любви— 4, 286  
 Объяснение самому себе— 2, 201  
 Обыкновенная история. *Е. Чаренц*— 3, 66  
 Обыкновенное волшебство. *Поле притяжения*— 3, 414  
 Оглядываясь на жизнь— 2, 190  
 Ода буксирам— 1, 343  
 Ода Памиру. *И. Станишич*— 3, 161  
 Ода свече— 2, 328  
 Ода футболу— 2, 171  
 Ода Чегему. *К. Кулиев*— 3, 83  
 Одинокая душа. *Н. Бараташвили*— 3, 117  
 «Одних сгубило золото...»— 2, 266  
 Однополчанину Алексею Бровкину и самому себе— 2, 363  
 Однополчанину Степану Зольникову— 2, 419  
 Ожидание. *Э. Сёдергран*— 3, 190  
 Окно— 2, 333  
 Окно в горы. *Цикл*— 2, 97  
 «Окружены изменчивым пространством...»— 2, 207  
 «Октябрь. И ночью, нарастая...»— 1, 72  
 Олег Кочерыгин— 1, 20  
 «Олень зарю приносит на рогах...» *К. Кулиев*— 3, 73  
 Ольге Берггольд в день ее шестидесятилетия— 2, 191  
 «Ольха, да хмель...»— 1, 329  
 «Он был из тех, что жизнь на поводу...»— 1, 394  
 «Он с богом говорил о многом...»— 2, 374  
 Она была со мною рядом. *М. Карим*— 3, 96  
 «Они играют и поют...»— 2, 391  
 Оптимальные стихи— 2, 327  
 «Опускается ночь. Беспощадная ночь...» *В. Терьян*— 3, 59  
 «Опять метели зиму свили...»— 1, 469  
 «Опять не убраны хлеба...»— 2, 363  
 «Опять плечо горы-громады...»— 1, 301  
 «Опять пошла велепица...»— 1, 367  
 «Опять снега в полях и долах...»— 2, 373

Опять то утро вспоминая — 2, 229  
 «Опять я в неизвестность лезу...» — 1, 448  
 Орбита (*Венок сонетов*) — 1, 448  
 Орлы сидят... *И. Станисич* — 3, 159  
 «Осанка этой шеи голой...» *А. Исаакян* — 3, 18  
 «Освобожденное от пыли...» — 2, 343  
 Осенние дни. *Э. Сёдергран* — 3, 195  
 Осень. Поэма — 1, 138  
 Осень. *Э. Сёдергран* — 3, 191  
 «Осколки былой панорамы...» — 2, 190  
 Останется любовь. Поэма — 1, 455  
 «От аргонавта и до космонавта...» — 2, 157  
 От взрыва атомного тень — 2, 413  
 «От всех неудач и успехов...» — 1, 366  
 «От глухого взрыва тучи...» *А. Сагиян* — 3, 44  
 От каждого из нас и от всех вместе — 4, 317  
 «От праздников и буден...» — 2, 384  
 Откровение времени. *Поле притяжения* — 3, 484  
 Открытие праздника. *Поле притяжения* — 3, 425  
 Открытка в Киев — 2, 217  
 Открытка в Лисабон — 2, 320  
 Открытка из Порто — 2, 317  
 Отступления не знавшие — 4, 227  
 Оттепель — 2, 241  
 «Отторженность моей души — вина...» — 2, 386  
 «Офелия, вельнем той свободы...» — 2, 404  
 Охотник за песнями мужества. *Поле притяжения* — 3, 347  
 Охранные грамоты. *Поле притяжения* — 3, 285  
 Очень грустные стихи — 2, 138  
 Очень простые стихи — 2, 335  
 Очень старая песня — 2, 264  
 Очень хорошее утро — 2, 107

Памяти Александра Гитовича — 2, 159  
 Памяти Александра Трифоновича Твардовского — 2, 195  
 Памяти Алексея Лебедева («Жизнь твоя как прыжок с трамплина...») — 2, 369  
 Памяти Алексея Лебедева («Мы должны твоей заплатим славе...») — 1, 56  
 Памяти В. П. Соловьева-Седого — 2, 418  
 Памяти Ефима Копеляна — 2, 236  
 Памяти Л. Н. Мартынова — 2, 326  
 Памяти Михаила Лукоцина — 2, 280  
 Памяти Нины Альтовской — 2, 364  
 Памяти однопольчанина Александра Яшина — 2, 178  
 Памяти Сергея Наровчатова — 2, 347  
 Памяти Симона Чиковали — 2, 102  
 Памяти Федерико Гарсиа Лорки — 2, 386  
 Памятник недопетой песне. *Поле притяжения* — 3, 235  
 Певец мужества. *Поле притяжения* — 3, 246  
 «Певучей музыкой сонета...» — 2, 286  
 Пейзаж — 2, 178  
 Первый снег. *М. Бажан* — 3, 163  
 Перед Астраханью — 2, 201

- «Перед лицом пожизненного долга...» — 2, 214  
 Перед новым веком — 2, 420  
 Перед памятником партизанке Клавде Назаровой в Острове — 2, 142  
 Перед памятником Эдит Сёдергран в поселке Рошино — 2, 224  
 Перед портретом матери. *К. Кулиев* — 3, 82  
 Перед родным берегом — 1, 360  
 Перед сенокосом — 2, 247  
 Перед утром — 2, 339  
 Передний край. *Поэма* — 1, 225  
 «Перекрестка прокрустово ложе...» — 2, 81  
 Перекресток жизни. *Поле притяжения* — 3, 300  
 Песенка, которую пел человек с острова Пасхи — 2, 74  
 Песни Лебяжьей канавке — 2, 27  
 Песнь о мостах — 1, 361  
 Песнь человека — 1, 350  
 Песня в честь Евгении Николаевны Тарсановой — 2, 158  
 Песня в честь и добрую славу Берды Кербабаяева — 2, 153  
 Песня вечному оптимизму — 2, 11  
 Песня Вороньей горе. *Поэма* — 2, 13  
 Песня восхищения Давиду Сикейросу — 2, 71  
 Песня городу Адену — 2, 278  
 Песня дальней дороге. *Поэма* — 2, 52  
 Песня для себя — 2, 242  
 Песня живой глине — 2, 276  
 Песня иволге, которая меня будила в селе Михайловском — 2, 7  
 «Песня иволги спета, и сны пересмотрены все...» — 2, 385  
 Песня корням — 2, 123  
 Песня Ледовитому океану и его обитателям — 2, 308  
 Песня личная. *Е. Чаренц* — 3, 66  
 Песня материнскому языку. *К. Кулиев* — 3, 85  
 Песня моему другу Борису Лихареву, которую он не услышит — 2, 9  
 Песня моим комиссарам. *Поэма* — 2, 37  
 Песня на горе. *Э. Сёдергран* — 3, 194  
 Песня незнакомой девочке — 2, 29  
 Песня неназванному другу, изменившему мне — 2, 31  
 Песня последнему жаворонку — 2, 47  
 Песня прощания с Юханом Смуулом — 2, 216  
 Песня разбитому колесу — 2, 129  
 Песня русскому языку — 2, 238  
 Песня сверчку и его слушателям — 2, 313  
 Песня через окно. *Поле притяжения* — 3, 283  
 Петр — 1, 95  
 «Печаль. Она приходит после...» — 1, 173  
 Печаль по жаворонку — 2, 389  
 «Печальны наши песни. Горек...» *В. Терьян* — 3, 54  
 «Пещеры...» *А. Сагиян* — 3, 33  
 Письмо бронзовой русалке в Копенгаген — 1, 345  
 Письмо в Литву Эдуардасу Межелайтису. *Поле притяжения* — 3, 513  
 Письмо в Михайловское — 2, 243  
 Письмо в стихах о странном случае — 2, 198  
 Письмо второе — 1, 433

Письмо Геворку Степановичу и Диане Нестеровне Григорьян в город Ереван — 2, 276  
Письмо из «Красной стрелы» — 2, 205  
Письмо Кайсыну — 2, 221  
Письмо калине, оставленной на родном лугу в Телиженцах. *И. Драч* — 3, 174  
Письмо первое — 1, 431  
Письмо с полюса Василию Федоровичу Давиденко, бывшему командиру взвода, в котором я служил — 2, 312  
Письмо с предисловием. *Поле притяжения* — 3, 441  
Письмо Ярославу Смелякову из Михайловского после прочтения его книги «День России» — 2, 125  
Плывет по небу облако — 2, 413  
«Плыви! Тоши в глубинах моря...» — 2, 370  
«Плыл самолет в небесной сини...» — 2, 260  
«Плющ, обвивая, убивает тополь...» *И. Станишич* — 3, 160  
«По ветру платят парусом...» — 1, 32  
По долгу совести. *Поле притяжения* — 3, 259  
По дороге на родину друга. *Поле притяжения* — 3, 448  
По завету Пушкина. *Поле притяжения* — 3, 490  
«По лопухам и повилыке...» — 1, 174  
«По непозабываемым приметам...» — 1, 69  
По праву разделенной судьбы. *Поле притяжения* — 3, 228  
По совести и чести — 2, 415  
«По щербню пулковских расщелин...» — 1, 320  
Победитель — 1, 193  
Побережье. *Цикл* — 1, 301  
«Погоди, мое сердце, быть может, рассвет...» *А. Исаакян* — 3, 9  
Под вечер — 2, 272  
«Под корень скошена отава...» — 2, 258  
«Под лаской солнца синяя вода...» *А. Исаакян* — 3, 15  
«Под облаками серой парусины...» — 2, 296  
Под сенью знамени. *Поле притяжения* — 3, 501  
«Под утро снегом занесен...» — 1, 319  
Подвиг поэта. *Поле притяжения* — 3, 321  
Подводный свет — 2, 89  
Подземный пожар — 1, 429  
Поднимающемуся на Эверест — 2, 360  
Подтверждено кровью. *Поле притяжения* — 3, 494  
«Подуют ветры, чтобы...» — 1, 150  
«Подходит осень к перемене...» *А. Сагиян* — 3, 43  
Поезд шел через зиму — 4, 268  
Позднее признание — 2, 237  
Поздним вечером — 2, 195  
Поздним вечером на Маленце — 2, 140  
Понск истины. *Поле притяжения* — 3, 427  
«Пока душа твоя нежна...» — 2, 356  
«Пока мне все не все равно...» — 2, 370  
«Пока я есть и слово есть покуда...» — 1, 454  
«Полна даров живого груза...» — 1, 313  
Полдень («Мне стрекоза садится на ладонь...») — 2, 246  
Полдень («Недвижна чистая река...») — 2, 326  
Поле жизни — 2, 362  
«Полуночный лес...» — 1, 375  
Полынь. *Раздел* — 2, 322

- Полю Элюару — 2, 424  
 Полюс — 2, 304  
 Полярный круг. *Цикл* — 2, 303  
 «Помолчи, или оплакивай...» — 2, 352  
 Помощник. *А. Сагян* — 3, 29  
 «Поныне на полях Европы...» — 1, 236  
 Попытка объяснения — 2, 319  
 Порой мне кажется — 2, 245  
 «Порой мне кажется, что я...» — 2, 285  
 Посвящение — 2, 225  
 Посвящение. *И. Сарайлич* — 3, 157  
 Послания из Чегема. *Цикл. К. Кулиев* — 3, 82  
 После весенней воды — 2, 412  
 После возвращения — 2, 271  
 После грозы — 2, 141  
 После концерта — 2, 144  
 После метели. *Цикл* — 1, 318  
 После прогулки по Цхалтубо — 2, 100  
 После свидания. *Цикл* — 2, 357  
 После смерча 9 июня 1984 года — 2, 389  
 После твоего письма — 2, 212  
 После того, когда все кончено. *Поле притяжения* — 3, 288  
 «Последний лист отрывают клены...» — 1, 191  
 Последний раунд. *М. Келивидзе* — 3, 148  
 «Посмотри, как тихо позолоту...» — 1, 270  
 Постоянство — 2, 212  
 Похвала доннику — 2, 137  
 Почти заклинание — 2, 104  
 Почти фотография — 1, 355  
 Поэзия народной души. *Поле притяжения* — 3, 393  
 Поэзия остается. *Поле притяжения* — 3, 292  
 «Поэзия, поэта выручай...» — 2, 151  
 «Поэт». *М. Келивидзе* — 3, 149  
 Поэт. *Е. Чаренц* — 3, 61  
 «Поэт, воспевший Зангезур...» — 2, 376  
 Поэт и его поколение. *Поле притяжения* — 3, 252  
 Поэт неприметной вечности. *Поле притяжения* — 3, 270  
 Поэт, Рыцарь, Человек. *Поле притяжения* — 3, 306  
 Поэтическая душа. *Поле притяжения* — 3, 261  
 Поэты. *М. Келивидзе* — 3, 145  
 «Правда в старинной пословице есть...» — 2, 347  
 Праздник — 2, 198  
 «Пред тем как уподобиться струне...» — 2, 287  
 Предисловие к завещанию — 2, 249  
 Предчувствие осени — 2, 148  
 «Прекрасен мир противоречий...» — 2, 207  
 Прекрасна Маяковского судьба... *Поле притяжения* — 3, 359  
 Прекрасное растет на перекрестках. *Поле притяжения* — 3, 541  
 Прекрасный свет жизни. *Поле притяжения* — 3, 281  
 «При каждом незаметном повороте...» — 2, 248  
 Признание — 2, 169  
 Призвание чудака — 2, 136  
 Природа. *А. Сагян* — 3, 31  
 Приснившиеся стихи — 2, 262  
 «Прогремел последний залп над водой...» *М. Карим* — 3, 99



- Проезжая Карельским перешейком — 1, 315.  
 «Проехал я мимо селений...» — 1, 298  
 Прозрел слепой... — 2, 430  
 «Пронизанный светом и тенью...» — 1, 299  
 «Пророк рифмуется с пороком...» — 2, 80  
 «Пророкам гибели легко...» — 2, 81  
 «Просох песок на желтом скате...» — 1, 305  
 «Прости меня. Холодную крупу...» — 1, 100  
 «Пространство — расстояние до конца...» *М. Каливидзе* — 3, 147  
 «Прочтут осеннему туману...» *А. Сагиян* — 3, 44  
 «Прошедших лет смыкается кольцо...» — 2, 281  
 Прощание с Кавказом. *М. Карим* — 3, 103  
 Прощание с ливкором — 2, 127  
 Прощаясь с Венецией — 2, 204  
 «Пусть бьется ветер в переплеты рам...» — 1, 453  
 «Пусть в небе царствует орел...» *А. Сагиян* — 3, 49  
 «Пусть неизвестность впереди...» — 2, 257  
 Пушкин — 1, 18  
 «Пшеница убрана, и скошен...» — 2, 253  
 Пять погибелей после боя. *Поле притяжения* — 3, 535  
 «Пять суток мельница молола...» — 1, 321
- Рабочие руки Востока — 1, 348  
 «Разбудит нас с тобой...» — 1, 424  
 «Разгар сенокоса...» — 1, 374  
 Разговор — 1, 37  
 Разговор вслух — 2, 294  
 Разговор с водителем М. Твердохлебом — 2, 86  
 Разговор с немецким писателем — 2, 92  
 «Разгуливают аисты по лугу...» — 2, 180  
 Раздумья на берегу Куры. *Н. Бараташвили* — 3, 113  
 Раздумья хлеб... — 2, 426  
 «Разменяются тучи на ливни...» — 2, 171  
 Размышление о ящерице — 2, 85  
 Разнотравье. *Цикл* — 1, 425  
 «Ракеты осыпаются, скользят...» — 1, 166  
 Ранний снег. *К. Кулиев* — 3, 84  
 «Рано сердцу опресняться...» — 1, 379  
 Распахни окно. *М. Карим* — 3, 90  
 «Рассвет пришел, как первый день творенья...» *К. Кулиев* — 3, 73  
 Ревность. *Б. Радичевич* — 3, 155  
 «Родина! Горы твои — исполины...» *А. Исаакян* — 3, 13  
 Родник — 1, 247  
 Роза. *Э. Сёдергран* — 3, 189  
 Розовая история — 2, 292  
 Розы Лидице. *Цикл* — 1, 293  
 Романтика — 1, 92  
 Ромашка — 2, 371  
 Россия начинается вот здесь — 1, 425  
 «Росу в сирени солнце пьет...» — 2, 340  
 Руки спящего в Неапольском порту грузчика — 1, 356  
 «Ручей улыбался...» *А. Сагиян* — 3, 45  
 Рыжкий конь на скошенном лугу — 2, 300  
 «Рыжий конь ушами прядал...» — 1, 392

- С ветром в лицо — 2, 263  
 С вершины мужества. *Поле притяжения* — 3, 530  
 С возлюбленной Грузией в сердце. *Поле притяжения* — 3, 456  
 «С друзьями детских игр на вольной воле...» А. Исаакян — 3, 22  
 С душой, переполненной надеждами. *Поле притяжения* — 3, 387  
 С жаворонком на плече. *Поле притяжения* — 3, 430  
 «С какой тоской, с какою целью...» В. Терьян — 3, 55  
 «С кустов шиповника плоды...» А. Сагиан — 3, 46  
 «С моей любимой уплывает...» М. Карим — 3, 99  
 «С недоумением или приветом...» — 2, 84  
 «С опалубки бетонного портала...» — 1, 393  
 С Пушкиным. *Поле притяжения* — 3, 312  
 «С чего ты, сердце, вздумало болеть?...» И. Драч — 3, 173  
 Сад. Н. Белоцерковец — 3, 166  
 Сад камней. С. Капутикян — 3, 26  
 Салютая живущим. *Поле притяжения* — 3, 241  
 «Сама природа отпустила...» — 2, 173  
 «Самих познаний черствый хлеб...» — 2, 332  
 «Самолет драконом, а не яблоком...» — 2, 82  
 Самсон — 1, 132  
 «Сантьяго, Генуя и Вена...» — 2, 83  
 Свежеет день. Э. Сёдергран — 3, 194  
 «Свежеет. К закату склоняется день...» А. Сагиан — 3, 49  
 «Свет зари в озерной раме...» — 1, 383  
 «Свет звезды в воде струится...» — 1, 267  
 Свет ленинского окна — 4, 297  
 Свет любви и жизни. *Поле притяжения* — 3, 473  
 Свеча. И. Драч — 3, 176  
 «Свечи мерцающий огарок...» — 2, 341  
 «Своей любовью бесконечной...» *Поле притяжения* — 3, 438  
 «Своею кроной выше звезд...» — 2, 235  
 Свой поэт. *Поле притяжения* — 3, 202  
 «Свою тоску веревочкой завить...» — 1, 449  
 «Святая правда есть...» — 2, 402  
 Святогорское лето. *Цикл* — 2, 123  
 Святые руки тети Шуры — 2, 182  
 Себе на память — 2, 126  
 Себе самому на всякий случай — 2, 392  
 Северная весна. Э. Сёдергран — 3, 190  
 Сегодня. *Цикл* — 2, 411  
 «Сегодня курсом в Антарктиду...» — 1, 322  
 «Сегодня молодость моя...» — 1, 421  
 «Сегодня утро обещает...» — 1, 301  
 «Сегодня я проснулся на рассвете...» — 2, 381  
 Седое сердце. *Цикл* — 2, 270  
 7 июля — 2, 134  
 Сей зерно! — 2, 149  
 «Сейчас под Ивановом осень...» — 1, 34  
 Семену Степановичу Гейченко — 2, 359  
 Семья современников. *Поле притяжения* — 3, 272  
 Сенокос — 2, 247  
 Сентябрь — 1, 85  
 «Сентябрь, а лето на дворе...» — 1, 316  
 Сергей Орлов — 2, 324  
 Сердце. А. Сагиан — 3, 35

- «Сердце бьется и мечется...» — 1, 437  
 Серьга. *Н. Бараташвили* — 3, 117  
 Симону Чиковани. *К. Кулиев* — 3, 70  
 Синий свет — 2, 163  
 «Синий цвет, небесный свет...» *Н. Бараташвили* — 3, 130  
 «Скажи, затворница, когда-нибудь...» *Э. Сёдергран* — 3, 193  
 «Скажу: «Да что ж это такое...» — 1, 30  
 «Сквозь десять лет, издалека, мне...» — 1, 306  
 Сквозь зрачки твоего откровенья — 2, 416  
 «Сквозь солнце — ливень на дороге...» — 1, 302  
 «Сквозь туман горят неярко...» — 2, 156  
 Скерцо. *Э. Сёдергран* — 3, 198  
 «Скошена горошина...» — 2, 83  
 Слово на камне. *Поле притяжения* — 3, 445  
 Слово о словах — 2, 359  
 Слово перед казнью. *С. Капутикян* — 3, 25  
 Слово прощания. *Е. Чаренц* — 3, 62  
 «Словно лошади с белой гривой...» — 1, 122  
 Служение поэзии. *Поле притяжения* — 3, 416  
 Случайному прохожему. *Е. Чаренц* — 3, 64  
 Случайные мысли у берегов Англии — 1, 354  
 Случайный календарь. *Цикл* — 2, 151  
 Слушая последние известия — 2, 95  
 Слушая Равеля — 2, 194  
 «Смотрю в окно на белый свет...» — 2, 374  
 «Сначала только я заметил...» — 1, 14  
 Снег — 1, 131  
 «Снег, белый, белый снег...» — 1, 401  
 «Снега. Снега. На солнце ярком...» — 1, 318  
 «Сними мне тихо легкую рукою...» *Д. Павлычко* — 3, 178  
 «Снова громом салюта...» — 1, 170  
 «Снова крутятся колеса...» — 1, 409  
 «Сны через все потери...» *А. Сагиян* — 3, 28  
 «Совиных крыл неспешный взмах...» — 1, 146  
 «Совсем забыть? Немыслимо забыть...» — 1, 448  
 «Со дня рождения моего...» *А. Сагиян* — 3, 38  
 Сожженные песни. *Е. Чаренц* — 3, 67  
 Созвучье слов живых. *Поле притяжения* — 3, 303  
 Солдатка — 1, 101  
 Солдатская песня — 1, 275  
 Солдатский разговор — 1, 134  
 «Солнце закатилось, словно разум...» — 2, 257  
 Соловей и роза. *Н. Бараташвили* — 3, 108  
 Соловьи — 1, 62  
 Соловьи в январе. *Цикл* — 1, 419  
 Соловиный куст — 2, 211  
 «Соловьях — тишайшая птица...» — 1, 466  
 Сон — 2, 102  
 Сон без окончания — 2, 421  
 Сон без продолжения — 2, 416  
 Сонет Александру Блоку — 2, 409  
 Сонет Александру Сергеевичу Пушкину — 2, 405  
 Сонет в честь Павла Яковлевича Голодриги — 2, 373  
 Сонет вечернему раздумью — 2, 408  
 Сонет всеобщему празднику — 2, 409

- Сонет вчерашнему дню — 2, 407  
 Сонет воспоминания о Хатыни — 2, 405  
 Сонет из аллеи Анны Керн — 2, 394  
 Сонет Кайсыну — 2, 302  
 Сонет на память Николаю Рыленкову — 2, 157  
 Сонет не подверженному делению — 2, 408  
 Сонет Палеонтологическому музею — 2, 406  
 Сонет перед зимой — 2, 296  
 Сонет предупреждения — 2, 407  
 Сонет Рафаэлю Арамяну — 2, 299  
 Сонет спутнице — 2, 406  
 Сонет старого предчувствия — 2, 427  
 Сонет с барвинками — 2, 270  
 Сосны — 1, 327  
 Сосны и ветер. *Цикл* — 1, 324  
 Сосны на берегу — 1, 333  
 Сопоствие в царство теней. *Э. Сёдергран* — 3, 200  
 Спиноза. *И. Драч* — 3, 173  
 Сполох — 2, 303  
 «Среди берез в зеленом храме...» — 2, 322  
 «Среди растений я не гений...» — 2, 353  
 Старички — 2, 253  
 «Старые капитаны величавы...» — 1, 294  
 Старые рифмы — 2, 256  
 Старый бор — 2, 368  
 Старый журавль — 2, 166  
 Старый форт — 1, 267  
 Стихи в честь Алексея Фомича и Людмилы Алексеевны Андреевых, написанные в день их свадьбы — 2, 210  
 Стихи весны сороковой — 1, 325  
 Стихи вместо рецензии на спектакль рыбки Сайки в палатке гидролога — 2, 311  
 Стихи из-под дерева — 2, 220  
 Стихи к вечеру — 2, 123  
 Стихи на дорогу — 2, 225  
 Стихи над пустыней — 2, 279  
 Стихи, написанные в доме Пабло Неруды в Исла-Негра — 2, 67  
 Стихи, написанные 9 мая 1945 года (1—2) — 1, 165  
 Стихи, написанные после концерта Владимира Федотова — 2, 381  
 Стихи, написанные после посещения памятника на месте гибели Юрия Гагарина — 2, 391  
 «Стихи не каприз и не шалость...» — 1, 397  
 Стихи о генерале Н. П. Симоняке, герое Ленинградского фронта — 1, 240  
 Стихи о прорыве — 1, 233  
 Стихи о самом первом — 2, 212  
 Стихи о необходимости — 1, 349  
 Стихи о тебе — 1, 40  
 Стихи о тихой зависти — 1, 430  
 Стихи о шалаше — 1, 49  
 Стихи перед татарником — 2, 289  
 Стихи перед упавшим деревом — 2, 322  
 Стихи под Новый, 1944 год (1—2) — 1, 123  
 Стихи, приснившиеся мне на станции «Северный полюс-22» — 2, 309

- Стихи, прочитанные на вечере памяти Мусы Джалиля — 2, 49  
 Стихи, посвященные Левону Мкртчяну — 2, 388  
 Стихи прошлого лета. *Цикл* — 2, 385  
 Стихи, сочиненные во время собирания грибов — 2, 132  
 Стихи сочувствия — 2, 365  
 Стихотворения из дневника Гамлета. *Цикл* — 2, 401  
 «Стоит луна у кромки мола...» — 1, 309  
 «Стояла сушь. Хлеба от жажды...» — 2, 334  
 «Страдою лето сожжено...» — 2, 213  
 Страна, которой нет. *Э. Сёдергран* — 3, 199  
 Страна Напри. *Цикл. В. Терьян* — 3, 54  
 «Страсть не подвластна разуму. Но страсти...» — 2, 403  
 Суворов — 1, 51  
 Судьба Грузии. *Историческая поэма. Н. Бараташвили* — 3, 131  
 Судьба Эдит Сёдергран. *Поле притяжения* — 3, 515  
 «Судьбою твоею и властью...» — 1, 246  
 Сумерки на Мтацминде. *Н. Бараташвили* — 3, 109  
 «Суровые ветры живительной жизни красу...» *Н. Бараташвили* — 3, 124  
 Сфинкс — 1, 182  
 «Считайте меня коммунистом!» — 1, 252
- Табун — 1, 250  
 «Таежные люди...» — 1, 373  
 Таинственный голос. *Н. Бараташвили* — 3, 111  
 «Так вот она, горная складка...» — 1, 298  
 Так добывается влага — 1, 257  
 «Так чудно твой утренний голос...» *Д. Павлычко* — 3, 178  
 «Там, в долине, и рельсы, и рейсы...» — 2, 257  
 «Там, в нашем августе, созрели...» — 2, 259  
 «Там в тишине кричит трона глухая...» *А. Сагиян* — 3, 30  
 «Там облака как купола...» *А. Сагиян* — 3, 34  
 Талькауан — 2, 70  
 Татарник. *Цикл* — 2, 190  
 Твоей свободы выстрадавший путь — 2, 197  
 Твои, Гангут, кавалеры — 4, 220  
 «Тебе все мало, мало...» — 2, 265  
 Тебе на завтра — 2, 269  
 Тебе на память — 2, 165  
 «Тебя не ждет...» — 1, 224  
 Тепло. *Поэма* — 1, 411  
 «Терпению не скажешь: «Пожалей»...» *А. Сагиян* — 3, 41  
 «Тесовые заборы...» — 1, 410  
 «Тик-так!..» *Р. Балясная* — 3, 152  
 Тихий вздох над Сибирью — 2, 310  
 Тихий полдень — 2, 294  
 Тихо — 2, 204  
 Тихое море — 1, 328  
 Тишина — 1, 22  
 «То, что в душу вошло, то, что душу задело...» — 2, 371  
 «То, что давно душой моей владело, совсем забыть?...» — 1, 454  
 «То, что давно душой моей владело, строкой сонета...» — 1, 448  
 Товарищам 1941 года — 2, 422  
 Товарищи мои... — 4, 244

«Томит жара. Под солнцем жгучим...» — 1, 270  
Топор — 2, 164  
«Тоскуют по моим ногам...» *А. Сагиян* — 3, 36  
Тоскующему другу — 2, 155  
«Тот день живет во мне, как окрик...» — 2, 266  
«Тот дуб, что станет гробом мне...» *А. Исаакян* — 3, 22  
Трагедия остается в Стокгольме — 1, 344  
«Тревога — ощутимей бога...» — 2, 80  
Третий — 1, 425  
Три вдоха о Марселе. *Цикл* — 2, 253  
30 июня 1973 года — 2, 236  
Трижды да здравствует жизнь после меня! — 4, 249  
Триумф жизни. *Э. Сёдергран* — 3, 188  
«Тропинка в поисках воды...» *А. Сагиян* — 3, 48  
«Тропинку трава заплетала...» — 1, 310  
Туман — 2, 135  
«Туман белесый тинится...» — 1, 363  
«Туман, словно вата...» *М. Карим* — 3, 93  
«Ты бежишь за вчерашним днем...» — 2, 329  
«Тыходишь в жизнь, как в двери мастерской...» — 2, 194  
«Ты да я да вечер поздний...» *А. Сагиян* — 3, 37  
«Ты — дождь. Я клен. Высокой кроной...» *Д. Павлычко* — 3, 179  
«Ты душу мне поджег...» *Р. Балаян* — 3, 151  
«Ты здесь, ты вся в моих ладонях...» — 1, 177  
«Ты — здесь. Ты — рядом. Только чуду...» *М. Келивидзе* — 3, 145  
«Ты из тумана, как видевьё...» *В. Терьян* — 3, 60  
«Ты камни клал в фундамент мира...» *А. Сагиян* — 3, 35  
«Ты мне всегда писала: «Будь!»...» — 1, 420  
«Ты не кичлива, не горда...» *В. Терьян* — 3, 56  
«Ты не смейся...» — 1, 423  
«Ты плачешь, молча мир кляня...» — 2, 323  
«Ты — половина памяти моей...» — 2, 191  
«Ты предал смерти все живое...» — 2, 358  
«Ты прибегала свежая, торопкая...» — 1, 19  
«Ты, словно второе светило...» *Н. Бараташвили* — 3, 119  
«Ты — человек, живешь среди людей...» — 2, 169

У входа в угольную яму — 2, 69  
«У Кинешмы и Решмы...» — 1, 91  
У костра на берегу Ладоги — 2, 93  
«У людей и у птиц есть друзья до поры...» *А. Исаакян* — 3, 11  
«У меня не смертельная рана!» — 1, 468  
«У нас, наверно, в Грузии, Тамара...» — 1, 178  
У памятника Альберту Эйнштейну в Вашингтоне — 2, 398  
«У пограничной полосы я...» — 2, 161  
«Увы, не представляет разум...» — 2, 353  
«Уговор и приказ — вхолостую...» — 2, 253  
Удивительная осень. *Е. Чаренц* — 3, 65  
«Уйду и я из жизни этой...» *Е. Чаренц* — 3, 63  
«Уйти бы мне, уйти бы мне...» *А. Сагиян* — 3, 38  
«Укачивала душу скука...» — 2, 274  
«Уолтер Мэй, я вас благодарю...» — 2, 378  
Упала яблоня в саду — 2, 181  
«Упряма и вечна, жёсток и жесток...» — 1, 434

«Упрямо, без шатания...» — 2, 239  
Упрямое пространство. *Цикл* — 1, 362  
Условие. *Э. Сёдергран* — 3, 188  
«Условности придумываем мы...» — 2, 202  
«Успехи и потери...» — 1, 422  
«Устало море биться о ступени...» — 2, 380  
«Утесы и скалы стоят на постах...» *А. Сагиян* — 3, 41  
Утки в лагуне — 2, 79  
Утопические стихи — 2, 180  
Утреннее обращение — 2, 366  
Утренний сонет — 2, 287  
Утро — 2, 274  
Утро доброй осени. *Цикл* — 1, 310  
Утром — 2, 246  
Учитель. *Поэма* — 1, 276  
«Ушел я в лес зеленый, кроткий...» *И. Станишич* — 2, 358  
«Ущелье прядет из тумана печаль...» *А. Сагиян* — 3, 31

«Фанерные звезды истлели...» — 1, 446  
«Фарватер отмечен вехами...» — 1, 378  
Форель играет в лунном свете — 2, 268  
Форель идет против течения — 2, 151  
Фотография базара в Ростове-на-Дону — 1, 262  
«Хвала создателю твоих достоинств. Словно диво...» *Н. Барагашвили* — 3, 129

«Хвойный лес в оконной раме...» — 2, 162  
Хозяйка. *Поэма* — 1, 183  
Холодный ветер — 2, 212  
Холодное утро Цхалтубо — 2, 103  
«Холодный ветер желтым ивам...» *А. Исаакян* — 3, 11  
«Хотел бы я к Салвард-горе сходить...» *А. Сагиян* — 3, 40  
«Хоть травой обернись...» *М. Флориан* — 3, 183  
«Хочешь — я росой в очи...» *А. Исаакян* — 3, 9  
Хранитель Лукоморья. *Поле притяжения* — 3, 418  
«Хранить тебя наперекор годам...» — 1, 451  
Художнику Василию Михайловичу Звонцову — 2, 387

Цвет жизни — красный цвет! *Поле притяжения* — 3, 526  
«Цветам засохнуть, бурям не трубить...» — 1, 450  
Цветам — цвести. *Поэма* — 1, 155  
«Цветут цветы в долине...» — 2, 203  
Цепная реакция — 2, 338

Чаша жизни. *Поле притяжения* — 3, 443  
«Человек кривляется с эстрады...» — 2, 75  
«Чем дальше цель, тем к цели путь прямей...» — 2, 214  
«Через всех перемирий чергу...» *М. Кваливидзе* — 3, 144  
Через Неву и на Берлин — 4, 262  
«Черемуха в окна. И ветер...» — 1, 254  
Черное и белое. *Э. Сёдергран* — 3, 195

Четвертая дорога — 1, 143  
Четвертая зона. *Поэма* — 1, 385  
Четверть века спустя. *Поэма* — 2, 184  
Чинара. *Н. Бараташвили* — 3, 128  
«Чиста, светла и глубока...» — 2, 386  
Чистильщик сапог у отеля «Санта-Люсия» — 2, 75  
Читая Докучаева — 2, 192  
Читая книгу Давида Кугультинова «Бунт разума» — 2, 397  
Читая скалы. *И. Станишич* — 3, 158  
Чонгури. *Н. Бараташвили* — 3, 114  
«Что было верным, что неверным...» — 1, 444  
«Что Вам виделось, я не знаю...» — 2, 371  
«Что делать мне? Как мне о том сказать?..» *М. Квлицидзе* — 3, 145  
«Что делать! Я — традиционен...» — 2, 138  
«Что письма? Хуже вымысла...» — 1, 268  
«Что поделаю?.. Все чаще...» — 2, 287  
«Что предпочтешь ты, если знаешь точно...» *А. Сагиян* — 3, 32  
«Что такое Чили? Шпага...» — 2, 66  
«Что-то страшное в мире творится...» — 2, 341  
«Что хочет этот ветер-вор...» *А. Сагиян* — 3, 47  
«Что я принес с гор?..» *А. Сагиян* — 3, 52  
«Что я хочу...» — 1, 329  
Чудо «Лада». *Поле притяжения* — 3, 390  
Чужие страны. *Э. Сёдергран* — 3, 191

Шестнадцать строк Джюконде — 1, 353  
66-й сонет Шекспира — 3, 7  
«Шиповник, рдея у дороги...» *А. Сагиян* — 3, 53  
Шофер — 1, 90  
Штурмовики — 1, 103  
«Шумели зеленые клены...» — 1, 297  
«Шумит апрель. От середины...» — 1, 229  
«Шумит в моем сердце ночная глухая тоска...» *Е. Чаренц* — 3, 63

«Щедра зима! Который год...» — 1, 318

Эвкалипт — 2, 97  
Элегия — 2, 199  
«Это милое обаянье...» — 2, 349  
«Это память опять от зари до зари...» — 2, 227  
Этот никогда не прекращающийся ветер... *Поле притяжения* — 3, 480  
«Этот снег...» — 1, 419

«Я в детство власть опять хочу...» *А. Сагиян* — 3, 30  
«Я вам за все спасибо говорю...» — 2, 349  
«Я видел с горной высоты...» — 2, 245  
«Я вновь дышу моей весной...» — 2, 329  
«Я воевал, и, зная, недаром...» — 1, 310  
«Я все ищу сестру и брата...» — 2, 403



- «Я всей жизнью своей виноват...» — 2, 364  
Я второго солнца не хочу — 1, 355  
«Я высушу слезы, тобою угадан...» *Н. Бараташвили* — 3, 128  
«Я вышел с ружьем...» — 1, 12  
«Я, глупый, думал — сердце отгорело...» — 1, 449  
«Я говорю снежинкам и планетам...» — 1, 442  
«Я говорю тебе без лестя...» — 1, 368  
«Я для тебя сгорела навсегда...» *Р. Балясная* — 3, 152  
«Я должен верить мудрости зерна...» *А. Сагиян* — 3, 33  
«Я ехал Финляндией ночью...» — 1, 311  
«Я жизнь свою в деревне встретил...» — 1, 370  
«Я знаю женщину одну...» — 1, 274  
«Я лишь с тобою быть могу...» — 2, 393  
«Я многих на милой земле любил...» *К. Кулиев* — 3, 69  
Я мог бы сражаться в Мадриде. *К. Кулиев* — 3, 70  
«Я на мосту Риальто встретил...» *А. Исаакян* — 3, 19  
«Я над своей задумался судьбой...» — 1, 391  
«Я не боюсь того, что меня не будет...» *А. Сагиян* — 3, 39  
«Я не глупец и не хвастун...» *М. Келивидзе* — 3, 147  
«Я обнаружил храм в пустынном мире...» *Н. Бараташвили* — 3, 122  
Я обошла галактики пешком. *Э. Сёдергран* — 3  
«Я перепутал день и ночь...» *А. Сагиян* — 3, 36  
Я повторяю вновь и вновь — 2, 428  
«Я подтверждаю песней спетой...» — 2, 273  
«Я помню осень позднюю...» *В. Терьян* — 3, 58  
«Я — Последний поэт?.. Неужели...» *В. Терьян* — 3, 59  
«Я прожил жизнь не одиноко...» — 2, 236  
«Я сегодня, подвластный раздумий тревожному мигу...» — 2, 280  
«Я синей песней изойду...» — 2, 196  
«Я слишком долго был счастливым...» — 1, 327  
«Я слышу, я вижу своими глазами...» — 2, 228  
«Я снег увидел на вершине...» *А. Сагиян* — 3, 42  
«Я словно сын Лаэрта или...» *В. Терьян* — 3, 54  
«Я тебя вспоминал у Адайских высот...» *К. Кулиев* — 3, 72  
«Я ухожу из возраста любви...» *А. Сагиян* — 3, 42  
«Я — человек, и я ищу родства...» — 2, 401  
«Я эту повесть на охоте...» — 1, 380  
«Январь пришел, и снова в спину...» — 1, 80  
«Январь. Февраль. А после, после...» — 1, 15  
Январь — 1, 272  
Яну Карловичу Судрабкалву — 2, 222  
Р. С. («Тебе досадно...») — 1, 439  
Р. С. («Я говорю избитые слова...») *М. Келивидзе* — 3, 150

## СОДЕРЖАНИЕ

Где наша не пропадала. *Повесть* . . . . . 5

### РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Твои, Гангут, кавалеры . . . . .	220
Отступления не знавшие . . . . .	227
Жив, солдат! . . . . .	234
Без рамки . . . . .	243
Товарищи мои... . . . .	245
Трижды да здравствует жизнь после меня! . . . . .	250
Комитет справедливости . . . . .	257
Через Неву и на Берлин . . . . .	263
Поезд шел через зиму . . . . .	269
Зарубки . . . . .	273
Молодые улетают . . . . .	279
Объяснение в любви . . . . .	287
Свет ленинского окна . . . . .	298
Взгляд с моста на оба берега . . . . .	304
Имя должно быть известно . . . . .	311
От каждого из нас и от всех вместе . . . . .	318
Девочка и море . . . . .	325
Мир входящему . . . . .	337
Алфавитный указатель . . . . .	341

**Михаил Александрович Дудин**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 4-х Т.**

*Т. 4. ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА*

*Повесть. Рассказы. Очерки*

Редактор **Б. Романов**  
Художник **Н. Пескова**  
Художественный редактор **А. Никулин**  
Технический редактор **В. Котова**  
Корректоры **Г. Селецкая, М. Курносенкова**

ИБ № 5161

Сдано в набор 12.11.87. Подписано к печати 06.04.88. Формат 84X108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. кр.-отт. 19,74. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 20,32. Тираж 50 000 экз. Заказ 955. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Отпечатано с набора Областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2, в типографии № 2 Росглаволиграфпрома, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.

